

354

Набрано и
отпечатано
в типографии
Lutze & Vogt
G. m. b. H.
в марте 1924
в Берлине

Б Е С Е Д А

Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ

ИЗДАВАЕМЫЙ
ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ

ПРОФ. В. Ф. АДЛЕРА
АНДРЕЯ БЕЛОГО
ПРОФ. Ф. А. БРАУНА
М. ГОРЬКОГО
В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

№ 4

Э П О Х А . Б Е Р Л И Н

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
М. ГОРЬКИЙ. Рассказ о герое	9
С. ЧЕРНИХОВСКИЙ. Свадьба Эльки. Перевод Владислава Ходасевича	51
НАНАЙОТ ИСТРАТИ. Кира Киралина. Пере- вод с французского. Предисловие Ромэна Роллана	72
ВАСИЛИЙ СИЗОВ. Об одном романе	117
ВЛАДИМИР ЮРЕЗАНСКИЙ. Человек	149
ВЛАДИМИР ЛИДИН. Зацветает жизнь	177
РОМЭН РОЛЛАН. Беседа Ренана с юношей. Перевод с рукописи	204
ПРОФ. К. ШУХГАРДТ. Ретра и Аркона — два главных славянских святилища в Германии. Перевод с рукописи	214
ПРОФ. П. ЯКОБСТАЛЬ. Культурные проблемы современной Греции. Перевод с рукописи	232
БАРРЕТ КЛАРК. Литература Соединенных Штатов Америки. Перевод с рукописи	251
ПРОФ. ГАРРИ ШМИДТ. Подтверждение теории относительности со стороны астрономии. Перевод с рукописи	280
Д-Р ЭДУАРД ЭРКЕС. Новейшая немецкая литература о китайском искусстве. Пере- вод с рукописи	285
ПРОФ. Ф. БИРКНЕР. Новое из области досто- рической археологии и геологии ледникового периода в Европе. Перевод с рукописи	292
СМЕСЬ	322

*
Перепечатка, как всей книги, так
и отдельных статей воспрещается

*
Alle Rechte vorbehalten.

*
Copyright by „Epoche-Verlag“.

*
Адрес редакции и конторы:
„Epoche-Verlag“
Berlin S. W. 68, Zimmerstr. 7-8

Б Е С Е Д А

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

М. Горький

РАССКАЗ О ГЕРОЕ

В детстве, раньше чем испугаться людей, я боялся тараканов, пчел, крыс; позднее меня стали мучить страхом грозы, вьюги, темнота.

Когда гремел гром, я до боли крепко закрывал глаза, чтоб не видеть синюю дрожь стекол в окнах, освещаемых молниями. Кто-то внушил мне, — а может быть, я сам выдумал, — что разрывая небо, молнии обнажают великий, геенский огонь, там, за пределами синего, видного в ясные дни. Синее — дым великого пожара, обнявшего весь мир, звезды — искры пожара; в любой час земля может вспыхнуть, точно косточка вишни, брошенная в костер, загорится, как солнце и, потом, обращенная в уголь, повиснет в небе второю луной.

Особенно, я боялся темноты. Я воспринимал ее не как отсутствие света, а как самостоятельную силу, враждебную ему. Когда ее серая, неощутимая пыль омрачала воздух и, сгущаясь, чернея, поглощала деревья, дома, мебель в комнатах, я ждал, что пыль темноты сгустится до твердости камня и в ней окаменеет все живое, окаменею я. Мне всегда хотелось пощупать тьму, я протягивал руку в неосвещенные углы и осторожно сжимая пальцы в кулак ощущал кожей ладони неприятный, влажный холодок. Темнота, — это коготь надзвездного пожара, разрушающего все видимое в черную пыль.

Я знаю, что эти представления чрезмерно сложны для мальчика десяти-тринадцати лет, но мне кажется, что именно таковы они были у меня в те годы.

А наиболее, почти до безумия, пугал меня свист и вой зимних вьюг. В дьявольские ночи, когда все на земле бешено кружится, качаются деревья, точно строясь сорваться с земли и улететь куда-то в облаках снега, в эти ночи, мне казалось, что некие злые силы решили опустошить землю, сдуть с нее города, леса, людей и оставить только меня одного в мертвом молчании, среди белой, холодной пустыни. Грудь моя наполнялась мучительным ощущением неизмеримой пустоты, в ней, как мошка между небом и морем, повисло и трепещет мое ужаснувшееся сердце. Проклятый насмешливый свист ветра пронзительно раздается внутри меня, морозит и ломает тело мое. Я прятал голову в подушку, затыкал уши пальцами и все-таки слышал этот опустошающий, убийственный свист в груди моей.

Можно подумать, что я был мальчик болезненный, но это не так; сильный, хорошо упитанный я казался рослее и старше моих сверстников и меня считали не по возрасту серьезным.

Да, я был физически здоров и думаю, что источник страха пред явлениями природы лежал именно в здоровье моем — это естественный, биологический страх человека пред непонятным ему и угрожающим гибелью. Я уверен, что больной не может ощущать страха с тою силой, с какой ощущает его здоровый человек.

Один у матери, я не помню отца, епархиального архитектора, он умер, когда мне было четыре года. Его заменил мне дядя, брат матери, священник вдовец; он любил

и баловал меня также, как мать, горничная Дуня, водовоз Никон и все другие люди нашего дома.

— Зачем нужны вьюги? — спрашивал я дядю.

Большой, тучный, очень красивый и веселый, отличный гитарист, азартный картежник, он ласково обнимал меня и говорил что-нибудь утешительное, но не утешавшее:

— Так установлено природой, сообразно воле Божией.

И, поглаживая волосы мои, обращался к матери:

— У него философический наклон ума.

Он беседовал со мною всегда очень охотно и я любил слушать его плавную речь, мягкие, круглые слова, его рассказы о трех силах, управляющих миром: Боге, природе и разуме человека. Но я не мог понять таинственной связи этих сил и чем больше слушал, тем далее, в сумрак непонятого уходил Бог, тем более страшной казалась Природа и неясной роль разума.

У меня возникла грубая, но мучительно навязчивая аллегория: Природа — это прачка Карасева, огромная, грязная баба по прозвищу — Мокрея. Она жила на дворе нашего дома рядом с конюшней. Лет десять наблюдал я ее и мне кажется, что за это время, ее толстое, красное лицо, с насмешливым взглядом наглых, жирных глаз — не менялось. Ей было лет сорок и, неутомимая в труде, она была также неутомима в разврате. Как многие женщины ее возраста она болела эротической болезнью, — страстью к юношам, которых она растлевала с той же ненасытностью, как это делают сексуально больные мужчины, растлители девственниц.

Циничная, хитрая, в трезвом виде она была слащаво ласкова, ее певуче фальшивый голос звучал виновато,

лицо становилось еще шире, а наглые глаза конфузливо улыбались.

Но почти каждую субботу, к вечеру она неистово напивалась и ею овладевали припадки бессмысленного буйства. Обнаруживая силу здорового мужика и стихийное стремление разрушать, она била трех товарок своих, таких же грязных баб, била посуду, ломала стулья, скамьи, однажды изрубила топором бочку водовоза Никона, богобоязненного старика, молчаливого, кроткого всегда, летом одетого в белое, точно покойник.

Однажды, когда она, связанная по рукам и по ногам, лежала на земле, у двери конюшни, я слышал как Никон сказал ей:

— Жизни ты не жалеешь, Мокрея!

Она хрипло ответила:

— А — что мне жизнь? Эка штука — жизнь!

В часы, когда она буйствовала, на дворе являлся человеческий разум в лице городского, он молча ударом кулака сваливал Мокрею с ног, туго сжав губы, мычал и связывал прачке руки, ноги жгутами из грязных простынь, веревками. Она никогда не сопротивлялась ему, а только бормотала усмехаясь:

— Ну, ну, вяжи! Вяжи, дьявол...

Городовой сопел, спутывая ее веревками, и приговаривал сквозь зубы:

— Я т-тебя знаю, я т-тебя...

Не один я находил, что пьяная прачка — страшна. Я безумно боялся ее, она возбуждала у меня чувство острого отвращения, непобедимой безразличности.

— Зачем живет она? — спрашивал я дядю, он отвечал, лаская меня:

— Сего вопроса разум не решает; на вопрос — зачем? — мы не находим иного ответа, как: это есть воля Божия.

Не стыжусь сознаться, что грубое аллегорическое уподобление природы прачке Мокрее, а человеческого разума — татарину полицейскому держалось у меня даже в годы юности моей, а, может быть, я и сейчас не свободен от этой аллегории. И, разумеется, она усиливала, углубляла мой страх пред явлениями жизни, слишком явно перазумными и враждебными мне, человеку.

Когда я узнал, что комар может заразить меня лихорадкой, а мыши разносят чуму, — это поразило меня. И ничтожнейший комар — враг мой, и трусливая мышь — тоже враг?

Я одолевал дядю детским вопросом — зачем? — и, наконец, рассердил его.

— Вот что, сударь, — сказал он, сдвинув густые брови свои, — мальчику твоих лет умничать не надлежит — так надоедно. И собственно говоря, тебя надо-бы за это высечь. Отвяжись.

Мать тоже говорила мне:

— Перестань ты приставать к дяде. Что ты все спрашиваешь о пустяках? Не хорошо.

Но, говоря так, они продолжали хвастаться пред знакомыми пытливостью моего ума. Развивая этим мое самолюбие мать и дядя в то же время охлаждали мое отношение к ним. Я уже чувствовал себя умнее моих сверстников и у меня не было товарищей среди них. Конечно, в гимназии заметили, что я труслив и жестоко дразнили меня. К тому же я был тяжел, неловок; игры казались мне опасными и не увлекали меня; я боялся междоусобных драк в гимназии, а вражда мальчишек

улицы с гимназистами напоминала мне инстинктивную вражду дикарей Густава Эмара к европейцам. Таким образом я очень рано почувствовал гордость одиночества и смутно понял значение его, как единственной области, где свободно воспитывается независимая личность.

Я был средним учеником, учился честно, хотя без увлечения. Естественные науки, о мудрости которых с уважением говорил дядя, не гасили моего страха перед явлениями природы, даже не уменьшали его. Науки эти очень воодушевленно преподавал молодой учитель Жданов, кругленький, бойкий человек, похожий на обезьяну, гимназисты дали ему прозвище «Мяч». У него была какая-то своя гипотеза строения материи, он обожал электричество и кричал на уроках:

— В электрической энергии скрыты все загадки жизни и скоро мы разрешим их!

Был он чудаковат, влюбив, почти каждую весну разыгрывал новый роман; он казался мне легкомысленным, я видел в нем что-то общее с клоуном и был обижен им. Однажды, на уроке, я не мог понять чего-то, это рассердило Жданова и он сказал мне:

— Ты, бесспорно, трудолюбивый юноша, но — не любишь науку. И вообще я не вижу: что, собственно, любишь ты? На мой взгляд, тебе следовало бы учиться не здесь, а в семинарии, да!

Учителем истории был Милий Новак. Высокий, костлявый, сутулый, с маленькой, лысоватой головой, безвольным лицом старой девы и огромным кадыком, он казался мне жутко уродливым. Почти треть его лица закрывали круглые, темные очки в роговой оправе. Был неряшлив, рассеян, ходил неуверенной, качающейся походкой; каблуки сапог его всегда стоптаны, а брюки на коленях сме-

шно пузырились. Я заметил, что он боится лошадей. Прежде чем перейти через улицу, с панели на панель, он долго и нерешительно оглядывался, ждал, когда проедут извозчики и потом, наклонив голову быстро шагал, качаясь, почти падая.

Ровным, бесцветным голосом он скучно рассказывал историю и несколько оживлялся только тогда, когда оправдывал жестокость царей. Говорил он, засунув руки глубоко в карманы, но тут медленно вытаскивал левую руку, поднимал палец, загнутый крючком, на уровень плеча и впишал:

— Петр Великий был жесток, но этого требовали обстоятельства.

В его сухом изложении история заинтересовала меня обилием страшного. Должно быть, я, на уроках Новака, особенно подчеркивал факты жестокости, — выслушав ответы мои, он утвердительно кивал головою:

— Так. Именно — так. Царь Иван Грозный был вынужденно жесток, чего требовали обстоятельства эпохи. Так.

Иногда он ставил меня в пример ученикам и это усиливало неприязнь гимназистов ко мне.

Я был в шестом классе, когда Новак, встретив меня на улице, предложил мне зайти к нему.

— Вечерком, завтра, позднее, — вполголоса добавил он.

Он жил во флигеле, среди сада, на хлебником у какой-то осанистой, безмолвной старухи. Его полутемная комната была завалена книгами, среди ее огромный стол, тоже нагруженный кучами книг, у стены кровать, в углу шкаф для платья. В саду, во тьме, лениво сыпался теплый дождь, странно звенела листва деревьев; этот сухо-

ватый, шелковый звук показался мне совершенно необходимым в комнате Новака, всегда наполняющим ее сумрак. В открытое окно влетали серые бабочки и кружились над столом, над лампой, прикрытой зеленым абажуром.

Наклонив зеленую лысину, глядя в стол, Новак, согнувшись дугою, темный, неподвижный, тихо убеждал меня готовиться на историко-филологический факультет.

— У вас, Макаров, есть вкус к истории и я предлагаю приватно заняться с вами этой наукой, буду давать вам книги, руководить вашим чтением. Так.

Мне польстило, что он говорит со мною «на вы» и я принял его предложение. Он взял со стола небольшую книжку в переплете красного сафьяна, погладил ее ладонью.

— Вот книга, которую надо внимательно прочитать. Пожалуйста обращайтесь с нею осторожно. Потом я побеседую с вами о ней. Так.

Это была книжка Карлейля «Герои и героическое в истории». Я не очень любил читать серьезные книги, меня вполне удовлетворяли романы приключений, переводы с иностранных языков. Но эту книжку я прочитал добросовестно и хотя не помню, понравилась ли она мне, однако в ней было нечто удовлетворяющее мой литературный вкус, воспитанный на Робинзоне Крузо и приключениях героев Купера, Майн-Рида, Густава Эмара.

Я был очень поражен, когда Новак раскрыл предо мною философию этой маленькой книги. С холодной, угнетающей силою, негромко, но тем более веско он говорил, что народные массы в сущности безличны, духовно примитивны и однообразны; они желают только одного: увеличить внешние удобства жизни, но им чуждо стремление познать ее тайны, им неизвестно и враждебно творчество.

Даже улучшить грубые и тяжкие условия жизни своей они самосильно неспособны, — массы не умеют изобретать, выдумывать, — творит, изобретает, законодательствует всегда только человек, единица, личность.

— Народ всегда жил эксплуатацией духовной энергии личности, — сухо звучали памятные мне слова и пред лицом моим шевелился крючковатый палец, точно намереваясь вырвать глаза мне. Его кадык неприятно раздувался под напором слов.

— Без Ивана Грозного и Великого Петра, без немецкой принцессы Екатерины, Пушкина, Гоголя, Достоевского — мир не знал-бы и не чувствовал России. История всегда дело единиц, результат творчества героев. Италию создали Данте и Петрарка, Англию — Мильтон, Юм, Гоббс...

Он произносил имена людей, о которых я ничего не знал, кроме имен их. Он спрашивал:

— Чем была бы Франция без Рабле, Декарта, Вольтера, Германия без Гете, Фихте, Вагнера? Чем были-бы нации Европы без поэтов и мыслителей, которые воодушевили их, дали им каждой свое оригинальное лицо? Взгляните на черные племена Африки, на калмыков, киргиз, башкир...

Положив руки на стол, он быстро, нервно шевелил пальцами и все понижал голос, — это заставляло меня особенно напрягать внимание, убеждая, что я слышу тайны, неведомые никому, кроме Новака. Помню, мне очень хотелось, чтоб он снял очки, — они были единственным, что осталось мне знакомо в этом человеке. Я никогда не видел его злым, даже раздраженным; сухой, скучный он вел себя в классах всегда спокойно и ровно, как мастеровой, исполняющий привычную, надоевшую ему

работу. Но в этот вечер он неузнаваемо изменился, в его приглушенных словах я слышал гнев, негодование, и казалось, что он жалуется, разоблачая предо мною обман, оскорбительный для него. Речь, видимо, ошьяняла его, он судорожно изгибал длинное тело свое и между слов, в кадке его, булькал странный, жуткий звук, свойственный занкам:

— Уп — уп — уп...

— Гений независим от народа, — говорил он. — Величайший гений наш, Пушкин, был потомком араба, Жуковский — полутурок. Лермонтов — шотландец — так! Вы — понимаете? Гений — вне нации, он выше нации, всегда выше. В каждой стране вы найдете вождей чужой крови. Безразлично, кто одухотворяет народ и ведет его за собою: еврей Христос или грек Платон, индус или китаец Лао-Дзе. Руссо, Толстой — одного духа и, в сущности, одного языка. Герои, вожди — племя личностей, не имеющих почти ничего общего с массами...

Я чувствовал в его словах какую-то правду и чувствовал, что она меня обязывает к чему-то, это неприятно волновало меня.

— Человек и люди — не одно и тоже — нет! — слышал я. — Человек — враг действительности, утверждает мой людми, вот почему он всегда ненавистен людям. История — это вражда одного против множества, вражда, разжигаемая в народе — любовью к покою, в человеке — страстью к деянию. История всегда, поэтому, будет исполнена жестокости и не может, не может быть иной! Так.

Провожая меня, он шептал:

— Не верьте социалистам, их учение опасно, насквозь пропитано ложью, это учение — против человека, — понимаете? Не верьте.

И еще долго говорил он о социалистах что-то пугающее, чего я, утомленный, уже не понимал. Помню его легкую, но цепкую руку на плече моем, дрожь его пальцев и черный блеск за стеклами очков — все это было неприятно мне.

Разумеется я упростил его мысли, вероятно, сделал их грубее, — мне было семнадцать лет, когда я услышал эти мысли. Идя домой безмолвными улицами я чувствовал, что мне по новому жутко. До этого вечера жизнь была проще для меня. Я, ведь, не ощущал в себе ничего героического, никогда не мечтал о роли борца с кем-то или с чем-то за что-то. Я был обыкновеннейший парень, среднего роста, полный, избалованный матерью; мать очень заботилась о моем здоровье и заразила меня почти болезненной мнительностью. Мне нравилось лежать на диване с книгой в руках, удивляться ловкости или храбрости героев, ощущать мое различие от преступников, приятно было жалеть несчастных и радоваться, когда судьба, затейливо помучив, улыбалась им. Интересно было узнавать, что существуют люди, которым нравятся тревоги и опасности жизни, люди, которым приятно заботиться о счастье ближних, но — лично мне эти люди были не нужны.

Новак и Карлейль были тоже совершенно не нужны мне. Дома, лежа в постели, я угнетенно думал: какое мне дело до героев и народов? Я был уверен, что могу прожить, не соприкасаясь с ними, ведь жили же в городе, вокруг меня десятки тысяч людей, которым незнакома и

не нужна философия Карлейля, не нужны герои, вожди, социализм и все, что так нелепо волнует Новака.

Мне было даже немного смешно вспоминать его тревожные слова о социалистах, — я знал, что в седьмом классе гимназии есть несколько заносчивых и надутых парней, которые считали себя социалистами. Почему-то мне особенно не нравилось, что во главе их стоял сын уездного предводителя дворянства Болотов, парень дерзкий и назойливый. Он был героем гимназии: вытаскивал из реки утопавшую бабу, кажется, пьяную и поэтому ходил походкой матроса, широко расставляя ноги, насвистывал и плевал сквозь зубы.

Был и в моем классе герой — Рудометов, сын судебного следователя, красавец, силач и пьяница. О его распушке сложились среди учеников легенды; его боялись, ему завидовали, а он смотрел на всех прищуренными глазами, с пренебрежением необыкновенного человека, и, отвечая учителям, ворчал что-то по истине необыкновенное, над чем единодушно хохотали не только ученики, но, иногда, и сами учителя. Только Новак не смеялся, он вполголоса говорил:

— Так. Ну, это вы придумали для того, чтоб смутить людей. Я ставлю вам двойку.

Мне нравилось независимое отношение Рудометова к учителям и я завидовал его уменью говорить какие-то особенные слова, они вклеивались мне в память. Однажды, на уроке Жданова он сказал:

— Я предпочитаю кривые линии, они кажутся мне живыми, способными к самостоятельному движению, тогда как прямые безнадежно мертвы.

Над этими словами тоже хохотали.

Жданов восхищался им и кричал:

— У вас хорошая башка, но вы проклятый лентяй, преступник вы!

Думая о словах Новака, я вспомнил всех «героев» гимназии, попытался вообразить себе их в будущем творящими историю и — решил отделаться от Новака. Для этого я избрал простой способ — перестал учить историю. Первое время он, как будто, не замечал этого, потом стал говорить:

— Так. Ну, это очень плохо.

Вскоре он снова позвал меня к себе и тем тоном, каким доктора говорят с больным детьми, стал выпрашивать: почему я не учусь? Не помню, что я сказал ему, помню только настойчивое желание рассердить Новака. Это не удалось мне. Схватив меня за плечо, он снова говорил все о том-же: о борьбе народов против вождей и героев своих.

— Всегда побеждает герой, хотя бы он и оказался физически побежденным, — внушал он мне, а я, думал, что если он снимет очки, предо мною заблестят глаза человека безумного.

Ушел я от него совершенно уверенный, что этот человек не для меня. Как избавиться от него?

Помогла внезапная болезнь и быстрая смерть дяди: он простудил горло во время крестного хода на Иордань, заболел ангиной, затем какой-то идиотский, неуловимый стрептококк проник в мозг его и в два дня убил красивого, здорового человека. Думаю, что никто, никогда не чувствовал так глубоко страшную глупость смерти и жалобную беззащитность жизни, как почувствовал это я, когда увидел искаженное, синее лицо дяди, его спутанную бороду и расброшенные по подушке волосы его, — они как будто встали дыбом от ужаса.

Как мрачно звучит колокол, возвещающий о смерти священника!

Эта смерть раздавила меня.

Я любил дядю. Здоровый, веселый, надежный человек, он обладал спокойной уверенностью, что все в мире идет хорошо. Смеялся на ó и говорил:

— Хорошо жить умеет тот, кто любит смех.

Теперь уже не спросишь его: зачем нужны стрептококки и любят ли они смеяться? И не услышать ответа баритоном, в котором звучала басовая струна виолончели:

— Ты, сударь, помни: чем больше возникает вопросов, тем глупее становятся они. Это знал еще Лактанций.

Он любил клеветать на отцов церкви и философов, навязывая им свои шутливые мнения или приписывая мысли одного — другому. Когда же его уличали в ошибках и искажениях, он смеялся, спрашивая:

— Кто страдает от этого? Увеличу ли я маленькие неприятности мира сего, изобразив Платона скептиком?

Он часто говорил:

— Верую, ибо это бессмысленно.

А когда ему указывали, что «это» излишне, он возражал:

— Отнюдь; ибо «это» относится к самой вере.

Его торжественно отнесли на кладбище, зарыли в железную землю, — я стоял над могилой до поры, пока снег не покрыл ее. Густо шел снег в этот день. Из тела моего как будто выпала какая-то кость. Я ослабел, перестал ходить в гимназию, уныние душило меня.

А Новак скоро был вызван в Петербург, там ему предложили работу в министерстве. Провожая его я с удивлением почувствовал, что отъезд этого человека неприятен мне не меньше, чем было неприятно знакомство

с ним. Это, вероятно, потому, что смерть дяди слишком обострила ощущение моего одиночества. Мне был нужен какой-то человек, один человек.

Конечно, у меня были товарищи. Они пили водку, ухаживали за гимназистками, посещали публичные дома. Я не любил водку и боялся заразиться. Мою потребность мужчины охотно удовлетворяла горничная Дуня, жепщина лет тридцати, бесстыдная, хитрая и жадная к деньгам. С барышнями я был застенчив, робок, не умел говорить с ними, да и не о чем было говорить, — большинство из них читали не те книги, которые любил я. Когда я говорил, что мне нравятся романы Дюма, они снисходительно и обидно усмехались.

Моя мать любила хорошо покушать и в этом был главный интерес ее жизни; она собирала у себя таких-же гастрономов и кормила их, потом, каждый из них, кормил ее у себя.

Красивая, полнокровная женщина, с ласковыми синими глазами, она двигалась лениво, говорила медленно, это придавало ей значительность и нравилось мужчинам.

Рудометов дерзко, но, пожалуй, верно сказал о ней:

— Говорит она только глупости, но голос у нее умный.

Когда я был в седьмом классе, мать затеяла роман с врачом, веселым парнем, только что кончившим учиться. Она была настроена против моего поступления в университет, боялась «политики», была уверена, что я немедленно приму участие в студенческих волнениях и погибну в тюрьме, в ссылке. Ей легко было уговорить меня подождать год, отдохнуть от гимназии, я согласился на это, хотя подозревал, что за этот год мать попытается женить меня. Пыталась, но — безуспешно. Я относился к женитьбе отрицательно. Мой маленький опыт половой

жизни внушил мне очень не лестное мнение о ней и привил порядочную дозу, так сказать, физиологического скептицизма. Стоит-ли терпеть множество различных неудобств и беспокойств ежедневно, на протяжении долгих лет для того только, чтоб получить за это минуту приятной судороги? Стоит-ли, ради этой минуты держать около себя человека иного пола, иной психологии и, притом, человека, который, почему-то уверен, что он имеет право спрашивать тебя, о чем ты думаешь, что и как чувствуешь? Если-б можно было жену, как суп, готовить в кухне, чтоб каждый день она была иного вкуса...

По книгам я знал, что женщины ищут и любят «героев», сильных, красивых мужчин, жизнь, насколько я знал ее, утверждала тоже самое. Все, что я читал о «любви», воспринималось мною, как выдумка, более или менее неудачная, как фиговый лист, которым пытаются прикрыть отношения грубые и грязненькие, низводящие людей к бесстыдству собак и козлов. В женщинах, даже в девушках, я всегда чувствовал нечто фальшивое, театральное и, не боюсь сказать, паразитивное стремление присосаться к мужчине. И мне казалось, что женщины так часто смотрят в зеркала не потому, что проверяют в порядке-ли оружие их соблазнов, а потому, что они, еще менее, чем я, уверены в реальности бытия своего.

Может быть, эти мысли явились не тогда, когда мне было двадцать лет, а позднее, а тогда я просто не мог вообразить себя мужем и отцом, не мог решиться на поступок, который отнимает у человека его независимость, разрушает его покой.

Через год я был на медицинском факультете, а будучи на втором курсе, оправдал предсказания матери:

оказался автоматически вовлеченным в демонстрацию, был полицией загнан, вместе с табуном студентов, в Московский манеж и выслан на родину. Мать испуганная до истерики, решительно заявила, что уже не пустит меня в Москву, и что, если я ослушаюсь, это убьет ее. Я не противоречил ей. Университет отталкивал меня своим шумом, политикой, враждою кружков. Было странно думать, что именно в этой раздражающей суеде создаются ученые, отсюда исходит духовная сила страны. Медицина оказалась наукой не для меня. Мне противно было рыться во внутренностях вонючих трупов и было страшно воображать себя трупом, из которого ножичком глупой формы вырезывает сердце веселый молодой человек с папирской в зубах. Эти молодые люди с папирсками, с прищуренными от дыма глазами, пугали меня не менее чем трупы, два, три дня тому назад такие же живые и, вероятно, столь же глупые, как сами будущие врачи тела. Препарируя, они шутили, смеялись и мне казалось, что они рисуются друг пред другом грубо сделанной небрежностью их отношения к вопросу о тайне жизни, о душе, куда-то ускользнувшей из груди безобразно изрезанного гниющего мяса. Я, разумеется, видел, что некоторые из них воодушевлены искренним желанием изучить организм человека, — тем более непонятно было мне почти полное отсутствие у них интереса к таинственной силе, которая двигала, побуждала чувствовать и мыслить этот организм.

Вот пред ними лежит на столе тело капризной и веселой девицы Клавдии Ивановой, она убила себя два дня тому назад, выпив раствор меди в соляной кислоте. Глаза ее выкатились, брови перовно приподняты одна выше другой, веки туго натянуты на глаза вздутые

ужасом и болью. Губы разодраны немим криком, но мне кажется, что я слышу этот крик, он все растет, распространяется в воздухе едким запахом, вызывая у меня головокружение и тянущую все жилы мои тошноту.

Мой земляк, Рудометов, вскрывая позеленевший живот маленького трупа, говорит ворчливо, как всегда, и более, чем всегда — небрежно:

— Проституция — профессия истеричек...

Я знаю, что он и еще один студент, стоящий у стола, спрятав руки за спину, были знакомы с этой девушкой и, наверное, оба пользовались телом, которое Рудометов теперь так равнодушно режет. Я не жду, чтоб он или кто-то другой сказал о погибшей девице тихое слово человеческого жалости, — ненужное, но смягчающее жизнь слово; я, вообще ничего не жду и не хочу от этих людей, но быть среди них невыносимо для меня. Я ухожу и вслед мне Рудометов бросает насмешливое замечание:

— Плохая голова, но обладает хорошим носом.

Ко мне вообще относились насмешливо, я был не «компанейский» человек. А Рудометов — дерзок, груб, он хороший оратор, играет видную роль в группе студентов «академиков», врагов «политики». Его одни — боятся, другие ненавидят, третьи любят, как собаки хозяина.

Итак я расстался с университетом без сожаления. Через несколько месяцев, доктор, друг сердца моей матери, устроил меня в канцелярию губернатора, — брат доктора был чиновником для особых поручений. Я незаметно просидел в канцелярии два года, там застало меня бешеное время японской войны и революции 905—6 годов.

Губернатор, хворый старичек с лицом обиженного человека и надутыми губами был поглощен одной заботой: найти такой панцирный жилет, который не пробивала-бы пуля браунинга. Мой непосредственный начальник, брат доктора, мужчина лет тридцати пяти, туго накрахмаленный, вылощенный и лысый отчаянно играл в карты, страдал боязнью пространства и коллекционировал фарфор. Служивцы мои — полускоты, полупризраки.

Только один из них какой-то безродный мальчишка, Дроздов, черненький, юркий недоносок резко выделялся несносной живостью своей. Он знал все, что творилось в городе, и ежедневно приносил в полутемные, прокуренные комнаты канцелярии что-то нервное, царапающее кожу, возбуждавшее тревогу. Сидел он против меня у окна, затененного густейшей листвою липы и когда в светлые, но ветренные дни, на смуглом, остреньком лице его играли пятна теней, — казалось, что мальчишка этот беззвучно смеется, выдумывая кошмарное и злое.

Я всегда смотрю — каковы руки человека? Его темненькие ручки с тонкими пальцами напоминали острою узких ногтей лапы хищной птицы. Он постоянно и неутомимо барабанил пальцами или шевелил ими, как-бы завязывая и развязывая узлы.

Звериным чутьем несомненного дегенерата он быстро понял меня и, как злая осенняя муха, жужжал целые часы о диком буйстве солдат, возвращавшихся с фронта, о бунтах крестьян, возбуждаемых солдатами, о настроенных в городе, о страхе, который разрастался так, как будто земля потела страхом. Сам он, кажется, был бесстрашен, но ему явно нравилось пугать меня.

— Начинает-цца! — тихонько говорил он, произнося последний слог жутким, противно чмокающим звуком.

— Что — начинается?

Тихонько свистнув, он прятал в бумаги свой острый нос, не отвечая мне. Бумаги он читал и просматривал то одним глазом, то другим, поочередно прикрывая их. Было ясно, что недоношенный человек этот радуется смуте жизни. Он был не из тех, в сущности, равнодушных, а потому безвредных зрителей, которых развлекают пожары, убийства и уличные несчастия, не из тех людей театральной галерки, которым одинаково приятны и драмы и комедии. Нет, я чувствовал, что смута радует его, он сам способен содействовать развитию драм, и даже готов создавать их. Он вызывал у меня ожидание несчастия, которое должно разmozжнить мою жизнь.

В этом настроении я был командирован в маленький, уездный город, спрятанный в садах, на горе, над рекой. Я остановился в доме исправника, которого изувечили лошади, испуганные крестьянами, из окон этого дома я видел, как мужики жгут усадьбы помещиков.

Еще с вечера, за рекою и лесом, далеко на юго-востоке тучи покраснели, как будто и там заходило солнце, а когда тьма над лугами стала гуще, над лесом явилась красная пила огня зубцами вверх. Потом вспыхнуло зарево левее первого, ближе к городу и почти тотчас я услышал странный гул, скрип колес, лай собак. Вот почти на самом берегу реки вспыхнул стог сена, еще один, еще, эти три костра осветили дорогу, вереницу телег и муравьиное шествие толпы черных людей. Из темноты высунулась длинная труба завода, выросло на мохнатой земле кирпичное здание, вспыхнул серый длинный сарай, похожий на крышку огромного гроба и осветился белый дом с колоннами и террасой. Стало

видно воду реки, она покраснела и, казалось, кипит. Я смотрел на все это, как сквозь сон.

Разбудили меня какие-то черные фигуры, пройдя под окном.

— Равномерно действуют, — сказала одна из них.

Эти слова сделали зрение мое невыносимо острым и все, что я видел, полилось в душу мне, затопляя ее ужасом. А в памяти звучало противное слово:

— Начинает-цца.

Террасу дома захлестнула темная волна людей; был ясно слышен дребезг разбиваемых стекол, треск переплетов рам, воющие крики, бессловесный говор. На красной воде реки появились быстро и криво плывущие лодки, мелькали весла, как ножки жуков; я догадался, что это едут на грабеж горожане.

Всю ночь, до утра, я стоял и сидел у окна, наблюдая муравьиную работу людей. Хорошо освещенные огнем они тащили во все стороны угловатые вещи, огромные узлы, толкали друг друга и, кажется, дрались. Помню: двое вцепились в какой-то белый ком, а он вдруг лопнул и осыпал их пуховым снегом. Неестественно красная лошадь промчалась берегом реки. Огонь красной метлою быстро сметал постройки с земли, хотя упрямо сеялся мелкий дождь и пропитанная дымом тьма, становилась все более густа. Огонь раскалял ее, рвал, растекался все шире, а тьма, сгущаясь, создавала багровые и черные фигуры людей, лошадей, эти призраки минуту, две судорожно жили и снова исчезали, прятались в темноте. Я вспомнил мою детскую боязнь темноты, но теперь мне хотелось, чтоб тьма стала еще гуще, тяжелее, чтоб и огонь, и люди вызвавшие его, задохнулись в ней, исчезли навсегда. И когда, под утро, дождь усилился, я смотрел почти с радостью,

как огонь прижимаясь к земле, умалывается, прячется, а эти черные люди и лошади исчезают.

В полдень на площади города было собрание благомыслящих людей, они убили, кажется, двух или трех сторонников бунта, обошли город с иконами и хоругвями, а вечером, когда я уезжал, городок был пустынен и казался онемевшим от страха пред ночью.

Я тоже чувствовал себя опустошенным, у меня онемели мысли. В памяти зрения копошилась черная толпа людей, разжигая огонь, уничтожая плоды своего труда. Об этот факт несомненного безумия мой разум ударился точно о камень, наполнив все существо мое злой болью, вызывая страх пред людьми.

По дороге в губернию я встретил отряд пехоты, вне-реди его ехал верхом длинноногий поручик с рыжими усами, солдаты бодро месили грязь и пели глупую песню о черной галке. Узнав от меня, что он опоздал, поручик обрадовался, меня очень поразила его бесстыдно веселая улыбка. И возвратясь в город я стал замечать, что сторонники конституции, озабоченно расспрашивая меня о событиях в уезде, тоже не могут скрыть радостный блеск глаз. Их озабоченность казалась мне неискренней, тревога — фальшивой. Даже в канцелярии у нас явилось какое-то новое легкомысленно-шутливое и неприятное настроение, а Дроздов, ерзая на стуле, злорадно улыбался и стал еще острее, еще более раздражающим.

Я нашел нужным поговорить о нем с начальником Охраны, полковником Бер, за Дроздовым установили надзор, вскоре произведен был обыск у него и — мой инстинкт не обманул меня: были установлены связи Дроздова с одною из революционных организаций, произведены аресты, — я с изумлением узнал, что среди арестованных

оказался наиболее опасным человеком дьякон, воспитанник дяди моего.

Не хочу — тяжело и скучно — говорить о событиях всем известных, о позорной слабости правительства, о его ошибках, которые разожгли огонь бунта.

То, что видел я своими глазами, было отвратительно. Видел я, как мимо окон нашего дома шли с красными флагами рабочие фабрики спичек и мыловаренного завода, — толпа грязных, полудиких людей; шли они, боязливо поглядывая в окна домов, точно ждали, что их будут обливать кипятком. Роль козла в этом стаде баранов, играл хромой старик Барамзин, административно сильный, корреспондент радикальных газет, одним из флагов размахивал провизор Гольдберг, — начиная со времени Христа без еврея нет несчастья. С боков толпы, загоняя ее на путь преступления, бегали, как собаки пастуха, молодые люди, неизвестные мне.

Это было такое-же муравьиное шествие, как там, в уезде, за рекою, только здесь фигуры людей казались крупнее и страшнее. Дул ветер, сердито развеивая красные флаги, нечесанные волосы и лохмотья. Люди шли нестройно: одни — слишком быстро, другие — осторожно замедляя шаги; мне казалось, что все они, с одинаковой силой испытывая страх, то хотят скорее столкнуться с опасностью, то думают, как миновать ее.

Собственно говоря, сама толпа не пугала меня, но страшны были безумцы, которые вели ее. И когда я представил себе, что, может быть, в этот день и час такие безумцы ведут слепые толпы по улицам всех русских городов, чтобы обрушить их на пошатнувшуюся власть, — я почувствовал в груди тот зимний свист, который, в детстве, вызывал у меня безумный ужас.

На площади, перед Городской Думой, старика Барамзина убил палкой рабочий ассенизационного парка, Гольдберга растерзали ломовые извозчики, а толпа разбежалась. Но на другой день в городе снова ходили по улицам люди с красными флагами и люди с портретами царя. Была брошена бомба, взрывом ее оторвало ногу конному полицейскому, ранило еще несколько человек и убило еврейку-гимназистку. Вообще — делали все, что считалось необходимым делать в те безумные дни. Я внутренне разбитый, больной, не выходил на улицы, я чувствовал себя зерном, которое вот-вот будет втянуто под жернов и смолото в пыль.

С неотразимой силою вспомнил я речи учителя Новака и понял, что он говорил великую, важнейшую правду.

— «История — дело единиц, результат творчества героев». Было очевидно: людьми руководит человек. Но ничтожество этого героя объяснялось ничтожеством толпы, и я не мог отказать в героизме человеку, который ведет людей, может быть, на смерть, идет первым впереди их.

Я долго и хорошо думал на эту тему. И, естественно, что, не будучи «героем», я стал искать героя, чтоб честно служить ему, чтоб спрятать около него мою жизнь. Но — кто этот герой и где он?

Мне показалось, что я найду его в лице полковника Бер. Его тайная, опасная деятельность по охране государственного порядка отвечала и моему настроению и тем вкусам, которые с отрочества были развиты у меня чтением уголовных романов. Полковник был и внешне обаятелен: высокий, сильный человек, с породистым лицом, его серые глаза спокойно улыбались, говорил он снисходительным тоном, и в его шутках звучала пошлость смельчака. Рассказывали, что он, переодетый рабочим,

загримированный, лично посещал собрания революционеров и что в их среде у него была любовница.

Я предложил ему мои услуги. Бер долго выспрашивал меня о моей жизни, знакомствах и ответы мои не удовлетворили его. Без сожаления, как я это чувствовал, он сказал, что хотя у меня не плохая позиция среди чиновников, однако, ему кажется, что я слишком скромнен, застенчив и недостаточно гибок.

— Вам трудно будет проникнуть к революционерам, вы чрезмерно прямолинейны. Но и проникнув к ним, вы, наверное, не долго удержитесь среди них, вас хватит на один, два раза.

В словах его было что-то скучное, ремесленное, пожалуй, он говорил, как охотник о зверях:

— Революционеры — парни очень ловкие, я вам скажу! Это весьма не глупые парни.

Подумав, раскуривая сигару, он предложил:

— Осведомляйте меня, что думают в кругу ваших знакомых, годится и это.

А провожая, неожиданно и устало сказал:

— Правду говоря — все это, батенька, не то! Не то. Дело — очень просто: нас хотят ограбить, раздеть до гола, а мы предлагаем снять с нас пиджаки, но оставить рубахи. И если мы хотим жить, как жили, нам необходим решительный человек, способный совершить чудо, хотя бы чудо жестокости! Вот и — все.

Я ушел от него, поняв, что он не тот, кто мне нужен, и вскоре написал Новаку письмо, изложив мое настроение и желания мои. По статьям либеральных газет я знал, что Новак играет видную роль среди монархистов и был уверен, что получу от него хороший совет.

Я получил телеграмму в три слова:

«Выскажете немедленно жду».

И вот я снова пред этим человеком. Пять лет не видал я его, но он не изменился за это время: все также треть его детски маленького лица скрывали темные очки, также неряшливо был завязан галстук, и как будто все эти годы он ни разу не снимал с плеч куртку, не переменял брюк. Он сильно похудел, потемнела кожа щек и на лбу, а редкие, почти незаметные волосы на голове приняли цвет пепла. Даже комната его не отличалась от полутемной конуры, которую он занимал в нашем городе, так же темна, завалена книгами, и стол посреди ее. Только окна смотрели не в сад, а упирались в стену каменной ямы, в стене — арка, проезд на другой двор, над аркой — окно с грязными стеклами. Очень уныло и жутко.

Оглушенный бешеным гулом огромного города, ослепленный его туманом, я сидел у стола и душевно отдыхал, слушая тихий, знакомый мне голос. Был день, часа три, но на столе среди книг уже горела лампа, а Новак, сунув руки в карманы, качаясь, шаркая растоптанными туфлями, ходил по комнате, спрашивал меня:

— Чего хотите, что защищаете вы?

Не думая, неожиданно для себя я нашел точные слова ответа:

— Я защищаю себя от всего, что враждебно мне.

— Так, — сказал он, остановившись предо мною и наклонив голову. — Именно так! Это — ответ человека!

В крепких формах, он повторил все то, знакомое мне, над чем я, последнее время, упрямо и много думал. И затем, присев на край стола, нагнувшись надо мною, отбивая ногою ритм речи, он сказал приблизительно следующее: не глупые, честолюбивые люди, не имея в жизни места достойного их, люди слишком уверенные в силе ра-

зума и забывающие неразумность жизни, стремятся к власти, — законное стремление всякого человека, который сознает себя значительнее, сильнее обыденных людей. Но они делают ошибку, которая неизбежно будет иметь роковые последствия для всей медленной и трудной работы вождей человечества, уверенно организующих государства на незыблемых основах взаимопомощи. Ошибка в том, что социалисты, революционеры, возбуждая в массах волю к власти, думают, что они возбуждают энергию разума, тогда как на деле ими разжигаются только инстинкты: зависть, злоба, месть.

— Все инстинкты, — сказал он и, выдернув руки из карманов, поднес к лицу моему десять крючковых пальцев.

— В массах, в народах нет инстинкта социальной цели, нет его, он еще не развит. Человеку массы не нужно государство, так же ненужно, как мне и вам. Но я и вы, — мы сознательно миримся с необходимостью государственной организации, народу же это сознание чуждо. Все люди — анархисты по природе своей и чем дальше, тем более анархисты — так. Но человек знает, что для безвластия еще не наступило время. Оно наступит не ранее, когда массы раздробятся на единицы, сознающих силу свою, свое значение и право жить по законам духа своего.

Еще ниже наклонясь ко мне, он спросил:

— Вы понимаете, почему именно преступна ошибка социалистов, понимаете, почему именно монархия, безжалостная, бестрепетная власть — всего быстрее может привести нас к анархии, безвластию, к абсолютной свободе личности? Подумайте и вам станет ясно, что это не парадокс. Все поворожденные истины кажутся парадоксами,

а самая изумительная из них та, что: человек пребудет врагом людей до поры, пока людские массы не раздробятся на миллионы самодовлеющих личностей.

Он соскочил со стола и, шагая по комнате, длинный, плоский, как тень, казался в сумраке существом не этого мира. Было в нем что-то призрачное и напоминал он одного из тех, отреченных, страшных людей, чьи образы неясно мелькали предо мною в книгах, чья жизнь всегда была одинока, непонятна людям, а судьба — безжалостна.

Он строго советовал, вернее — приказывал мне читать Достоевского, Константина Леонтьева, Нитцше.

— Так, — говорил он. — Именно — этих! Анархистов по существу духа, монархистов по сознанию необходимости быть таковыми.

Потом он сообщил мне, что есть человек, которому нужен скромный и верный секретарь.

— Теперь у него работает Рудометов, помните, — наш?

— Рудометов? — спросил я.

— Так. Рудометов! Но это человек рассеянный, небрежный. И, к тому же он хочет жениться... Впрочем, — он талантлив.

— Рудометов, — думал я, шагая в тумане бессильно освещаемом радужными пузырями электрических фонарей. Рудометов это человек, который сказал, что у меня плохая голова. Теперь кто-то должен убедиться, что моя голова лучше головы Рудометова.

Этот кто-то оказался скуластым человеком с густой, черной бородой и неуклюжим телом медведя. В бороде его топырилась толстая, очень мясная нижняя губа, а верхнюю скрывали тяжелые усы. Неприятны были его

уши, очень большие они торчали настороженно, как будто слушая то, что я думаю, а не то, что говорю. Смотрел он исподлобья тем взглядом, направленным вдаль, какой я иногда замечал у машинистов железнодорожных паровозов. Руки же его были так выхолены и вымыты, что кожа их почти блесла, точно кожа лайковой перчатки.

Обтачивая ногти, он сказал мне, четко, спокойно:

— Вы отлично рекомендованы и должны оправдать это. Я требую от вас исполнительности и скромности, больше — ничего. Прошу иметь в виду: я строг.

Он внимательно притиснул пальцем кнопку электрического звонка, мне показалось, что он сделал это с тем особенным удовольствием, с каким звонят дети. Вошел Рудометов.

Мой патрон кивком головы указал ему на меня:

— Ваш заместитель. Вы только что явились, кажется?

— Да, — ответил Рудометов.

В маленькой, заставленной шкафами комнате, с одним окном на площадь он изумленно воскликнул:

— Вы?

— Как живете? — спросил я.

— Вы, — повторил он, явно иронически осматривая меня. — Это странно.

Я не спросил его: почему — странно, а он не ответил на мой вопрос. После я узнал, что он тоже ушел из университета, не кончив учиться и, почему-то, уехал в Персию, где жил года два. Раскладывая предо мной пачки каких-то бумаг, он озабоченно сказал:

— Возможно, что тут завалялись мои личные бумажки, в желтом пакете, так если вы найдете их, — позвольте мне, я зайду за ними.

И, закулив папиросу, натягивая перчатку, он небрежно и, конечно, не искренно пожелал мне успеха. Да. Люди трусливые и застенчивые очень наблюдательны.

Я подошел к окну, посмотрел вниз, на площадь, — по ней, во все стороны шагали люди, некоторые — подпрыгивая, точно лягушки. В тумане все они казались широкими, круглыми, точно разбухли и мне было приятно, что я не среди них, а над ними, один в строгой, чистой и сухой комнате, куда почти не достигал воющий шум странного города.

Затем я начал разбирать бумаги, знакомясь с ними и очень желая найти пакет Рудометова. Не нашел. Почти два года я надеялся, что этот желтый пакет попадет в мои руки и я узнаю, почему Рудометов говорил о нем так озабоченно, чего он боялся? Но Рудометов утонул, катаясь на яхте. Я ожидал, что он должен бы кончить хуже.

Приятно было разбирать бумаги, читая некоторые. Меня очень увлек чей-то проект реорганизации государства: предлагалось разделить Россию на области и поставить во главе каждой из них Великого князя, с правами вице-короля. Это напоминало эпоху уделов, полную романтизма.

Увлеченный чтением я не слышал, как патрон отворил дверь в мою комнату, я очень испугался, когда в тишине раздались его четкие слова:

— Нет надобности читать документы. В папках должны быть описи с подробным перечнем содержания каждой. Это вы и должны знать. Больше этого — излишне и преждевременно.

В таком тоне, спокойно и строго, он говорил минут пять, разглядывая ногти свои, поглаживая тыл одной ладони ладонью другой. Он любил свои руки.

— Вам необходимо всегда иметь пред глазами список лиц, деятельность которых меня особенно интересует. Нужно следить за всем, что говорится и пишется ими и о них.

Я слушал его стоя. Он ушел, не кивнув мне головою, не подав руки. Но я не был задет этим. Мне очень нравилось его спокойствие и механическая точность речи; в неуклюжем его теле и тяжелых движениях я предположил наличие силы и меня приятно волновала таинственность, окружавшая его.

Шесть лет спокойно просидел я рядом с его кабинетом, в комнате, которая с каждым годом становилась все теснее, наполняясь бумагами. Несомненно, что за это время в России стало тише и я имел право думать, что ее укрощает упорная работа моего патрона и моя скромная помощь ему.

Жизнь, как будто, возвращалась в старое, привычное ей русло и текла более спокойно, более свободно. Ведь свобода это — покой. Ночами, на улицах города свободнее чем днем. Это, — не шутка, не ирония, нет. Я рассуждаю исходя из подлинных, органических, а не выдуманных интересов человека: он хочет жить свободно и суэта мешает ему. Человек тем свободнее, чем дальше от людей.

Несомненно, что мой патрон играл в монархических кругах весьма значительную и, видимо, независимую роль. Он занимал четыре комнаты в огромном, пятиэтажном доме, куда было втиснуто население небольшого уездного города. Его квартиру убирала дочь швейцара Саша, рыжая, тоненькая и гибкая девушка. Он почти никогда не принимал у себя, по крайней мере днем к нему приходили крайне редко и только люди громких имен.

Одиноким, молчаливым, он, с десяти часов утра сидел беспечно у себя в кабинете, писал, читал и разбирал почту, всегда очень обильную. Часть писем, видимо особенно важных, он прятал в стол свой и в тяжелый старинный шкаф. Ему писали губернаторы, архиереи, его вызывали к телефону секретари министров, крупные чиновники Департамента полиции, — он со всеми говорил одинаково спокойно и также привычно — властно, как со мною. В три часа он уходил обедать в ресторан, а к вечерней почте всегда аккуратно возвращался домой. Я уходил тоже в три, являлся на вечерние занятия в шесть и сидел до восьми, печатая на машинке длинные письма патрона, письма убежденного сторонника монархии бесстрастно, но неизбежно верующего в силу ее идеи. Писал он тяжелым языком, длинными фразами, охотно употребляя старомодные и церковно-славянские слова.

«А по елику дух бунта суть дух явного безумия, истомом коего является нарочно возбуждаемая врагами священного порядка жадность и зависть к внешним удобствам жизни, к материальной стороне ее, то было-бы существенно полезно, если-б Вы, достоуважаемый Владыко, предписали по епархии»...

Большинство своих писем и докладов патрон отправлял на просмотр Новаку, отсюда они возвращались испещренные поправками, богато иллюстрированные фактами истории и цитатами.

Я понимал его роль, как работу добровольного и независимого наблюдателя за течениями революционной мысли. Он зорко отмечал ход ее, весьма искусно скрытый у представителей оппозиции; — несколько десятков их имен были выписаны им на отдельной таблице и я должен был следить по газетам за их выступлениями в Госу-

дарственной Думе, в печати, на лекциях. Он не верил органам правительства, существовавшим для борьбы с революцией, относился к ним пренебрежительно и, однажды, провожая Новака, сказал ему:

— В Департаменте полиции укрепились грубейшие невежды.

Мне очень спокойно жилось рядом с ним, мне нравилась моя работа. Я быстро научился обнажать скрытые мысли; подчеркивая отдельные фразы и слова, я ловко оголял злую и лживую, но жалкую, разрушающую мысль.

Чаше других посещал патрона Новак. Он приходил, как мне казалось, всегда в дождливые, туманные или выжженные дни. Удивительно беспечно ходил по земле этот почти бесплотный человек, подобный тени. Мне казалась знаменательной и символической его манера держать в карманах брюк сухие, холодные руки, я видел в этом брезгливое нежелание физически касаться жизни и все более осязаемой, значительной становилась для меня сила его духовного влияния на жизнь. Эту силу я чувствовал во всей прессе защищавшей основы и принципы единовластия и для меня было ясно, что этой силою живет и дышит мой патрон, — машина, работавшая энергией Новака.

Однажды, прощаясь в моей комнате с патроном, Новак сказал, вполголоса, как всегда.

— И надо еще раз указать, что во все века, у всех народов наиболее острые заблуждения мысли разумно карались смертью. Именно — смертью!

— Это — делается, — заметил патрон.

— Так. Но делается тайно, прикрыто и потому не имеет устрашающего характера. Нужно восстановить

публичную казнь. Они — казнят публично, их палачи бесстрашны. Бесстрашие утверждает справедливость деяния. Именно — так. Численно слабые действуют открыто и этим придают простому убийству человека ореол подвига, сияние героизма. Количественно сильные, имея право казни, потому что они — большинство, — казнят в тайне, прячась и этим как-бы превращают естественный, законный акт самозащиты в преступление. Понимаете? Тут скрыта нелепость, идиотизм. И — не трусливость ли?

Остановясь у двери на лестницу, он добавил:

— И — пытки! Публичные пытки. Всенародно, при свете дня. Так.

Мой патрон нежно гладил руки и кивал головою, а когда Новак ушел, патрон сказал, проходя мимо меня:

— Учитель ваш — необыкновенный человек.

О, да. Я это знал. Когда я видел Новака, мой страх пред людьми исчезал, заменяясь почти благоговейным страхом пред учителем, который, говорю я, становился все более бесплотен и похож на тень.

— Я уважал патрона. Жизнь его была, в моих глазах, подвигом верующего, который посвятил все силы свои великому делу укрощения людей. Я верил, что он очень значительно помогает править жизнью, одиноко сидя в третьем этаже дома на углу двух улиц, в кабинете, окнами на площадь распростертую глубоко вниз, усеянную обывенной суетой, сокращенных, притиснутых к земле людей. Да, он был машиной, работал силою Новака, но его строгое, чугунное спокойствие восхищало меня. Нравилось мне, когда он, ровным голосом четко произносил одни и те же слова, туго связывая ими всегда одни и те же мысли.

Он пошатнулся в моих глазах неожиданно и это я принял, как удар в сердце.

Когда в Киеве агент Охраны государственного спокойствия застрелил министра, патрон ворвался в мою комнату бледный до синевы, закрыв глаза, размахивая неприятно блестящими руками, он топал и дико, хрипло кричал:

— Убили, чорт возьми... Я говорил, я-же писал! Вы слышите? Убили, а? Вот они, а? Охрана? Всех — под суд! Всех...

Мне слишком хорошо было знакомо чувство страха и я тотчас понял, что эту ярость вызвал страх. Он убежал в кабинет свой так хлопнув дверью, что в моей комнате сорвалась и упала карта России. Потому он ушел из дома, забыв взять трость.

Разумеется мое отношение к нему изменилось. Я не мог забыть его лицо, синее от яростного страха и начал относиться к нему уже не с той безмолвной покорностью, как раньше относился. Раза два я попробовал исправить язык его многословных писем, он, как будто, не заметил этого. Тогда я начал заговаривать с ним на темы дня, — что изумляло его, он смотрел на меня мигая калмыцкими глазами и мычал в ответ мне.

Когда он написал министру свои соображения о необходимости закрыть Государственную Думу, я указал, что он, видимо, не замечает, как этот новый министр кокетничает с оппозицией? Его уши побагровели и он сердитым криком, спросил:

— Вы — кажется — намерены учить меня?

Но уйдя к себе в кабинет, он, минут пять спустя, открыв дверь и, стоя на пороге, сказал внушительно, мягко:

— Действительные намерения министра точно известны мне.

Я молча поклонился ему.

— Вообще-же, Макаров, меня вполне удовлетворяет ваша работа. Она становится все более сознательной. Благодарю вас.

Я торжествовал и мне невольно подумалось, что он испугался окрика своего, испугался, что обидел меня. С этого дня он стал относиться ко мне не так механически, как относился, он почувствовал пред собой человека.

Вскоре он даже спросил меня тоном, каким спрашивают: вы не здоровы:

— Вы — женаты?

— Нет.

— Это — хорошо, — сказал он. — В наши дни жена — лишнее для серьезного человека.

И, подумав, добавил:

— Мы — в походе. Да, мы, как солдаты, в походе.

И — на часах...

Как-то утром, пожимая мою руку, он озабоченно спросил о моем отношении к воинской повинности.

— Весьма возможно, что мы будем воевать.

Я поблагодарил его изумленный, обрадованный, война — хирургическая операция, она могла вырезать больные места на коже государства. Я заметил, что если мы победим на войне, мы победим и революцию.

— Конечно, — сказал он, поглаживая руки. Нужно думать так: победим. Нужно верить в это. В данном положении — война несомненное благо для монархии.

Тогда я выразил надежду, что первыми на фронт будут отправлены политически неблагонадежные элементы,

— учащаяся молодежь, затронутые пропагандой рабочие, — да?

— Эта — идея, — сказал он, мигнув и опираясь о стол моей рукою. — Это — разумно. Если воспользоваться данными Охранного отделения, Департамента полиции, списками фабричной и заводской администрации... А-а-а.

Тут впервые я видел, как он улыбается: его мясная нижняя губа тяжело отвисла, усы ошетинились и обнажили полоску мелких, плотно составленных зубов, он закрыл глаза, но волосатое лицо его осталось неподвижным, лишь на лбу две, три секунды дрожали морщины.

Не хочу говорить о кошмаре этой дьявольской войны, об этой величайшей и пагубной ошибке монархии. О, если-бы мы пошли с Германией против Европы! Мы раздавили-бы революцию, как грязную корзину гнилых яиц и весь мир был-бы в наших руках, весь мир! Мир не знает ошибки более роковой. Думать о ней — больно, думы о ней — сжигают душу.

Предо мною война с убийственной ясностью обнажила горестное и, должно быть, уже органическое уродство страны, в которой, среди множества миллионов людей, не нашлось ни одного человека, способного овладеть хаосом, овладеть хотя-бы ценою уничтожения половины тех, кто может только есть, пить, спать, родить себе подобных, ненужных и ради этой скотской цели, готовы уничтожить все, что не влезает в их бездонные, жадные глотки.

Затем я наблюдал как растет смута, — об этом кричали газеты всех партий, одни — с отчаянием, другие — с радостью. Смута победоносно звучала даже в тех словах, какими оппозиция в прессе и в Думе жаловалась на реакцию. Эти жалобы были более фальшивы, чем

всегда и становились все более назойливы, нахальны. Везде и всюду чувствовался ядовитый туман и чад нарастающего бунта и я понимал, что это уж нельзя рассеять письмами патрона моего к архиереям, губернаторам, министрам.

Возникли «общественные организации», какие-то явно разбойничьи Союзы городов, Земств, — жадная моль, которая быстро разрушала горностаевую мантию самодержавия.

Глядя из окна моей комнаты вниз, на площадь, я видел сокращенных людей иными, чем они были раньше, такие-же низенькие, надутые туманом, они двигались быстрее, бойчей. В ресторане, где я обедал, все возрела смелость суждений о жизни государства и ясно было, что источник этой смелости — Государственная Дума, развращавшая умы, заражая их дерзостью глупой критики.

Вечерами я любил сидеть в кинематографах, наблюдать из темноты безмолвную жизнь серых теней, жизнь, которая так интересна выдуманными опасностями или бесподобной глупостью, призрачную жизнь, которая не требует, чтоб о ней думали. Кинематограф действует прекрасно, стирая с души впечатления реальной жизни, как пыль стирается тряпкой.

Но и здесь я замечал нечто намеренно подтасованное и враждебное: стали показывать города, более благоустроенные, чем наши, чтоб глядя на чистенький, игрушечный городок маленького государства, русские люди учились сравнивать и критиковать. Недовольство жизнью возбуждалось всюду, всеми способами и я вспомнил слова полковника Бер: это можно было прекратить только чудом, хотя-бы чудом жестокости, но — ослепляющим чудом.

Мой патрон — не тот человек, который мог-бы ослепить людей, нет, не тот! Я все более остро понимал это. И, чувствуя себя обманутым, обиженным, пошел к Новаку, поделиться с ним моими мыслями:

— Так, — сказал он, стоя у окна, в углу комнаты, тонкий и длинный. — Вы чувствуете именно так. Человека — нет! Нет человека. Везде — теоретики, критики, а действительного, волевого человека — нет!

Тусклые стекла окна наполняли комнату серовато-зеленым сумраком, в нем Новак казался еще менее осязаемым. Лицо его было мертвее, чем всегда, голос звучал уныло. Он не мог сказать мне ничего, что ободрило-бы меня, я ушел удрученный и на улице испытал острый, почти безумный приступ жестокости, меня охватила вдруг жгучая дрожь, мне захотелось крикнуть прохожим, как собакам:

— Цыц!

Потом я долго сидел в полукружии гранитной скамьи, на берегу Невы и думал, что если-б я обладал властью, я знал-бы что надо делать с людьми. Ведь все люди живут страхом нищеты, голода, уничтожения, страхом смерти, а все остальное приписывается — именно приписывается — им сочинителями «идей», только для того, чтоб утешить и этим обмануть их, чтоб они не обезумели, не озверели со страха и не перестали работать на человека, поняв, как бессмысленна и страшна их жизнь.

Вероятно, именно в этот вечер родились у меня мысли, раньше знакомые мне. Я подумал, что, в сущности, ведь и человек тоже трус, кто-бы он ни был. Может быть, он боится не того, чего боятся люди, но — он боится людей. Их так много и они так чужды ему. Страх пред людьми и даст инстинкту жизни в человеке

право быть безжалостно жестоким с людьми, неоспоримое право, потому что корень его — в инстинкте самосохранения. Иван Грозный был, наверное, трус, как все, так называемые, тираны. Политика трусов всегда политика жестокости, все политики безжалостны. Это — законно, иначе не может быть. Только тот, кто всегда чувствует опасность жизни и умеет хорошо бояться, способен действовать решительно. Может быть героизм «героев» — просто крайнее выражение отчаяния человека? Даже наверное: героизм есть отчаянный поступок испугавшегося человека.

Да, если-б я обладал властью, я оставил бы в мире страшную, ослепительную память о себе, я затмил-бы славу всех тиранов мира, я-бы выгладил людей, как носовые платки и сделал-бы жизнь покорной человеку, как покорна машина машинисту.

Мне кажется, что именно с этого вечера жизнь стала особенно быстро изменяться, принимая все более мятежный характер. Что-то ироническое явилось на плоских и, в сущности, убийственно однообразных лицах людей, что-то преступное и уверенно ожидающее. Чего? Какие соблазнительные видения возникли в их ленивых мозгах? Может быть, им приснилось, что они стали сильными, бесстрашными и могут сделать какой-то шаг в сторону от привычного пути? Может быть, они ищут человека, который указал-бы им, как сделать этот новый шаг, ищут вожда, который взял-бы их своей силой и повел за собою?

Затем наступили месяцы, когда я уверенно ждал, что власть над людьми возьмет мой патрон. Эта уверенность была и у него. Он подтянулся, похудел, стал еще более часто и крепче гладить свои руки, в калмыцких глазках его вспыхнул жуткий синий огонек. И все чаще видел

я, как весело и голодно блещут его оскаленные зубы. Ночами я думал о том, что меня ждет и ощущал в груди трепет роста той силы отчаяния, силы страха, которая создает героев и командует жизнью миллионов людей. Случись то, чего я ждал, и, говорю я, люди увидели-бы человека по истине страшного.

Но случилось иное. Дома города изрыгнули на улицы всех людей, на площадь вывалилась раздраженная, темная масса живого, голодного и жадного мяса. Красные пятна флагов, выстрелы и снова, и еще пятна флагов, — мясную лавку напомнили мне они.

Потом в комнату мою изломанно согнувшись, ворвался Нсвак и, захлебываясь словами, присвистывая, захрипел, зарычал, толкая меня в кабинет патрона.

— Что вы сидите? Рвите, жгите... вы сошли с ума? Р-революция! Он — арестован! Где мои письма? Р-рвите — уп-уп-уп — жгите... В камин...

Задыхаясь, он упал в кресло у камина, снял очки и вытирая стекла их о колено, застонал:

— Да — что-же вы, окаменели? Уничтожайте, рвите, жгите...

Впервые я увидел его глаза: они были маленькие, бесцветные, без ресниц и воспалены, — спрятаны в таких красных подушечках, должно быть полных гноя. Я очень долго и пристально рассматривал их, потом взял его за ворот и приподнял с кресла.

— Негодай! — сказал я в глаза ему, — ноги у меня дрожали и в груди моей я слышал этот режущий душу зимний свист, тонкий и злой.

— Негодай! — сказал я, встряхивая учителя. — Воспитатель героев, а? Подлец, — где твои герои?

Он подпрыгивал, царапал руки мои кривыми пальцами, и хрипел:

— Не смей... я не виноват... революционер... не смей, изменник...

— Негодай, — говорил я ему уже с наслаждением, неведомым мне до этих минут. — Я боялся тебя, я тебе верил, что ты — сильный, страшный. Во что же мне верить теперь, чего бояться? Ты убил во мне страх, ты человека убил во мне, негодяй!

И оттолкнув его, я ушел.

...Около года я сидел в тюрьме. Там познакомился с группой бандитов, это освободило меня из тюрьмы и дало мне место агента уголовного розыска. Убивал людей, — это делается очень просто. Теперь я сам бандит. Могу быть палачом. Все равно.

С. Черниковский

СВАДЬБА ЭЛЬКИ

Перевод Владислава Ходасевича

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Мордехай из Подовки

Под вечер реб Мордехай, зерном торговавший в Подовке,
Сел на крылечке у хаты, обмазанной свежей глиной,
Скромно стоявшей в венках темно-красного перца. На
солнце

Перец сушился теперь. Служил он зимним запасом,
Как золотистые тыквы, подобные с виду кувшинам.
Шли по домам пастухи; чабаны овец погоняли
В шуме, в смятении, в гаме и в тучах поднимающейся пыли.
Мыком мычали коровы, телятам своим отвечая:
Тех отделили от маток хозяева, чтоб не ходили
Тоже на свежую пашу; и разногласо и звонко
Блеяли овцы, ягнята; хозяева шумно скликали
Пестрый свой скот во дворы; с неистовым лаем собаки
Глупую гнали овцу, за быком непослушным бежали,
Ту загоняя к корыту, другого — в теплое стойло.
Так и звенело в ушах, и пылью глаза наполнялись.

Сел Мордехай на ступени, потя и мучась от зноя,
 Как и от той суеты, что в доме его воцарилась
 С самого первого дня, как просвтал он скромницу Эльку—
 И зачастили к нему: то портной, то чумазый сапожник;
 С этого самого дня в дому его силу забрали
 Всякие там белошвейки, портнихи, модистки, кухарки, —
 Всякая шушера, словом, (так зло Мордехай выражался).
 До чиста отняли мебель: и стол, и скамейки, и стулья.
 Нечего и говорить о кровати, где можно бы сладко
 После обеда вздремнуть; вся мебель пошла для раскладки
 Кофточек, кофт, одеял, рубашек, материй и юбок,
 Белых и пестрых накидок, и дорого стоящих платьев,
 Капоров с разной отделкой, из кружев, из лент разно-
 цветных;

Также почных и денных чепцов (поскромней, понарядней),
 Фартуков, простынь, чулок и сорочек с прошивками. Взгля-
 нешь —

Там размахнулся рукав, там — другой; подолы да оборки
 Заняли хату его, а сам Мордехай превратился
 Просто в какой-то придаток к нарядам и тряпкам. Пропало
 Все уваженье к нему — никто на него и не смотрит.
 Кроме всей этой возни, — потому он лишился покоя,
 Что обретался в гостях у него человек нестерпимый:
 Меир, подрядчик, еврей, назойливый, нудный и скучный,
 Всем надоевший давно бесконечным своим разговором.
 Меир бубнил... Мордехай сидел неподвижно и слушал.
 Так уж ему на роду, должно быть, написано было:
 Сесть на крылечке и слушать подрядчика нудные речи.
 Меир все мелет и мелет, бубнит. Мордехай притворился,
 Будто внимает ему, стараясь поддакивать часто.
 В скучные эти минуты чему Мордехай был подобен?
 Крепости был он подобен, врагом осажденной. Траншен,

Насыпи враг понаделал, дозорные выстроил башни,
 Бьет из баллист, катапульт и тучами стрелы пускает...
 Так-то сидел Мордехай, а подрядчик тяжелые камни
 Бухал в него: «Закладная... протори... убытки... взы-
 сканье...

Аукцион... прокурор... исполнительный лист... казна-
 чейство...

Жалоба... копия... суд... защита... решение... век-
 сель...

Пеня... повестка... росписка... доверенность... поста-
 новление...

Суд... апелляция... пеня... указ... секретарь... ино-
 тека...»

Сежился весь Мордехай, а Меир палит не смолкая.

И не возможно сказать, до чего бы дошло это дело,
 Если бы вдруг не пришло избавленье неожиданное. Думал,
 Думал уже Мордехай, что с Меиром сделать: подняться ль
 Да и послать его к черту с отцом и с матерью вместе, —
 Или спросить, — прочитал ли молитву вечернюю Меир?
 Вдруг подошла его дочка, по имени Элька, невеста;
 Стеткою Фрейдой пришла — и речь прервалась посредине.
 — «Ты это, Элька, откуда? И время ль теперь для гулянья?
 Мать — насилу жива, от шмыганья ноги опухли,
 Отдыху нет от хлопот о свадьбе твоей да нарядах»...
 — «Брось», — ответила тетка (а Меир молчал: подавился
 Камнем, который собрался метнуть): — «мы с кладбища
 вернулись».

Звали на свадьбу мы тетю покойную, Этлю, с сестренкой
 Переле. Как же иначе? Господь посылает нам свадьбу.
 Плохо ли это? Таков, брат, обычай. Пусть знают. Наверно,
 Радости Эльки они будут рады. И верно, на небе

Будут заступницы наши. Спасением и утешеньем... Знал Мордехай, что язык у Фрейды привешен отлично: Сразу начнет с пустяков — и припустится: сыплет и сыплет;

В высь вознесется, потом насчет «Древес» и «Каменьев»*), Взор устремит во скончанье веков, — и крупным горохом Кончит... Попал Мордехай из огня да в полымя. Только Предупредил он несчастье, сказавши: «Голубушка, Фрейда,

Все это верно. Прекрасно, что вы не забыли усопших. Надобно их пригласить. Да славится давший нам память! После же ужина мы посмотрим списки другие: Списки живых, приглашенных на Элькину свадьбу. По-жалуй,

Что-нибудь спутали мы, позабыли кого-нибудь. Как бы Гнева не вышло, досады какой! их во век не избудешь... Ну, помолимся, Меир...»

А после ужина вместе

Сели все трое рядком: Мордехай, и Элька, и тетя Фрейда. (Жена Мордехая, хозяйка славная Хьена, Все по хозяйству металась, ужасно спешила, и кругом Шла у нее голова). На террасе сидели. Очками Нос оседлал Мордехай и список держал приглашенных. Имя за именем он с расстановкой читал и заметки Вписывал сбоку. Читал он, — они же молчали и шили. «Ну-с, Агайманы. Тут двое: Халецкий и старый Лисовский.

С давних времен мы друзья. Наверно приедут на свадьбу... Каменка. Выходцы там из Добруджи живут, старожилы —

*) Т. е. говорит много и превыспренно.

Все огородники. Вот уж где хлеба-то много в амбарах! Речка там — Конка, что в Днепр впадает. И в Каменке двое:

Циркин (горячка такая, что страх!) и Литинский (за-бавник, Первый остряк — и родня мне). Наверно приедут на свадьбу...

Вот я боюсь за Токмак! Там грязища, народ же — раз-бойник.

Вдруг да письмо не дошло Кагарицкому Шмуэль-Давиду? Старый, давнишний приятель; наверно приедет на свадьбу...

Так: Лопатиха Большая. Богатое место. Винецкий Может оставить амбар: ведь в хедере вместо учились! Верный, истинный друг: наверно приедет на свадьбу. Вот и Большая Михайловка. Много в ней доброй пшеницы, Много и всякого люда. Так слушайте список, вникайте. Реб Мойсей Коренблит, с пятью сыновьями, конечно; Вольф Пятигорский, мучник, и Лейба Пятковский, как порох Вспылчивый; Гордин, наш маскил²⁾ и сын его Яня; Литровник

Яков; Серебренник Еся — хороший купец и процентчик. Все ведь приятели наши: наверно приедут на свадьбу! Скельки; сельцо небольшое, но славится медом и воском; Трое там: Бринь, да Хмельницкий, да милая тетюшка Ертель.

Вот уж друзья — так друзья: наверно приедут на свадьбу! Верхний Рогачик; ну, там — одни гончары да горшени; В списке: Хотинский Рефуэл да Бер Лебединский с Ципарским.

2) Т. е. человек „европейской“ складки.

Тоже друзья и родня: наверно приедут на свадьбу.
Ну с, а теперь Янчикрак. Тут — Вольф Хациревич. Уж
этот —

Брата родного милее: наверно приедет на свадьбу.
Дальше — село Белозерка, что «Малым Египтом» зовется.
Здесь — Богуславские (двое) да жулик один, Лиховецкер.
Все дорогие друзья: наверно приедут на свадьбу.
Вот Серогозы, Подгаец. Село Меньчикуры: Литровник
Залман, веселый бедняк, и Венгеров — великий законник.
Это все люди свои: наверно приедут на свадьбу.
Дальше идут хутора у Алешек (какие арбузы!)
Значатся: Рейнов-заика; Ямпольский — ужасный ме-

чтатель.

Оба — родня и друзья: наверно приедут на свадьбу.
Дальше — Каховка, село, известное ярмаркой славной:
Оленов, старый невежда, — и Карп, вольнодумец изрядный.
Тоже приятели наши: наверно приедут на свадьбу.

Так он сидел, раз'яснял, отмечал и вычеркивал. Молча
К ним благовонная ночь глядела в открытые окна.
И собрались малютки — хасиды зиждителя мира:
Бабочки, мошки, жуки, комары, шелкопряды, поденки
В плясках и танцах вились над свечью в подсвечнике
медном.

П Е С Н Ь В Т О Р А Я

Пятница, суббота и конец субботы

В пятницу, в день шестой, заскрипели ворота, калитки,
В тучах поднявшейся пыли явились повозки да брички,
Все — к мордехаевой хате, а в бричках престранные вещи:
Будто и нет никого, лишь груды материй да платьев.

В грудах же прятались гости от солнца и пыли дорожной.
Только что грохот колес или топот коней донесется,
Или собаки залают — спешат уж и Фрейда, и Элька
С матерью (с ними — служанки) навстречу под'ехавшей
бричке.

Зорик, облезший пес, наострит отвислые уши,
Мчится навстречу повозке, несется, из сил выбиваясь,
Словно вся жизнь от того зависит, и с яростью дикой
Ерешет на крепких мужицких коней, рычит, завывает,
Скачет на задних лапах, пугливых девиц утрашая...
С гости снимаются пыльник, пальто, и башлык, и накидка.
После — вуаль и косынка — и видно теперь, кто приехал.
Тут начинаются крики, об'ятия, визг, поцелуи.
Стихнут — и снова начнется: возня, пискотня, щебетанье,
Охи, и вздохи, и слезы от радости... Вдруг — затихает:
В хату впорхнули девицы — и к зеркалу прямо. Две-
надцать

Девушек с'ехалось нынче потешиться счастьем Эльки.
Все из ближайших селений к субботе явились «цум фер-
шпиль».

Элька заранее всем приготовила им помещенья
В разных ближайших домах — у родных, у друзей, у
соседей.
Девушек с'ехалось только двенадцать, из ближних се-
лений,

Возле Подовки лежащих; другие с отцами своими
И с матерями попозже приехали, прямо на свадьбу.

В день седьмой, в субботу, с утра, поденщица гоя
Отколупала у печки всю глину, открыла заслонку

И осторожно достала поставленный с вечера кофий³⁾.
(Так уж у Хьены велось: по субботам, для праздника, — кофий).

Сели за кофий к столу лишь свои, домашние. С ними — Только чернявая Геня, любимая Эльки подруга.
Наскоро выпили кофий, слегка закусили. Мужчины Тотчас пошли в бет-медреш⁴⁾, а девушки стол убрали: Грязную сняли посуду и тщательно крошки стряхнули. Прочь со скатерти белой, украшенной пестрой каймою. После отправились в сад, окружавший дом Мордехая. Садик был невелик, три дорожки, и то не широких, Но Мордехая он тешил: у прочих еврейских построек Вовсе садов не бывает, дворы — точно лысое темя. В садике фруктов не много, для дома — и то не хватает. Все ж Мордехая приятно покушать собственных фруктов. Принято было гостей водить по средней дорожке, Прочие две огородам служили. Там справа и слева Между деревьями грядки тянулись. На грядках — петрушка,

Лук и укроп ароматный, фасоль на высоких тычинах,
В сотне одежек своих — капуста, горох шаловливый,
Редька, морковь-каротель и хрен, вызывающий слезы.
Там же — подсолнечник, гордо глядящий на солнце, и тыквы.

Что до деревьев, то чаще — ветвистые яблони, груши,
Но попадаются также багровые вишни; крыжовник
Тычет колючки свои, за одежду хватая прохожих;

³⁾ В пятницу готовится вся пища на субботу; затем печь замазывается глиной и открывается в субботу. Так как работать в субботу нельзя, то делает это прислуга „гой“, т. е. христианка.

⁴⁾ Молитвенный дом.

Есть одинокая слива и белые две шелковицы.
Если ж по средней дорожке пройти до конца, то упруешься
В тесный большой полукруг подстриженных желтых
акаций.

Элька — невеста вела подругу милую Геню
Прямо в любимый свой угол, под старой развесистой ивой.
Густо в нем разрослись лопухов широкие листья,
В синих цветочках цикорий, крапива... Укромно и тихо.
Там и присели подруги. А Геня ласкается к Эльке:
«Ну, расскажи мне, Элька: красив твой жених?» —
«Вот увидишь!» —

Элька ответила ей, и розы на щеках зардели.
«Что он тебе подарил?» — «Разумеется, серьги с брас-
леткой». —
«Ну, а ты?» — «Я — часы. И сшила для тефилин⁵⁾ сумку:
Бархат лилового цвета; на нем золотыми шелками,
Щит Давида; кругом — жениха и отца его имя
Бледно-зеленым шелком; подкладка внутри голубая;
Шнур на завязки пошел розоватый с большими кистями». —
«Письма писал он тебе?» — «Ну, конечно, и сколько же
пишем!» —

«Ты отвечала?» — «Ну да. Учитель двоюродных братьев
Письма мои сочинял, а я сама их писала». —
«Элька, ну, покажи мне, что пишет жених! Интересно!» —
«Геня, зачем? Твой жених напишет тебе — прочитаешь». —
Геня ласкается, просит: «Ну, дай мне прочесть...»
Побежала

Элька домой и вернулась, неся драгоценные письма.
Геня ее обняла, а та нараспев ей читает:

⁵⁾ Кожаные коробочки, со священными текстами внутри. Во время молитвы они надеваются на голову и на левую руку.

«Бог да воззрит на тебя и мир свой тебе да дарует.

Моей дорогой невесте :

«Вот получил я письмо, о радость моя, — и прозрели
«Очи мои, и разверзлись зарею пред солнцем той вести,
«Что прочитал я в письме. Бесконечная радость зыграла
«В сердце моем и в утробе, узнавши, что ты здорова.
«Да увеличит Господь достоянье твое многократно,
«Дни он твои да продлит в приятности; если же будет
«Благо тебе — то и мне, и веселье твое — мне веселье.
«Словно широкоотекущий поток, напояющий злаки,
«Так же разыграл и во мне поток благотворного счастья
«Из за письма твоего; напоят сердечные гряды
«Шумные токи веселья; и радости дух мой исполнен,
«Ибо я вижу, что ты мои упредила желанья
«Прежде, чем высказал я, — ты просишь писать постоянно.
«Сердца дух моего, раскинувши крылья, несется
«Тысячекратно воздать за твои дорогие подарки.
«Спросишь, пожалуй, откуда такая любовь, что подобна
«Ионафановой или Давидовой? Нет, дорогая!
«Ионафанова или Давидова просто ничтожны
«Перед моею. Моя — не из тленного сделана сердца,
«Непреходяща она, и ее пребывание вечно.
«Все отрады земные поток времен уничтожит,
«Все они моли и тли достоянье. Вовеки пребудет
«Только моя любовь. Не коснется рука разрушенья
«Только моей любви, потому что она не взростеет
«Злаком земных полей, — но злаком верного сердца.
«Листья на ней не увянут, а стебель пребудет вовеки.
«Как опаленную землю смягчает промчавшийся ливень,
«Так на разумную душу разумные речи ложатся —

«И растопляют ее, как слиток в пылающем горне,
«Крепость ее изменяют, и сущность меняют, и даже
«Ненависть самую злую в безмерность любви обращают...
«Вот каковы, дорогая, поэзии сила и свойства.
«(Впрочем, из них я еще отнюдь не все перечислил).
«Вот почему и решил я: поэзии мудрые речи
«Каплями пусть упадают на душу моей нареченной.
«О, дорогая! Я верю: цветы красноречия смогут
«Сердце затронуть твое. И я знаю наверно, что путь твой
«Благочестив, что напрасно ты времени тратить не ста-
нешь,

«Руки сложа не сидишь... Посему, если только случится
«Встретить тебе человека, идущего к нашему граду, —
«Не откажись известить о своем драгоценном здоровье,
«Ибо все сердце мое о тебе в непрестанной тревоге,
«Письма же слаще вина и меня, и родителей тешат. —
«Так говорит твой жених, ожидающий писем. —

Иуда».

Вместе с этим письмом пришла еще и записка,
Только родителям я читать ее не давала:
«Кроме того, дорогая, люблю я тебя в самом деле.
«Вот и пришло мне на ум, почему бы евреям не дважды
«Праздновать праздники все, чтобы дважды бывал и
шевуот, —
«Так, чтобы снова я был на празднике в милой Подовке,
«Снова бы видел тебя... Ведь душа истомилась. Вчера же
«Видел тебя я во сне. Говорят, это к счастью. — Иуда.
«Боже тебя сохрани показывать эту записку
«Матери или отцу».

Прослушавши, Геня спросила:

«Любишь ли ты жениха?» — «Про любовь ничего я не
знаю...

Слышу, как молится он, и душа у меня замирает. Входит он — сердце дрожит, а взглянуть на него не решаюсь.

Все говорят, что хорош он: учен, чернобров, да и ласков. Сердце рвется к нему — а любовь... про любовь я не знаю. Ты не знаешь ли Геня?» — И розы на щеках зардели. — «Впрочем, пора и домой: уж скоро вернутся с молитвы... А про любовь я не знаю...»

Действительно, все возвратились Из бет-медреша и ели: мужчины, а больше девицы. Все же десятка два собралось за столом Мордехай. После обеда вздремнули, — а там началось и веселье.

С месяц уже Мордехай размышлял, и один, и с женою, И совещался с друзьями: где лучше отпраздновать свадьбу?

Дома устроить? Так тесно, что места наверно не хватит Всем приглашенным гостям. А можно сыграть и в амбаре, Там, где ссыпают зерно; стоит он готовый, широко Двери свои распахнув для принятия хлеба, и пахнет Рожью, и с лета хранит он тепло в полумраке. Конечно, Можно долой из него на время снять переборки, Стены коврами украсить, навешать цветных занавесок, Гладкий досчатый пол по случаю танцев обильно Тальком посыпать... Другие в подобных же случаях строят

Новый большой балаган, покрытый широким брезентом С медными кольцами. Есть за таким балаганом не мало Важных заслуг. Не мало тогда Мордехай поразмыслил, Взвесил, — и вот, наконец, балаган построить решился. Вскоре пришли мужики, притащили кирки да лопаты; Все обсудив хорошенько, глубокие, узкие ямы

Вырыли. В ямы двенадцать столбов, обструганных гладко, Вставили: им предстояло служить опорой для досок, Двум же еще столбам — косяками дверными. Все ямы Плотно засыпали щебнем, а сверху землю, и крепко Ручками тех же лопат старательно утрамбовали. Доску к доске пригоняя, вязали бечевками прочно: В ход не пуская гвоздей, одною бечевкой крепили. Сверху стропила сходились — и вот, за медные кольца, Гладко по ним растянули брезент надо всем балаганом. Был он высок и просторен, а Элька с подругами тотчас Стены закрыли коврами. Красивые бра со свечами Были прибиты к столбам; четыре яркие лампы Свесились там с потолка, — и все балаган одобряли.

Все же не в том балагане девицы устроили танцы, А в Мордехаевом доме, по многим и важным причинам. Залу очистили им, — и схватила подруга подругу, И припустились плясать; танцевали весь день неустанно, Вплоть до вечерней зари. А под вечер им подали ужин. Всем угощали девиц: и медом, и всяким печеньем, Вплоть до коржиков мелких, посыпанных сахарной пудрой. После же ужина пуще, сильнее разыгралось веселье. Ловко схитрил Мордехай: не сказавши девицам, позвал он Симху-жестяника. Симха — хромой, да проворный. К тому же

Неугомонный скрипач: и вот, он играл им на скрипке. И веселились девицы: схватила подруга подругу, Все заплясали с восторгом, гуторили, пели, болтали. А на дворе собрались — и в открытые двери смотрели То на плясавших девиц, то на коржики в сахарной пудре. И во второй уже раз петухи отдаленно запели, Сон и покой возвещая: петух петуху по соседству

Передавал эту вестъ; обошла она все переулки,
Улицы все, все село, — а все еще Симхина скрипка
Яростным визгом визжала, — а девушки все тацовали.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Воскресенье

Ночь напролет проплясавши, проснулись девицы позд-
ненько.

Подали им и обед с опозданием: семья Мордехая
Очень была занята, «ученых» гостей принимая.
Был, как обычай велит, обед устроен для низших
Членов местного клира: для служащих при синагоге,
Для переписчика торы⁶⁾ и прочих. Обедали также
Местный «еврей из погоста», кладбищенский сторож...

А с ними

Некий проезжий торговец еврейскими книгами. С водки
Начали; после же водки покушали жирного супу;
После — жаркое; компотом закончили: груши и сливы.
Три, как водится, блюда. Деньгами же каждому выдал
Рубль серебром Мордехай, а жена его всем не прощанье
Разных сластей надавала — для деток, оставшихся дома.
Стало девицам в тот день еще веселее — явилась
Из Мелитополя к ним капелла, пять музыкантов:
Первая скрипка, вторая, да бас, да кларнет, а к тому же
Был барабанщик еще, который привез и «тарелки».
Главный был Мазик, Рефуэл. Насмешники так говорили:
Дылда, паршивый, дурак, да косой, да безрукий — а
вместе

⁶⁾ В синагогах Библия читается только по свиткам, писанным от руки на пергаменте.

Для сокращения все это зовется капеллой. — Она-то
Из Мелитополя прямо сегодня явилась в Подовку,
Чтобы искусством своим веселить гостей Мордехая.
Весело Мазик вошел, поздоровался очень развязно,
Кстати, поклон передал от сватов из города: «Будут!»
Ловко ввернул в разговор, что они не обедали нынче.
Хьена намек поняла и капеллу за стол усадила.
Подали водки, закуски, компания в миг нагрузилась,
После чего разбрелась, помолвившись. В тени, на кры-
лечке

Скрипка, бас и кларнет легонько с часочек соснули.
Мазик пошел навестить старинных подовских знакомых,
А барабанщик один по дому слонялся, по саду,
Вышел на двор, наконец, — и по двору тоже слонялся.
Солнце изрядно пекло. Был праздничный день, воскре-
сенье,

Тихо и мирно кругом. Как вдруг послышались крики,
Шум поднялся у сарая. Оттуда, — как видно, с размаху —
Вылетел наш барабанщик, за левую щеку рукою
Крепко держась. А щека огнем разгоралась и пухла.
За барабанщиком баба — и вся-то в соломе! за нею —
Рыжий соседский сын — и тоже в соломе. Мгновение —
Вот уж и нет его там, исчез под шумок незаметно...
У Мордехая в прислугах жила плодовитая девка,
Крепкая, голос мужской, здоровенные икры. Она-то
За барабанщиком вслед из сарая и пригнула шумно,
По двору криком крича; барабанщик тогда заметался —
Только бы скрыться ему... И никак понять невозможно:
Тот удирает, другой, — а раздетая баба бранится.
Много смеялись потом, но толком никто и поныне
Не разобрал ничего. Уж видно, такой незадачный
Выдался день. Не прошло, однако, и часу — а парень

Снова слоняется всюду. (Щека — что у доброй хозяйки
Пышно взошедшее тесто). Гуляет он по двору, глазки
Так и шныряют кругом. Как вдруг, почему — неизвестно,
Зорик, обшмыганный пес, на него неистово взъелся:
Так и старается в ляжку вцепиться. Дурак испугался.
Смотрит — кругом ни души. От великого страха
Сами согнулись колени — и сел на корточки дурень
И завопил, что есть мочи, — а Зорик рычит не смолкая.
Этот все скачет и лает, — а тот от ужаса воет.
Что поднялось на дворе! Народ отовсюду сбежался,
Пса отогнали кнутом и парню вернули свободу.

Скучно тянулся весь день для девиц. Но лишь только
стемнело,

Мигом слетелись они в Мордехаеву залу и к Эльке.
Тут-то веселье пошло! Чуть первая взвизгнула скрипка,
Мрачно откликнулся бас, и нахально кларнет отозвался,
И замурлыкала нежно вторая игривая скрипка.
Но примирились потом — и вышла веселая полька,
Полная неги и страсти. — Схватила подруга подругу,
Пара за парой пошла, и целую ночь танцевали.
То угощались, болтая, то снова и снова плясали.
А на столе красовались и сласти, и мед, и печенье,
Вплоть до коржиков мелких, посыпанных сахарной пудрой.
А на дворе собрались и в открытые двери смотрели
Парубки, бабы, дивчата... Теснились под окнами густо,
Шумно толкаясь в дверях и любуясь еврейскою свадьбой.

Музыки томные звуки, ласкаясь и нежась, носились
В теплой ночной тишине над мирно уснувшим селеньем.
Насторожились сады, зачарованы смутною тайной,
Медленно месяц катился высокой своею дорогой,

Нежно струя серебро на маленький прудик, на хаты.
То побелит он амбар, то светлым венцом увенчает
Стройных верхи тополей, погруженных в ночную молитву...
Звуки неслись по селу, за село, в шелестящие травы —
И далеко-далеко замирали над сонною степью.
И разудалый напев становился нежнее и мягче,
Грусть зазвучала в весельи — грустнее, грустнее, грустнее,
не,

Точно и не было вовсе на свете другого напева,
Более праздничных звуков, чем вечно унылая песня.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Понедельник

Мальчик, лет десяти, вестовой, — во дворе Мордехая.
Волосы вклочены густо; рубаха расстегнута; ноги
Голыми пятками бьют по бокам проворной кобылки.
«Едут!» — кричит вестовой: — «На семи подводах!»

Тотчас же

В десять мужицких подвод, припасенных заранее, люди
Быстро садятся, толкаясь, подводы битком наполняя.
Громко кричит Мордехай: «Музыканты, сюда! Музыканты!
Сваты! Где сваты? Скорее! А выпивка есть? А закуска?
Девушки! Ну-же! Проворней!.. Извозчики! Трогай!..»

— И разом

Десять мужицких подвод за ворота несутся со свистом,
Гомоном, топотом, гиком и щелканьем. Вот уж,
Быстро одна за другой понеслись, обгоняя, помчались.
Спереди — псы со дворов, позади — непроглядная туча
Пыли. Подводы несутся — встречать жениха дорогого.

В двух, примерно, верстах от Подовки, вдали от дороги,
Грустно среди ровного поля маячит курган одинокий,
Чахлой травой поросший. И траву его покрывает
Легкая серая пыль, а ветры землей засыпают.
Изредка бледный ячмень да колосья залетной пшеницы,
Выжжены солнцем степным, в траве попадаются. Мнится,
Будто состарилась тут и трава — и печально, уныло
В ней седина показалась от долгой тоски по былому,
По поколениям былым, что промчались, как вешние воды,
И не осталось от них ни следа, ни рассказа, ни песни.
Что же ты, старый курган? И о чем ты над степью
тоскуешь?

Кто же насыпал тебя высоким таким и широким?
Что ты за тайну хранишь? Где те, что тебя насыпали?
Сном позабылись они — и сами всем светом забыты.
«Царской могилой» зовется курган, и к нему-то с дороги
Реб Мордехай и свернул, родню жениха поджидая.
Шумной, веселой гурьбой на курган побежали девицы,
Споря, кто раньше взберется. За ними степенно, неспешно,
Не забывая девиц понукать, подзадоривать шуткой,
Шли старики, отдуваясь. Взошли на вершину кургана,
Стали — и дикая ширь степная пред ними открылась
В грозной своей наготе, опаленная пламенем солнца.
С самых древних времен, со времен мирозданья, над
степью

Дивная стелется тишь, пред которую речь умолкает.
Нет границ тишине, и нет предела простору,
Только объятья небес вдалеке замыкают пространство

Пыль задымилась над шляхом, вставала, росла, прибли-
жалась.

Вот уже в ней показались летящие быстро повозки,

Вот уже стали видны в повозках сидящие люди.
Вот повернули к кургану, все ближе и ближе. Капелла
Встречный грянула марш. Замахали, задвигались шумно
Те, что стоят на кургане, и те, что под'ехали в бричках.
Свата приветствует сват, родные родных обнимают.
«Мазел-тов! Здравствуй, жених!» — «Эй, мазел-тов!

Здравствуйте, сваты».

Уж у подножья кургана разложена пестрая скатерть;
Вот уже солнечный луч купается в золоте винном;
Вот уж его теплота касается коржиков пухлых,
Будок, кусочков мацы, крендельков и других угощений,
Звонкой стеклянной посуды, серебряных круглых под-
носов...

Весело сваты друг другу кричат: «На здоровье! Лехайм!»
Пьют и едят старики, а за ними, жеманясь, девицы.
Как принялись за вино — не отстали, покуда ни канли
Больше его не осталось в посуде. Но только, пожалуй,
В нем и нужда миновала: без выпивки весело было.
Кончили все это пеньем, объятьями, радостным шумом.
Вот и целуются двое: товарищи с самого детства,
Вместе когда-то росли, и один их мучил меламед¹⁾.
Рады друг другу они: «Ты, Яков, с чего поседел-то?»
«Сам ты с чего облысел?» — «Как дела?» — «А твои
как делишки?»

«Сколько детей у тебя?» — А, ей-Богу же, разве я знаю?
Двое с матерью спят, один — со мной на кровати,
На оттоманке один, а другие ложатся в повалку:
Как же я их сосчитаю?...» — «Вот дурень!»... Вдруг —
танцы. «Скорее!»

И принялись танцевать под музыку славной капеллы,

¹⁾ Учитель в хедере.

Весело ей подпевая. Плясали с большим оживлением, Впрочем — мужчины одни. Девицы на них возроптали, Стали со сватами спорить. Тогда и для них музыканты Бойкую дернули польку — и девушки тоже плясали. Не были так же забыты извозчики: возле подводы Сели они и сердца услаждали закуской и водкой. Вздумал потом Мордехай послать мальчугана в Подовку, Чтобы привез он вина, но ему не позволили. Снова Стали садиться в подводы, чтоб ехать в Подовку, — однако Спутали все экипажи, и каждый как сел, так и ехал. Мчались во всю, торопили извозчиков, громко кричали, Их лошадей погоняя, махая кнутами, стараясь Между возниц возбудить благородное соревнованье. Перекликались, шутили, кричали ура, баловались, Много тут было забавы, и много приятного сердцу... Так-то семья Мордехая встречала приехавших сватов.

Дом Мордехая кипел, как котел на огне, и ворота Не запирались весь день — все новые гости являлись, Этот — туда, тот — сюда, толкуются, приходят, уходят... Сушая ярмарка, право!.. Когда-же, совсем уж под вечер, Сальные свечи зажглись в большой Мордехеевой хате, — Снова туда собрались и друзья, и родные, и сваты, Вновь закипело веселье; уселись в углу музыканты; Вздумали-было девицы опять танцевать — да не вышло, Сваты теперь одолели, отбили у них музыкантов: «Нынче капелла за нами!» — И вот, до полуночи самой Музыка им исполняла напевы хазанов⁸⁾, отрывки Опер, румынские песни... И все веселились и пили, Сердце свое услаждая. Потом старики утомились

И разошлись во свояси: вздремнуть, отдохнуть. А девицы Только остались одни — уже подруга схватила подругу, Пара за парой пошла — и целую ночь танцовали. То угощались, болтая, то снова и снова плясали. А на столе красовались и сласти, и мед, и печенье, Вплоть до коржиков пухлых, посыпанных сахарной пудрой.

И танцовали они, пока петухи не пропели:
«Третья стража идет! Скорей по постелям, Израиль!»

Окончание в следующей книге.

⁸⁾ Хазаны — канторы, синагогальные певчие.

Панайот Истрати

КИРА КИРАЛИНА

Перевод с французского

Предисловие Ромэна Роллана

ПРЕДИСЛОВИЕ

В первых числах января 1921 г. я получил письмо из госпиталя в Ницце. Оно было найдено на теле несчастного, пытавшегося перерезать себе горло; не было почти никакой надежды на его спасение. Я прочитал письмо и был поражен гением писавшего его, — гением бурным, как горячий ветер равнины. Это была исповедь оригинального человека. Его удалось спасти. Я захотел познакомиться с ним. Завязалась переписка и мы стали друзьями.

Его зовут Истрати. Он родился в Бранлове в 1884 г. от грека контрабандиста, которого он не помнит, и румынской крестьянки, удивительной женщины, посвятившей ему всю свою жизнь, полную непрерывного труда. Несмотря на свою любовь к матери он покинул ее 12-и лет, движимый духом бродяжничества, или скорее потребностью познания и любви. Двадцать лет провел он в странствованиях, пережил необыкновенные приключе-

Кира Киралина

73

ния, изведal изнуряющий труд, безделье и печали; его травили ночные сторожа, когда он слонялся, без крова, под палящим солнцем или проливным дождем, голодный, больной, одержимый страстями и умирающий от голода. Оа испробовал все ремесла: служил в трактире, был кондитером, слесарем, котельщиком, механиком, работником землекопом, грузчиком, слугою, «сэндвичем», маляром, журналистом и фотографом. Одно время он принимал участие в революционном движении; исколесил Египет, Сирию, побывал в Яффе, Бейруте, Дамаске и Ливане, объездил Восток, Грецию, Италию, зачастую без гроша, скрываясь иногда на пароходе, где его находили и, конечно, выбрасывали в первой попутной гавани. Но, лишенный всего, он был богат воспоминаниями и часто заглушал голод чтением, жадно читая, главным образом, великих русских учителей и писателей Запада.

Это прирожденный рассказчик, — рассказчик Востока, который сам себя очаровывает и волнует своим рассказом, так увлекаясь, что, начав рассказ, сам не знает, продлится ли он час или тысячу и одну ночь. Так силен в нем дух рассказчика, что даже в письме, написанном накануне самоубийства, он дважды прерывает полные отчаяния жалобы юмористическими воспоминаниями из своей жизни.

Я убедил его записать часть его рассказов; кроме того он принялся писать большую книгу о своей жизни, два тома этого труда в настоящее время уже написаны. Отражение его жизни, — этот труд должен бы быть посвящен, как вся жизнь Истрати, священному для него чувству Дружбы. Он то и дело останавливается в своем повествовании на воспоминаниях о встреченных им людях, и пытается разгадать загадку судьбы, которую

каждый из них таит в себе. Каждая глава романа составляет как-бы отдельный рассказ. Три-четыре таких рассказа, в тех томах, которые мне известны, достойны пера русских учителей. Он отличается от них своим темпераментом и яркостью, определенностью умозрения и трагической веселостью — веселостью рассказчика, который говоря, освобождает свою душу.

Приведенный здесь рассказ выражает лишь одну из сторон его разносторонней природы. Другие более глубоки и мы надеемся со временем познакомить с ними читателя. Этот же рассказ дышет веселой безнравственностью, легкой моралью и здоровой жаждой изведать жизнь со всеми ее радостями и горестями. Не надо забывать, что человек, написавший эти строки, самостоятельно изучил французский язык семь лет тому назад, читая наших классиков.

Ромэн Роллан

*

КИРА КИРАЛИНА

Я не помню ни когда это было, ни сколько мне было тогда лет... Но я знаю, что эта драма разыгралась незадолго до Крымской войны.

Маленьким ребенком я видел ежедневно, как отец бил мою мать. Мать часто отлучалась из дому, он бил ее перед уходом и по возвращении. Я не понимал, бьют ли ее перед уходом для того, чтоб заставить, или чтоб помешать уйти, а по возвращении — за то ли, что она уходила, или за то, что вернулась? Как в тумане, вижу

я рядом с отцом его старшего сына, такого же жестокого, как и он сам, и плачущую около матери сестру мою Киру, которая была на четыре года старше меня и к которой меня всегда влекло.

Понемногу, я подростал и начинал понимать странные вещи... Мне было тогда лет 8—9, а сестре 12—13; она была так хороша собой, что я весь день не отходил от нее, любясь ее красотой. Она целыми днями наряжалась и украшала себя, также как и моя мать, которая была красива не менее дочери. Обе красили себе перед зеркалом ресницы, беря «Кинорос» из ящика черного дерева и разводя его в масле, — чернили брови обугленным концом палочки из дерева, и румянили скулы и губы пурпурной краской, окрашивая ею же и ногти. Когда эта операция была окончена, они, обняв друг друга, немножко нежничали и принимались за мой туалет. Затем мы все трое взявшись за руки, исполняли турецкие или греческие пляски, и целовали друг друга.

Отец и его старший сын уже не приходили каждый вечер к нам в дом. Они были тележниками, и притом самыми искусными и известными в крае; их мастерская находилась на противоположном конце города, в квартале «Каракион», тогда как мы жили в «Тшетатцуде». Нас разделял весь город. Дом в «Каракион» принадлежал моему отцу. У него помещались два работника, два ученика и также старая служанка, которая вела хозяйство. Мы никогда туда не ходили, я почти не знал мастерскую отца, боялся его. В «Тшетатцуде», у моей матери, целый день ничего не делали, только веселились... Зимой пили чай, летом сиропы, и круглый год ели «кадаифс» и «сарайлиес»¹⁾ пили кофе, курили кальян, крились и плясали... Это была чудная жизнь...

Да, жизнь была хороша, за исключением тех дней, когда отец или его сын, или оба вместе, появлялись посреди праздника и били мать, набрасывались с кулаками на Киру, ломали палку о мою голову, — я, ведь, тоже принимал участие в пляске. Так как мы свободно говорили по турецки, то они называли обеих женщин «патшаура»¹⁾, а меня «Китпук пецевенгли»²⁾. Женщины бросались к ногам своих тиранов и, обвиняя их колени, молили пощадить их лица.

— «Не трогайте лицо!» — кричали они, «во имя Создателя и Пресвятой Девы, не бейте по лицу!... Пощадите глаза!... Пощадите!...»

О! Эти лица, эти глаза, красота этих женщин!... Не было других подобных им красавиц!... Волосы их, цвета золота, падали до ног, кожа была белоснежна, а брови, ресницы и глаза, черны, как смоль: в жилах моей матери текла смешанная кровь, — румынская, турецкая, русская и греческая, — чем она была обязана женской линии своего рода и трем последовательным окупациям, которым подвергалась ее родина в прошлом.

Моей матери было 16 лет, когда родился ее первенец, я появился на свет третьим. Никто не мог бы сказать, глядя на мою мать, что у нее трое детей... И эту-то женщину, созданную для ласк, били и истязали. Впрочем, если мой отец не ласкал ее, то любовники вознаграждали ее сторицей; я так никогда и не узнал, начала моя мать первая изменять мужу и вызвала этим дур-

¹⁾ Турецкие сласти.

²⁾ Влудницы.

³⁾ Маленький сводник.

ное обращение с его стороны, или же мой отец с самого начала бил ее и этим толкнул ее на измену. Во всяком случае кутежи никогда у нас не прекращались, и стоны любви чередовались с криками боли, едва прекращались побои, как снова появлялась улыбка на лицах мокрых от слез.

Я исполнял роль сторожа, улетая пирожные, в то время, пока ухаживатели, которые держали себя впрочем довольно прилично, — сидя по турецки на ковре, пели и заставляли женщин плясать, играя им восточные мелодии на гитаре, под аккомпанимент кастаньет и тамбурина. Моя мать и Кира, одетые в шелковые ткани и горевшие жаждой наслаждения, исполняли танец с платком, вертясь до самозабвения. Затем, с разгоряченными лицами, они бросались на большие подушки и лежали, прикрыв ноги длинными одеждами и обмахиваясь веерами. Пили ликеры, жгли ароматы. Мужчины были молоды и красивы. Черноволосые, элегантные, они носили закрученные усы и холеные бородки; их волосы, гладкие или вьющиеся, сильно пахли миндальным маслом с мускусом. Это были турки, греки и изредка румыны, — национальность не играла никакой роли, под условием, чтобы поклонник был молод и красив, деликатен, скромен и не слишком нетерпелив.

*

Роль моя была неблагоприятна.... До сих пор я никому не говорил о том, что составляло тогда мое мучение.

Мне вменялось в обязанность сидеть на подоконнике, выслеживая появление непрошенных гостей. Это мне

нравилось, я, разумеется, ненавидел людей из «Каракион», которые приходили нас бить. Но в груди моей происходила борьба между чувством долга и ревностью.

Я ревновал, жестоко ревновал.

Дом наш стоял в глубине обширного двора, окруженного стеной. Часть окон выходила на этот двор, другая же, на задней стороне дома, составляла как-бы выступ над площадкой, ведущей к порту. Войти в дом можно было лишь с фасада, при выходе же приходилось иногда быть менее разборчивым, и, еслибы откос площадки мог говорить, он рассказал бы не мало случаев, когда наши гости скатывались с него в овраг!...

Примостившись на подоконнике, я не сводил глаз с фонаря, горевшего всю ночь над входной дверью, и напрыгал слух, готовясь каждую минуту услышать скрип ржавых дверных петель.

Но в то же время мне хотелось следить одним глазом за тем, что происходило в комнате. Моя мать и Кира были безумно хороши, с тонкими, как у осы, талиями, затынутыми в узкие лифа, обрисовывавшие их выпуклые, упругие груди; роскошные волосы их, связанные вокруг головы ярко красной лентой, были распущены и падали волнами по спине и по голым плечам; длинные ресницы трепетали, как будто сиюсь раздуть пламя желаний в очах.

Нередко гости, в соревновании нравиться женщинам, делались смешными. Так, например, один из них, желая польстить моей матери, сказал, что «старые куры дают хороший навар». Бедная женщина, заплакав с досады, бросила ему в лицо свой веер. Другой гость рассердился и, вскочив с места, дал «пинок» неудачному остряку и плюнул ему в лицо. Они схватились в рукопашную, пе-

ревернули весь дом верх-дном и опрокинули кальяны. Мы все смеялись до слез. Чтобы помирить их, моя мать обняла обоих.

Эти объятия и поцелуи служили у нее средством награды в самых разнообразных случаях. Она дарила поцелуи за красивый голос, за удачное слово, за ловкую игру; и тем же способом она приводила в хорошее настроение сердитых, сглаживала впечатление, вызванное обидным словом, успокаивала ревность безумца и вознаграждала одуряченного поклонника.

Кира не уступала матери. Очень развитая физически, она казалась старше своих 14-ти лет. Ветреная, насмешливая, с маленьким тупым носиком и ямками на щеках, которые бог любви отметил двумя симметричными родинками, Кира огорчала своих поклонников и меня своими проказами, насмешками и шутками. Влюбленные хотели получить больше, я же находил, что она им слишком много дает.

Приходившие к нам поклонники назывались «муссафир», и эти «муссафир» беспрестанно целовали ей руки и сандалии. Она дергала их за нос или за бородку; налила сироп на горящие уголья их кальянов, предлагала выпить из своего стакана и тут же разбивала этот стакан, чтобы их расдосадовать, но через минуту прижимала прядь своих волос к губам обиженного вздыхателя...

Все это приводило меня в бешенство, я любил Киру гораздо больше, чем мать... Я не терпел, что кто-нибудь ласкал ее кроме меня.

Помню, как, к довершению моей ревности, во время танцев развязался узел на ее сандали, и Кира, подойдя к одному из «муссафиров» поставив ногу ему на колено, попросила его завязать узел. Вы поймете, какая это

была радость для счастливца! Он исполнил ее требование, продолжив, насколько было возможно, удовольствие, между тем, как мои глаза метали молнии; затем негодник принялся щупать ей щиколку ноги и даже икру. А она... ну, она ничего не говорила и не сопротивлялась!... Тогда, потеряв голову от бешенства, я закричал: «Отец!.. Спасайтесь!..»

В одно мгновение оба «муссафир» выскочили в окно и исчезли во мраке, скатившись по обрыву. Один из них, грек, забыл свою феску и гитару, которые моя мать выбросила вслед за ним в окно, в то время когда Кира поспешно прятала два лишних кальяна.

Эта сцена была так забавна, что я мигом забыл свой гнев, — меня охватил неудержимый приступ смеха, и я свалился с подоконника на ковер, весь содрокаясь от хохота, душившего меня. Мать вообразила, что я сошел с ума от страха перед отцом; обе женщины принялись пронзительно кричать и, забыв и отца и самого чорта, в отчаянии бросились ко мне.

— «Отца нет», смог я наконец произнести, «меня просто взбесило, что Кира дала щупать свою ногу.... И я отомстил!... Вот что!...»

Теперь они от радости принялись еще громче кричать, а затем, — основательно меня отшлепав, — расцеловали, и мы все принялись прыгать по комнате, — они, довольные тем, что отделались испугом, а я тем, что меня, так легко наказав, затем обласкали.

★

Так прошли два-три года — единственные года моего детства, которые я хорошо помню. Мне около 11-ти лет, Кире около 15-ти лет, и мы были неразлучны с ней. Меня

привязывало к ней чувство страсти, в котором я разобрался лишь много позже. Я следовал за ней повсюду, как собака; подсматривал, когда она одевалась, целовал ее одежды, пропитанные нежным запахом тела; девочка слабо защищалась, считая меня невинным и неопасным. По правде сказать, у меня не было определенного намерения, — я сам не знал, чего я хотел; но в ее близости я замирал от наслаждения.

Дом моей матери, был каким то адом любви. Все в нем кишело сладострастием: и обе женщины и их поклонники, и наряды их, и напитки, духи, песни и пляски. Даже смешное и драматическое бегство влюбленных носило, — казалось мне, — отпечаток этого сладострастия. Только появление отца было враждебно и чуждо царившей у нас атмосфере. Но это принималось, как неизбежное искупление, как расплата за радость жизни. Моя мать говорила:

— «Каждая минута счастья имеет свою тень; сама жизнь искупается смертью.... Потому-то и нужно уметь пользоваться жизнью. Пользуйтесь ею, дети, каждый по своему вкусу и так, чтобы ни о чем не пожалеть в день Страшного Суда».

Можно себе представить, как охотно мы следовали с Кирой примеру матери, руководствуясь ее философией. Имея собственные средства, порученные ее братьям, контрабандистам, мать разрешала себе все удовольствия и удовлетворяла все свои капризы; она позволяла любить себя, меня любовников, так же часто, как наряды, и, когда мой отец бил ее, она, говорю я, старалась всеми силами защитить только свое лицо, и немедленно вслед за тем предавалась новым развлечениям.

В ней была даже известная доблесть: зная большую вину за собой и опасаясь, чтоб бешенство мужа не обрушилось и на нас, — она оставляла дверь на запоре до тех пор, пока мы не успевали выскочить в окно; тогда она смело открывала дверь и вся тяжесть наказания обрушивалась на нее.

Когда мы через несколько часов возвращались, она лежала на тахте, покрыв синяки и опухоли на лице мякишем белого хлеба, намоченным в красном вине, чтоб вытянуть жар. Она подымалась нам навстречу, смеясь как сумасшедшая, и с зеркалом в руках, говорила нам, указывая на свое разбитое лицо:

— «Не правда-ли, это пустяки?... Через два дня не останется следа.... И тогда мы пригласим «муссафиров»....»

Мы беспокоились — не пострадало ли также и тело? Оно было наверно ужасно на вид?...

Но она успокаивала нас:

— «Ах, это не беда!... Тела не видно...»

Знаки побоев исчезали и снова начинался пир горой.

В доме ничего не готовили, так как моя мать не переносила кухонной грязи и запах жареного лука. Она договаривалась с соседней «лосанда»¹⁾, оттуда посылали нам все необходимое: различные блюда, пирожные и молочные продукты в медной луженой посуде, принадлежавшей моей матери. По понедельникам приходила прачка за грязным бельем, оставляя нам чистое, забранное на предыдущей неделе. Кроме нее и старого турка, торговца помадой и парфюмерными товарами, я не видал,

¹⁾ Гостинница.

чтоб еще кто-нибудь входил в дом, за исключением, разумеется, «муссафиров», и моего отца и брата, которое являлись непрошенными муссафирами и наносили нам весьма неприятные визиты. Так как отец уже около двух лет не жил с моей матерью и приходил лишь три-четыре раза в месяц, чтобы бить нас, то в общем дом наш был тихий.

Не имея хозяйственных забот, обе женщины проводили время в отдыхе, купаньи, за едой, питьем, кальянами, и в приемах поклонников. Они не забывали и молитвы, но никогда не ходили в церковь; Богу посвящалось мало времени. Моя мать говорила:

«Господь видит, что я ему не перечу: я остаюсь такой, какой он меня создал.... Я покорно подчиняюсь требованиям моего сердца...»

Кира спрашивала:

«Но, мама, не думаешь-ли ты, что и Дьявол вмешивается иногда в наши дела?»

«Нет, — отвечала она; я не верю в Дьявола, Бог сильнее его... И если мы такие, какие мы есть, это потому, что этого хочет Бог....»

★

Конечно, мама была довольна волей своего Бога, — требования его были не тяжелы.

Бог хотел, чтоб мать и дочь вставали по утрам, когда им заблагорассудится, — лежа в постели так удобно было грызть сухари с маслом, медом и пить кофе. Затем он требовал, чтоб они купались и натирались элексиром из бензоа; парили лица над медленно кипящим молоком; придавали блеск волосам, смазывая их миндальным ма-

слом с мускусом, красили ногти кистью, смоченной в бальзаме, настоем на смоле красного дерева. Затем следовала требующая большой ловкости работа над ресницами, бровями, губами и щеками. Когда все это было тщательно закончено, надо было позавтракать, и закулив кальян, отдохнуть; до времени, когда надо жечь ароматы, пить сиропы и, наконец, приступить к главной заботе дня: к пенью, танцам и веселью, которые продолжались до полночи.

Моя мать была гораздо богаче моего отца и, несмотря на сумасшедшие траты, деньги, помещенные в темные предприятия ее братьев, приносили ей такие доходы, что она ежемесячно откладывала немного в пользу Киры и мою.

Мне плохо известна история матери. Однако я помню, как она нам рассказывала, что ее родители были богатыми трактирщиками. Ее отец, добрый и благочестивый турок, был послан в конце XVIII века с Султанским указом в Браилов, для того чтобы открыть там гостиницу; ему было поручено принимать и помещать у себя всех важных лиц, посылаемых Султаном в свой «пахалик». У него было три жены — две гречанки и одна румынка; последняя была матерью моей матери; у двух первых было три сына, из которых один сошел с ума и повесился. В этом доме повидимому только и делали, что считали деньги и молились двум Богам на трех различных языках.

Оба брата посвятили себя контрабанде и моя мать, — еще очень юная, — тоже готова была присоединиться к их вольной жизни, когда добрый турок неожиданно решил выдать ее за-муж за моего отца, человека строгого и бессердечного, который влюбился в нее, — по выражению

моей матери, — «в такую минуту, когда Господу Богу было повидимому не до нее». Он дал моему отцу много золота и завещал матери большую часть своего состояния, но под условием, чтобы она не разводилась. Связанная таким образом с человеком, которого ненавидела, она подчинилась воле турка из страха быть лишенной наследства, с умела хитростью завладеть его доверием за несколько лет тягостной верности супружескому долгу, и, получив по смерти его предназначавшееся ей состояние, поместила его в руки обожавших ее братьев.

Тогда началась та жизнь удовольствий, пиров и безумных увлечений, которой я был свидетелем, и которой мой отец не мог уже помешать, несмотря на всю свою жестокость. Мать охотно отдала-бы ему свое приданое, еслибы он согласился вернуть ей свободу, но он хотел во что бы то ни стало отомстить за свой позор. В тот день, когда они раз'ехались, он забрал все принадлежавшие ему вещи, и сказал моей матери, указывая на нас с сестрой:

«Я оставляю тебе этих змеенышей; они не мои дети, они похожи на свою мать!...»

— «А Вы хотели-бы, чтоб они походили на отца?» — отвечала она. — «Вы сухой человек, мертвец, мешающий жить живым... Я даже удивляюсь, что Ваша сухость могла дать росток — Вашего старшего сына, которого я не считаю своим».

Бедная мать была права, говоря, что этот мертвец мешал нам жить. Чем дальше, тем становилось хуже. Зная, что моя мать дорожит красотой больше жизни, — он старался бить ее именно по лицу, и в последнее время несчастная должна была лечиться по 8—10 дней, чтобы залечить синяки и раны. В такие периоды не могло быть

и речи о веселье и приеме муссафиров. Это приводило ее в уныние, она уже не ласкала нас, как раньше и в первый раз я увидел ее плачущей в отчаянии.

Но это отчаяние заставляло ее предаваться наслаждению с удвоенным пылом, на зло тирану; наконец ей удалось так взбесить его, что это оказалось роковым для нас.

В один хороший вечер дом наш был полон муссафиров; их было не менее семи. Моя мать приказала развесить четыре канделябра по стенам, не говоря о большой люстре, спускавшейся с потолка. Я сосчитал свечи: их было 24. Свет ослеплял. В этот день мать призывала слесаря и велела приделать тяжелый засов к массивной двери, выходившей на двор и запиравшейся только на ключ. Приняв эти меры предосторожности, она предалась самому безудержному веселью, которое мне когда-либо пришлось наблюдать. Я думаю до сих пор, что она почувствовала конец своей счастливой жизни и спешила допить чашу наслаждений до последней капли.

Из семи приглашенных трое были греками — музыкантами, прославившимися своим искусством на празднествах того времени; мама вручила каждому из них по кожаному кошельку, заключающему в себе десять дукатов по 12 франков каждый, завернутые в шелковый вышитый платок, и сказала:

«Пеликарнас»¹⁾.... В этих кошельках Вы найдете в пять раз больше того, что Вам полагается за целую ночь игры!... Я Вам даю это не только из великодушия. В моем доме приходится дорого платить за удовольствия, и возможно, что Вы будете вынуждены удалиться сегодня через окно: достаточно-ли прытки Ваши ноги?...

¹⁾ Храбрецы, по-гречески.

И она открыла окна, выходившие на обрыв. «Пеликарнас» выглянули наружу, осмотрелись кругом, взвесили в своих руках кошельки с золотом, и выразили согласие вежливым: «эваллах!»... Затем начались музыка, пение и пляски.

Все три инструмента, — кларнет, флейта и гитара, — находились в искусных руках. Кира и мама, лениво развалившись рядом на тахте, слушали, очарованные, жалобную и бурную повесть румынских «Доина», томных турецких «маннехс» и греческих пасторалей, сопровождавшихся хлопаньем в ладоши и пением четырех «муссафиров».

После каждой песни мама предлагала ликеры, кофе и кальяны. Два больших тавас¹⁾ с «кадаиф» и «саралье» притягивали взоры любителей сластей.

Так как в этот вечер мне не надо было больше стожить, то я мог танцевать с сестрой, с матерью, один и с обеими вместе до головокружения. Это составляло главную страсть моего короткого детства: благодаря ей Кира дарила меня своими самыми безумными ласками. Арабский танец живота, который я исполнял один, был так богат движениями, в этот последний вечер, что музыканты, которые были знатоками этого дела, рассыпались в похвалах, лаская меня. Кира была в опьянении. Мама восклицала:

«Да, да!... Этот действительно мой сын: нет сомнения!...»

Во время перерыва, когда все мужчины, сидя по турецки на ковре, вдыхали дым своих кальянов, Кира спра-

¹⁾ Вазы.

сила, куда девался один из самых усердных ее поклонников.

«Он вывихнул себе ногу, падая последний раз с откоса» —, ответил гость.

И, среди общего смеха, гость рассказал, как бедняга бесился, когда ему делали массаж. Этот рассказ встревожил гитариста, коренастого, тяжеловатого человека. Он подошел к окну и смерил глазом расстояние, отделявшее его от земли. Один из муссафиров успокоил его:

«Не очень высоко!... Не больше двух, трех метров. Только не прыгайте вперед, а катитесь прямо по откосу. Внизу Вы найдете Вашу феску и гитару!»

Среди общего смеха пляски возобновились.

★

Это происходило в Июне, незадолго до жатвы.

Окна, выходящие во двор, были наглухо закрыты тяжелыми драпировками, на тех, которые выходили на Дунай, висели лишь легкие занавески, — бриз-биз. В это утро заря, позолотив окна, нашла нас усталыми и зевающими... Воздух был тяжел от дыма кальянов и курения ароматов. Мать подошла к окну, открыла его и глубоко вздохнула свежесть утра. Стоя рядом с ней, я и Кира смотрели, как заря освещала ивовую рощу. Повернувшись к гостям мать сказала:

«Ну, друзья мои, праздник кончен!.. Надо спать».

В это время звук падающего тела во дворе заставил нас вздрогнуть, и вслед затем послышался скрип засова и дверных петель главного хода. Моя мать закричала:

«Спасайтесь!.. Они перелезли через стену!..»

Пока отец стучал в дверь, гости прыгали через окно, забыв всякую осторожность, как будто снаружи их ожи-

дали мягкие матрацы. Первыми бросились спасаться музыканты, а другие подталкивали их сзади, вопреки совету не прыгать слишком далеко. В несколько секунд дом опустел и «муссафиры» скатывались в куче по песчаному откосу; но скрыть следы пиршества было невозможно.

Когда мама храбро открыла дверь, отец немедленно схватил ее за волосы и бросил о пол; брат проделал тоже самое с Кирой; а я, обезумев при виде того, как жестоко он избивал мою сестру ногами, схватил один из кальянов и нанес им моему старшему брату удар по голове. Он выпустил Киру, схватился рукой за окровавленную голову. Ему было около двадцати лет и он был очень силен. Он стал бить меня, пока не счел себя отомщенным; кровь лилась у меня из носа и рта.

Тем временем одежда матери превратилась в лохмотья, обнажавшие тело; она уже лишилась сознания, но отец все еще продолжал бить ее. Брат пошел обмыть свою окровавленную голову, а Кира подбежала к подвижному ящику, и вернулась со стилетом в руках; но мы оба на минуту приросли к месту при виде ужасного зрелища: отец схватил сандалию с деревянным каблуком, — потерянную очевидно одним из «муссафиров» во время бегства, — и бил каблуком мать по лицу. Она лежала еле-живая, слабо двигая руками; лицо ее, облитое кровью, было сплошной раной.

Кира прыгнула к отцу сзади, чтобы ударить варвара в спину, но покачнулась, упала и лишилась чувств. Отец поднял ее, сунул в большой стенной шкап, называемый «ятак», и закрыл его на задвижку. Затем оставив меня под надзором брата, который перевязывал себе голову большим платком, он взвалил маму себе на спину и вы-

шел с ней во двор, откуда через несколько минут раздался звук захлопнувшегося тяжелого люка над погребом, куда несчастная была брошена как в могилу. Вернувшись, он наклонился надо мною, сжимая кулаки и глядя так, что я решил: вот, пробил мой последний час. Однако, он не тронул меня, а сказал:

«Так вот как, а...? Ты ломаешь череп старшему брату, а твоя сестра, эта «патшура», хотела меня убить!... Ну, теперь с вами покончено!»

Они потушили свечи и увели меня. Проходя через двор, я посмотрел на люк погреба и зарыдал при мысли, что моя мать израненная, избитая, еще живая, похоронена в этой ужасной могиле, а Кира задыхается в шкапе.

На дворе было светло. Грек-угольщик с мешком на спине и остроконечной палкой под мышкой, шел на работу в порт. — Куда вели меня?...

Мы пришли в дом отца, где меня немедленно заставили вертеть колесо станка, на котором ученики точили топоры, ножницы и зазубренные долота. Вокруг меня валялись в куче стволы дуба, липы и тополя: колеса, ступицы, спицы, дышла, все это было покрыто кучами стружек.

До полудня мне ничего не дали есть. Непривыкший к работе, я упал от изнеможения. Брат избил меня, а старая служанка принесла мне хлеба, олив и воды. Тяжелее всего мне было убедиться в том, что я нахожусь под надзором, и что бежать невозможно. Днем я все еще вертел жернов, и когда изнемогал, брат бил меня. Он и отец в кожаных передниках, как и остальные рабочие, работали серьезные, сумрачные, нахмурив брови, среди мрачной обстановки, в которой раздавался лишь шум инструментов и отрывочные приказания отца.

Вечером меня заперли в комнату с решетчатым окном. Там, лежа на циновке в темноте, я провел всю ночь в слезах, думая о сестре и матери, еще более несчастных, чем я.

Следующий день ничем не отличался от предыдущего. Я с ужасом спрашивал себя — неужели отец, в своей жестокости, дойдет до того, что предаст забвению томящихся взаперти избитых и больных женщин? К вечеру я решил во что-бы то ни стало бежать.

Я заметил во дворе лестницы разных величин, и кучи грубо обтесанных спиц в моем чулане: это сулило мне свободу.

Служанка принесла обед и спросила со злобой:

«Тут похуже, чем дома, а?... Видишь-ли, жизнь не состоит на одних удовольствиях, есть и печали, ха, ха!»...

И снова заперла меня. Я тотчас-же уснул, а когда я проснулся, было еще темно. Я не мог снова заснуть и заплакал, вспоминая окровавленное лицо матери. В это время закричали петухи. Дом был погружен в глубокий сон. Я быстро раскрыл окно и, с помощью спицы, слегка раздвинул тонкие прутья решетки. Во дворе я нашел воткнутый в бревно топор. Я вырвал его, схватил под мышку небольшую лесенку, и, вскарабкавшись по другой на стену, быстро очутился на другой стороне, и со всех ног побежал по дороге к порту.

Едва брезжил свет, когда я добрался до откоса, над которым возвышался наш дом. Я первый раз стал влезать на этот откос, с которого до сих пор только скатывался вниз. Вскрабкавшись наверх, я приставил лесенку к окну и, добравшись до него, ударил в стекло, которое разлетелось вдребезги. После минуты невыразимого волнения, я услышал доносившийся из шкапа нежный голос Кире:

«Это ты, Драгомир?»

Услыша голос дорогой сестренки, заключенной в «ятак», я закричал, весь дрожа:

«Это я!... Я пришел вас освободить!...»

Я бросился внутрь комнаты через отверстие, пробитое в окне, и отдернул задвижку шкапа. Кира, бледная, со вспухшим от слез лицом, обняла меня за шею и быстро спросила:

«А мама?... А мама?...»

«Она заперта в погребе», ответил я, «надо скорей вытащить ее оттуда и бежать!»

Входная дверь была заперта на ключ. Я открыл окно и выпрыгнул по двору. Ударами топора я разбил замок на люке и спустился по лестнице вместе с Кирой. Уже два — три года никто не спускался в погреб, и у нас захватило дыхание от запаха плесени, и гнилых овощей. По земле медленно ползали черепахи, а вдоль стен лежали их яйца, величиной немного больше птичьих. В этой обстановке моя мать находилась уже 48 часов.

При нашем появлении она стояла с перевязанной обрывком своего платья головой, едва прикрытая остатками разорванной одежды. Мы помогли ей подняться по скользким ступеням и, на воздухе, при виде того, что стало с нашей матерью, еще так недавно сиявшей красотой, мы оба упали к ее ногам, как перед мученицей. Один глаз был закрыт повязкой, лицо с разбитым носом и разодранными губами, было ужасно, а шея и грудь были покрыты сгустками крови. Руки также были окровавлены и один палец раздавлен.

Она заставила нас подняться с земли и произнесла глухим голосом:

«Прежде всего, бежим! Возьмите с собой немного еды».

Мы вернулись в дом, где обе женщины умылись и быстро переоделись в простые платья; моя мать взяла с собой шкатулку с драгоценностями и деньгами, и мы медленно спустились по откосу рва, бросив предварительно лесенку внутрь дома, и закрыв окно, через которое спасалось столько «муссафиров». Повидимому, хозяйке дома напоследок суждено было самой проделать этот путь!

Через час мы были на дороге в Казасу, потерянные среди хлебных полей. Поровнявшись с двумя буграми, которые встарину назывались «табие»¹⁾, мать остановилась; мы уселись в траве, которая скрывала нас от проходивших по дороге и мать заговорила:

«Дети мои... Я ожидала всякого зла от вашего отца, но не думала, что он обезобразит меня, не убив на месте; знайте, что мой левый глаз почти вышел из орбиты. Для меня это хуже смерти... Господь создал меня для наслаждений плоти, как Он создал крота для того, чтоб крот жил без солнца; и также как этот зверь имеет все, для того, чтоб жить под землей, так и у меня было все, чтобы наслаждаться радостями жизни. Я дала когда-то обет покончить с собой, еслибы люди хотели принудить меня силой вести иной образ жизни, чем тот, которого требует мое тело. Сегодня я вспомнила этот обет. Я покидаю вас... Я буду лечиться далеко от дома. Если мне удастся спасти глаз и сохранить красоту, я буду жить и вы увидите меня... Вот что я хочу сказать вам: ты, Кира, — если, — как я думаю, — тебя не привлекает добродетель, — та добродетель, которая

¹⁾ Редут.

является даром Божиим, и в которой подвизаются с радостью, — не будь добродетельна, неестественна и суха, — не обманывай Создателя, а будь такой, какой он тебя создал: наслаждайся радостями жизни, будь даже развратна, — но будь развратницей с сердцем! Так лучше. А ты, Драгомир, если не можешь быть добродетельным, будь таким-же, как твоя мать и сестра, будь хотя-бы вором, но вором с сердцем, так как человек без сердца, дети мои, это мертвец, который мешает жить живым, — это ваш отец... Теперь, вы останетесь на этом месте до тех пор, пока солнце не опустится над горизонтом. Если пойдет дождь или будет гроза, не прячьтесь под деревьями, а скройтесь вон в той яме на бугре. Вскоре после вечера за вами явятся два всадника и возьмут вас под свое покровительство: это будут мои братья, — люди слова и сердца. Я не могу взять вас сейчас к ним с собой, так как вы еще дети и могли бы невольно выдать их. Если же они не появятся до часа «киндие»¹⁾, то возвращайтесь в город и попросите от моего имени приста-нище в «локанда», но не выходите из своей комнаты, пока мои братья не придут за вами! Я должна дать вам еще один совет: тело наше подвержено ужасным болезням; по милости Божьей ни вы, ни я не испытали этого несчастья, но оно существует, и бесконечное множество людей страдает от него. Думайте о них в ваши счастли-вые минуты и жертвуйте ежегодно часть ваших денег на их лечение в больницы! Я оставляю вам много денег у моих братьев....»

Сказав это она вынула два кольца из шкатулки, за-вязала их в шелковый платок и спрятала на груди у

¹⁾ Пять часов вечера.

Кире; затем она долго, долго целовала нас и, наконец, удалилась, закутанная в свой плащ с капюшоном.

Отойдя шагов тридцать, она повернулась и прижала руки к губам; затем, подняв высоко руку, указала паль-цем на небесный свод, повернулась и исчезла.

«Что это означает» спросил я Киру.

«Это значит, братец, что мы увидимся на небе», от-ветила она.

Так я никогда больше не видел матери.

Оставшись одни, забыв о голоде, мы долго плакали, обнявшись, потом заснули от изнеможения и жары. А когда проснулись, нам показалось, что мы больше не при-надлежим к этому миру, и поняли, что произошло нечто ужасное; мы не знали, находимся ли мы во власти ко-шмара, или вся наша жизнь до сих пор была сном. Теп-лый душный ветер приносил тяжелый аромат полевой репы; бабочки, стрекозы, осы раздражали нас веселостью, которой мы не могли разделять. Наступил вечер... Солнце, склонялось к горизонту. Нас охватила тревога и мы пристально вглядывались в даль пустынной дороги, куда ушла мать; взобравшись на курган мы заметили облако пыли там, на дороге в Казасу и скоро среди него обрисовались фигуры двух всадников и донесся топот конских копыт. Кира, стоя на гребне холма, махала плат-ком навстречу всадникам и кричала от радости. Вот они подскочили к нам. Спешились, отвели лошадей под узды в поле, разнуздали и пустили пастись в долине, между двух курганов.

Кира быстро бежала вниз, сорвала вуаль с головы, и ее золотистые волосы рассыпались по плечам; она бро-силась к ногам наших дядей, а те стояли перед нами огромные, широкоплечие, подобные двум дубам. Это ве-

ликаны, — оба одного роста, лет сорока — пятидесяти на вид, — один из них казался несколько моложе другого; их гладко — выбритые головы обмотаны тюрбанами; длинные усы и бороды скрывали их подбородки; взгляд больших ясных правдивых глаз был невыносимо пронизывающий. Руки их подобны лапам медведя; как черти были они черны, обтянутые с головы до колен в «гэба»¹⁾.

С минуту они молча разглядывали нас; я стоял, как зачарованный видением из сказки, а Кира на коленях у их ног. Когда они сбросили плащи — я увидел, что они одеты по турецки, в безрукавки и шаровары, с широкими поясами красной шерсти; я пришел в ужас: они были вооружены до зубов, как настоящие антарты²⁾; за плечами висели короткоствольные ружья, за поясом торчали пистолеты и книжалы.

Старший поставил Киру на ноги и, положив руки ей на плечи, пристально взглянул в глаза ее. По гримасе, исказившей его лицо, я догадался, что он улыбается. Низким, металлическим голосом проговорил он по румынски:

«Скажи мне, девочка, на котором из трех языков ты лучше говоришь: по-турецки, по-гречески или по-румынски?»...

«По румынски, *scuse de voinic*³⁾», смело ответила она, дерзко глядя ему в глаза.

«А зовут тебя?»

«Кирой».

¹⁾ Крестьянские плащи.

²⁾ Греческие разбойники

³⁾ Румынское выражение, употребляемое как определение мужественной личности.

«Так вот, Киралина, я тебя целую, как дядя, но счастлив тот смертный, который вкусит, как возлюбленный, сладость твоих губ»!

Он поцеловал ее и передал брату. Затем, обняв меня, проговорил:

«А ты, храбрый Драгомир, чего ты так струсил?»

И он прибавил, снимая с плеча пищаль и кладя ее на плащ:

«Уж не бороды-ли наши тебя напугали?»

Говоря это он бросился на траву и притянул меня к себе. Я не смел отвечать. Он настаивал:

«Скажи, Драгомир, ты, пожалуй, знаком со страхом?»

«Да», робко отвечал я.

«Что-же тебя пугает?...

«Оружие, — его слишком много...»

Он разразился гомерическим хохотом:

«Ха!.. Ха!.. Ха!.. Мой храбрый Драгомир!... Оружия никогда не бывают слишком, если находишься в ссоре с Богом и с правосудием людей!... Но тебе этого еще не понять».

В это мгновение Кира бросилась на колени и воскликнула, сложив руки как на молитве:

«Я это понимаю!...»

«Что-же ты понимаешь, Кира Киралина, стебель юной розы?»

«Я понимаю, что люди злы, и что ты их караешь!...»

«Браво, Киралина!» закричал он, хлопая в ладоши, «не таишь-ли ты месть в своем юном сердце?...»

«Да, святую и справедливую месть!...» И, сказав это, она подняла лежавшую на плаще тяжелую пищаль, поцеловала ее и воскликнула:

«Ты разрядишь ее, — и не позже сегодняшнего вечера, — в грудь моего отца!... А твой брат расправится таким же образом с моим старшим братом!... Заклинаю вас, — сделайте это во имя покинувшей нас матери!... Отомстите за сирот, и я буду вашей рабой!... Вы увезете меня с собой!»

Дядя взял оружие из ее рук и, нахмурившись, сказал:

«Кира... Бог напрасно создал тебя женщиной! Когда ты заговорила о мести, я думал, что речь идет о наказании каких-нибудь влюбленных, которые целовали тебя против твоей воли... Ты же говоришь о вещах, о которых мы и сами думаем: ты подливаешь масла на огонь...»

После короткого молчания он продолжал:

«Скажи-ка мне, дитя ада, не охватит-ли тебя смертельный ужас, если ты увидишь сегодня вечером, как разлетится на куски череп твоего отца?»...

С широко раскрытыми глазами, вся вспыхнув как огонь, она ответила:

«В кровь его окуну я руки свои и умою ею лицо свое!»...

Дядя нахмурил брови, вглядываясь в зарево заката, как будто прислушиваясь к доносившимся издали жалобным звукам пастушьей свирели. Затем он принялся говорить с братом по-гречески, проглатывая слова, чтоб не быть понятым нами.

Около нас паслись лошади, фыркая, кроткие как овцы, ночь спускалась на потемневшие курганы.

Свежесть воздуха заставила Киру вздрогнуть; дядя, продолжая тихо говорить, завернул нас в плащи. Так мы оставались до наступления полной темноты. Тогда оба брата поднялись. Старший сказал моей сестре:

«Итак, Кира Киралина, змея со сладким ядом, дочь развратницы, да будет по-твоему!... От твоего желания загорелась моя кровь... Мы попробуем сегодня вечером... Ты и твой брат будете служить приманкой».

Встав на колени, Кира поцеловала его руку. Я последовал ее примеру, взяв руку другого брата; он спросил меня:

«Ты тоже требуешь мести, Драгомир?»

«Я ненавижу отца и брата», отвечал я.

Старший вскочил на свою лошадь и, подняв Киру, посадил ее боком перед собой, младший усадил меня за собой, привязав ремнем к своему поясу. Мы двинулись по полю шагом, но, выехав на дорогу, старший тронул стремени своей лошадь, и она понеслась вскачь; мы следовали за ней на расстоянии двадцати шагов.

Так мы скакали столько времени, сколько нужно, чтоб выкурить папиросу. Затем, подехав к городу, свернули на дорогу, ведущую к Дунаю, и несколько минут мчались с такой быстротой, что я думал, меня несет чорт. Волосы Киры, высвободившись из под плаща, развевались по воздуху и блестели в лунном сиянии, освещавшем наш путь, как золотая пряжа.

Вскоре мы начали спускаться по откосу, и когда заблистала перед нами лента реки, лошади замедлили свой бешеный ход и наконец остановились, как вкопанные, на опушке ивовой рощицы: мы находились в местности, называемой Катагац, в часе ходьбы от порта и нашего дома. Там, не слезая с лошадей, братья приблизились друг к другу и обменялись несколькими словами, которых я не понял; затем старший, вложив два пальца в рот, издал долгий, пронзительный свист и, после короткого промежутка, еще два раза отрывисто свистнул.

Через минуту между деревьями появился старый турок с седой бородой и, приблизившись к нам, волоча свои деревянные туфли, поклонился со сложенными на груди руками.

Мои дяди отвечали на его поклон по-турецки:

«Добрый вечер, Ибрагим!»

Он взял лошадей под узцы и мы последовали за ним. Недалеко, с другой стороны рощицы, стояла его обвалившаяся от наводнений хижина. Он занимался ловлей раков и разведением арбузов. Не трудно догадаться о третьем его заработке. Он привязал лошадей под камышевым навесом и вошел в свою лачугу, куда старший дядя последовал за ним; через минуту дядя вышел один, взял Киру на руки, и удалился большими шагами. Брат его сделал то же самое со мною. Они направились к порту вдоль реки, неся нас, как маленьких детей. Ноги их вязли в сыром иле. Сухие ветки трещали под ногами.

★

Дойдя до откоса, нам пришлось ползти по земле. Дом не был освещен, а окно, со сломанным стеклом заколочено досками. Дяди прислушались; затем они взломали доски прикладами и мы проникли в дом. Старший сказал:

«Мы пройдем во двор и спрячемся в погребе; если нужно будет, мы останемся там до утра. Закройте окно, зажгите 6—8 свечей, скупайте чтонибудь, и ложитесь одетыми на тахту, слышите?... На тахту, и не гася огня! Если они придут и начнут вас допрашивать, отвечайте что хотите: они не долго будут вам докучать. Но не спускайте занавесок на окнах во двор! Это очень важно... И оставайтесь на тахте, не забудьте!»...

Они удалились через окно.

О, ужасная ночь! Проживи я тысячу лет, — умирая я все еще буду вспоминать те страшные минуты!...

Я ненавижу безжалостного отца, также как и его сына; я горячо желал чтоб чорт их побрал!... Но... Чтоб желать исчезновения когонибудь, надо его ненавидеть, но, чтоб присутствовать при его казни, надо иметь... надо иметь... что?... Я не знаю!... Я хотел сказать, что надо быть жестоким; однако, Кира ведь не была жестока, я в этом уверен. Значит?... Как грустно быть человеком и понимать жизнь меньше, чем ее понимают звери! Зачем рядом с жестокостью существует сострадание?... Зачем мы любим?... И зачем убиваем?... Зачем руководят нами чувства, который причиняют зло и другим, и нам?

Когда мы остались одни и зажгли свечи, я взглянул Кире в глаза: они горели все той же фанатичной жадной жаждой убийства. Она словно готовилась к празднику. Она была в экстазе. Переодевшись в открытое платье, она принялась краситься, как для приема «муссафиров», ни минуты не переставая напевать. На левой скуле у нее была темная опухоль, величиной с орех.

«Поцелуй этой место покрепче», сказала она мне. «Сегодня огонь пищаля залечит его!»

«Кира», сказал я, целуя болячку, «не лучше ли позвать дядей и уйти с ними?...»

«Нет», воскликнула она, «раньше надо наказать убийцу матери!... Мы уйдем потом».

«Но ведь это будет ужасно!»

«Это будет хорошо!» кричала она, обнимая меня.

Страшные минуты ожидания проходили медленно. Я надеялся, что отец и брат не придут ни сегодня, ни дру-

гой раз, и что дяди, наскучив ждать, изменят свое намерение. Но то, что решили феи — сильнее наших желаний, и кто знает, не была-ли воля Киры — их волей?...

Кира подбегала смотреться в зеркало, выглядывала в окна, выходящие во двор, целовала пряди своих волос, танцевала со своей шалью и бросалась со странным смешком на подушки. Вдруг она задумалась и, поднявшись с подушек, вышла в соседнюю комнату, откуда вернулась с маленьким кинжалом.

«Видишь это?» глухо спросила она, «если ты выдашь присутствие наших дядей, я воткну его в мое сердце и ты останешься один!.. Клянусь матерью!»...

Я воскликнул с мольбой:

«Положи, брось это, Кира! Я клянусь матерью, что ничего не скажу»...

Но она все таки спрятала кинжал за лиф. Едва успела она это сделать, как раздался жалобный визг дверных петель, отозвавшихся в моем сердце, как предсмертный стон. Кира вздрогнула и с горящим глазами бросилась на тахту рядом со мной, прошептав мне в ухо:

«Не надо смотреть в окна на двор, — ни за что! Ни за что!»

Ключ повернулся в замке и прижимаясь, ни жив ни мертв к сестре, — я увидел, как появился мой отец, нахмутив лоб и за ним мой старший брат.... Он едва успел спросить нас, указывая на раскрытое окно над откосом:

«Кто это сломал? Где ваша мать?» как грянули один за другим два выстрела, разбившие окна; они сотрясли дом, наполнив комнату густым дымом, запахом жженных тряпок и пороха. Лежа в объятиях Киры в видел только, что брат упал, а отец прыгает в окно, выходящее на порт;

я закрыл глаза, задыхаясь, но тотчас-же открыл их снова и увидел лежавшего с расдробленной головой брата, и наших дядей, свешившихся в окно, через которое только-что бежал отец, в след ему раздалось четыре выстрела один за другим.

Оставив меня, Кира выскочила на середину комнаты, крича:

«Вы промахнулись!... Промахнулись! Ему только оторвало левое ухо!»...

Ничего не отвечая, они погасили все свечи и младший вышел во двор, между тем, как старший толкал нас к двери. Там, заставив нас сесть на тахту в полной темноте, он сказал нам следующее:

«Я обнимаю Вас, Киралина и Драгомир, быть может, в последний раз.... Ваш отец — третий человек, по котором я промахиваюсь, и если верить моей «урсите», я должен погибнуть от руки третьего врага, по котором промахнется моя пицаль в полнолуние. Конечно, я дорого продам мою жизнь, но нельзя избежать своей судьбы. Слушайте-же теперь! Через минуту придет за вами хозяин гостиницы, о которой говорила вам ваша мать. Вы найдете у него две комнаты и все необходимое; завтра он придет сюда за вашими вещами. Вы никогда больше не войдете в этот дом, — никогда!»

«Вы не возьмете нас с собой?» спросила Кира дрожащим голосом.

«Нет, я не имею на это права.... Мы ведем суровую жизнь, а вы росли в пуху....»

«Но тогда отец убьет нас»...

«Он вас не убьет.... К тому-же, скоро мы опять устроим ему засаду, и тогда он уже не ускользнет; так или иначе он погибнет, ведь нас двое, а он один. Итак:

живите, как хотите, и будто вы нас никогда не встречали. Вы увидите нас только после того, как погибнет собака. Если от времени до времени вам захочется узнать, живы ли мы, — подойдите к хозяину гостинницы и произнесите мое имя: Косма. Он расскажет вам все, что знает. Но Ибрагиму, продавцу раков, будет известно больше, и если вы услышите его крик: «Раки!... Свежие раки!» идите за ним: у него будут для вас новости, касающиеся нас. Если же, наконец, власти вздумают спрашивать вас о событиях этой ночи, — расскажите им все что вы видели, но не говорите, что вы думаете, — и не думайте ничего!»

Он замолчал... Во дворе раздались шаги и в комнату вошел хозяин гостинницы. Дядя обнял нас и исчез. Мы вышли вслед за ним.

Гостинница находилась в пятидесяти шагах от нашего дома и была также расположена, как он. Но какая разница между богатством нашего дома и простотой отведенных нам комнат, — хотя они и были лучшими в гостиннице! Это сравнение заставило нас горько заплакать. К счастью, комнаты были смежные и выходили обе на Дунай.

При виде убогой мебели и старого, потертого ковра, освещенных мерцающим пламенем единственной свечи, Кира, не раздеваясь, бросилась на кровать и еще горше заплакала от сознания своего бессилия отомстить.

Боясь оставаться один в своей комнате с воспоминаниями пережитого, я захватил одеяло и пошел лечь на тахте у сестры. Разбитый страданиями трех последних дней, я скоро заснул, не потушив зажженных свечей и оставив Киру в слезах.

★

На следующее утро, когда первые лучи солнца заглянули в окно, комната показалась мне менее мрачной и я почувствовал себя почти довольным. Но мысль снова увидеть отца приводила меня в ужас. Я разбудил Киру и предложил ей бежать. Она согласилась со мной. Она сидела расслабленная, с красными глазами и распухшим лицом. Я думал, что ее мучают угрызения совести и спросил ее об этом.

«Нет», ответила она, «я в отчаянии, что отец спасся!... Если бы он «исчез» вместе со своим сыном, мы были бы сейчас у себя... Здесь это убожество внушает мне отвращение»...

И она бросила презрительный взгляд на комнату. Мы вышли. Перед входом хозяин гостинницы курил кальян на свежем утреннем воздухе. Он встал и поклонился нам.

«Могу-ли я спросить, почему Вы так рано выходите?» почтительно промолвил он по-турецки.

«Абу Хассан», ответила Кира на том-же языке, «мы боимся полиции и нашего отца».

«Я отвечаю за Вас, барышня, пока Вы живете в моем доме».

И, оглянувшись кругом, он прибавил едва слышно:

«Потому-то Вы и находитесь тут».

Я так никогда и не узнал, что это был за человек, и какое отношение он имел к делам моей матери; я только знаю, что действительно никто нас не потревожил в его доме, и что отец сюда не появлялся. Однако, так как мы этому не доверяли, то все-таки ушли в то утро, и с этого мгновения началась для нас та прекрасная и грустная жизнь, которая продлилась месяц, полная солнца и скитаний.

Это было для нас, — неизведанным наслаждением, — новая жизнь; мы были подобны двум птицам, которые вырвались из клетки и, пробуя силу крыльев, бросаются навстречу свету!...

Гостинница имела задний выход, очень грязный, но удобный для нас, так благодаря ему мы могли входить и выходить из-дому, не будучи замечены, через маленькую дверь; она выходила на кривую лестницу, вделанную в откос со стороны порта. Когда мы свыклись со своим несчастьем, мы даже говорили смеясь, что тут лучше, чем у нас, так как у мамы в откосе под окнами не было лестницы.

Мы уходили из-дому рано утром, позавтракав, и возвращались в полдень. Нам подавали еду в комнату. Днем мы также уходили из-дому. Жатва была окончена и Кира забавлялась тем, что собирала оставшиеся на поле колосья пшеницы, связывала их в пучки и отдавала бродившим по полю бедным. Или же мы бежали в поле, где паслись тысячи овец, которые переходя с места на место, оставляли за собой помет и клочки шерсти, приставшие к кустам чертополоха. Старые женщины ходили от куста к кусту, собирая шерсть. Мы делали то же самое и отдавали им добычу.

Однажды мы добрались до двух курганов, где мать покинула нас и только тогда заметили, что уезжая в тот вечер с дядями, мы забыли наш сверток с едой. Бродячие собаки разорвали его и съели содержимое, оставив обрывки тряпок.

Мы заплакали. Сознание постигшего нас несчастья охватило нас с новой силой, и оно представилось нам тем более тяжким, что мы уже начинали забывать о нем; эти минуты детского горя чередовались непосредственно

с часами безудержной радости, наполнявшей наши души. Воспитанные «в пуху», — как выразился дядя Косма, — мы знали только обычные удовольствия материнского дома: пляски, пение, кокетство, лакомства. Это было прекрасно. Но теперь мы открыли существование чего-то другого, и это «другое», согретое солнцем, пропитанное ароматами диких цветов, было гораздо прекраснее: мы до сих пор не знали, что значит гнаться за бабочкой, ловить рогатых жуков и шмелей, слышать, как поют птицы, и крик невидимого сверчка сливается с далекой свирелью пастуха, — видеть, как пчела, пятясь, вылезает из цветка, с покрытыми цветочной пылью лапками, и мы не имели понятия о том, как наслаждается душа, когда тело купается в ласках гуляющего по полю теплого ветра.

Мы узнали все это, — и забыли вкус пирожных, забыли наслаждение пляски, дым кальянов и курение ароматов. Забыли нашу обезображенную мать и жажду мщения. Кира в несколько дней загорела; и никогда поля, в которых мы с ней бегали, не видели женщины красивее ее, с глазами полными любви, с развевающимися волосами и одеждами, с молодой грудью, сладострастно открытой навстречу Богу Солнцу!...

*

Тем временем в городе слагалась легенда: утверждали, что убили моего брата и оторвали левое ухо отцу любовники моей матери!... Называли даже имена двух «муссафиров», которые, по странному совпадению, уехали в ту ночь в Стамбул. Мы поняли, что отец не подавал жалобы и хранит тайну убийства.

Успокоенные его равнодушием по отношению к нам, мы с еще большей беззаботностью предались скитаниям.

Но скоро Кира стала изменять мне. Дело в том, что почтенные «муссафиры» стали бродить вокруг нашей новой резиденции и распевать серенады под окнами на порт, где прохожие были редки. Они становились с каждым днем многочисленнее и с трудом помещались на ступеньках лестницы, которые беспрестанно обсыпались; было невероятно смешно наблюдать, как все эти люди, комично громоздившись один над другим по склону откоса, горланили и ругались, смешивая звуки своих инструментов в ужасной какофонии, и скатываясь иногда по откосу, точно мешки с мукой.

Кира и я любили смотреть из окон на этих бозумцев, которые молили назначить им свидание: Абу-Хассан выливал им ведра холодной воды на голову, но — любовь сильнее воды, — и они продолжали нас потешать. Чтобы дразнить их, Кира снова принялась за туалеты и кокетство и я теперь бродил один по утрам. Я делал это охотно, но уже не уходил так далеко. Дунай притягивал меня с неотразимой силой. Мне было уже больше 11-ти лет, но я еще не знал удовольствия скользить по воде в одной из тех лодок, в которых гребцы поют, спускаясь по течению.

В это время порт не имел набережной и можно было отойти по воде шагов на 10—20 от берега, погрузившись только до шеи. Чтоб войти в лодку, надо было пройти по маленькому деревянному мостику; парусники, стоявшие вдалеке, терлись бортами о понтоны большого моста, построенного из чурбанов и досок. Грузчики, — турки, армяне и румыны с кулями на спине, сновали, как муравьи взад и вперед, и сходилили, сгибаясь под их тяжестью.

Сначала я стал издали рассматривать этот новый для меня мир; затем примкнул к толпе мальчишек, 4-х или 5-и, различных национальностей, населявших наш город, и пристрастился к их играм. Особенно любил я смотреть, как они купаются, — голые и черные, как чертенята, и тоже собиравшиеся купаться вместе с ними, но побаиваясь, увидя, что они дерутся в воде, окуная друг-друга с головой. Тогда я оставил их и принялся разглядывать лодочников, они дремали, лежа в лодках на солнце, курили или пели; однажды я попросил по-турецки одного из них прокатить меня по реке. Он отвечал, что для того, чтоб кататься в лодке, надо заплатить несколько «пара»; я-же не знал, что значит иметь при себе деньги и расплачиваться. Он сказал, что я глуп, и объяснил, что зарабатывает хлеб тем, что перевозит людей по воде; говоря это, он подмигивал кому-то за моей спиной, и, наконец, воскликнул, смерив взглядом мое чистое платье:

«Ох, уж эти дети богачей!... Они даже не знают, что надо иметь деньги для жизни!»

Тогда я обернулся и увидел красивого, богато одетого старика турка, который стоял немного поодаль, опираясь на узловатую кизилевую палку, и слушал наш разговор. Он поманил меня пальцем и спросил:

«Ты турок? Ты очень хорошо говоришь по турецки».

«Нет», отвечал я, — «я румын».

Он долго, учтиво и дружелюбно расспрашивал меня, но я отвечал не на все его вопросы. Однако, он мне нравился... Ах, зачем не почувствовал я тогда беду?...

Передо мной стоял гнусный человек, разбивший жизнь и мне и Кире: Назим Эфенди, владелец парусника и поставщик живого товара в гаремы, подобно многим в это время!...

Нельзя было быть деликатнее, чем было со мной это чудовище: он держал себя спокойно, серьезно. Прощаясь со мной, направляясь к своей лодке, которая была покрыта коврами и обложена подушками, он промолвил равнодушным тоном:

«Если-бы, случайно, тебе вздумалось, — одному или с сестрой, — прокатиться по реке, — моя лодка в вашем распоряжении».

И он подозвал своего гребца, араба, отдал ему приказание и двинулся по реке. Я был в восторге от приглашения и пожалел, что сразу не воспользовался им. Боялся, что больше не встречу турка.

Побежал со всех ног в гостиницу и стал карабкаться по лестнице на откос, посылая воздушные поцелуи Кире, сидевшей у окна.

«Ты нехороший мальчик», сказала она. «Ты веселишься и оставляешь меня здесь одну скучать!»...

«Завтра ты будешь веселиться, как принцесса, в лодке бея!» прокричал я, целуя ее.

И я рассказал, задыхаясь, о своем открытии.

О, зачем не была она более зрелой, более опытной, чем я!... Она жадно выслушала мой рассказ и настолько потеряла голову при мысли о катанье по Дунаю в роскошной парусной лодке, что от нетерпения не спала ночь.

Все следующее утро она провела за нашим туалетом. Около полудня мы отправились к берегу и увидели араба в лодке, но турка не было. Кира смело спросила:

«Ты получил приказание катать нас?»

«Да», ответил гребец, вставая.

Она побежала по мостику и прыгнула в лодку, как лань. Следуя за ней, я слышал, как за моей спиной один

из лодочников промолвил слова, которые часто вспоминались мне потом в моем несчастье:

«Недурная дичь!»

Я передал эти слова Кире, прося объяснения:

«Мало-ли что говорят дураки», ответила она. Дул слабый ветерок и мы впервые вкусили сладость плавного движения по воде в лодке с едва раздутым парусом. Берег уходил от нас и вдруг лодку качало на речном просторе. Кира испугалась:

«Не выходи на середину реки!... Держись берега!...»

Араб повернул руль; мы возвратились к берегу. На краю возвышенности показался наш дом в своем грустном опустошении; рядом с ним гостиница с открытыми окнами наших комнат. Лодка медленно скользила мимо них, мимо муравейника порта, бесчисленных парусников, плашкотов и понтонов; миновав все это, она направилась к отдаленному мостику и пристала к нему. У входа стоял, поджидая нас, турок. Он подошел, церемонно поклонился Кире и помог ей прыгнуть на землю. Она была очень польщена этим. У этого человека были грациозные движения и элегантные манеры, которых мы не видали у наших бесшабашных «муссафиров».

Бедное человеческое сердце, как оно упивается радостью бытия!... Как не обратили мы внимания на подозрительное появление турка при нашем возвращении и на его хитро-рассчитанное отсутствие, когда мы сядились в лодку?

Он оказался еще более хитрым. Сбитая с толку его спокойствием, сдержанностью и седой бородой, Кира решилась попросить разрешения посетить его парусник. Он только этого и хотел, но, — уверенный, что добыча не уйдет от него, — отвечал на чистейшем турецком языке:

«Не сейчас, прелестная барышня! Мой парусник стоит на той стороне реки, в Мачинском рукаве, где он грузится, и так как Вы не привыкли к качке, то могли-бы почувствовать себя нехорошо. Но скоро я исполню Ваше желание... Пока-же, я рад предоставить свою лодку в Ваше распоряжение и для меня будет честью, если Вы будете пользоваться ею».

Сказав это, он поклонился, приложив руки ко лбу, губам и груди, и вошел в свою лодку.

*

Это новое удовольствие заставило нас забыть мать, отца, дядей, муссафиров и самого Бога. Мы отдались душой и телом во власть нашего соблазнителя. Три дня под ряд катались мы по Дунаю, решаясь каждый раз отплыть все дальше, и в один прекрасный день уплыли так далеко, что незаметно для себя очутились на другом берегу. Наконец-то наше любопытство было удовлетворено: мы взобрались на парусник. Это было большое и новое судно. Запах дегтя ударил нам в нос, и мы ничего не поняли из объяснения араба относительно назначения парусов, мачт целого леса снастей.

Назим Эфенди принял нас в роскошной каюте-салоне, расположенной рядом с фок-мачтой. Мы никогда еще не видели такого богатства восточных ковров, меди, шитых золотом подушек, и такого количества оружия: пикалей, саблей, пистолетов, ятаганов, — филигранной отделки с инкрустациями из золота, серебра и слоновой кости. Незнакомые ароматы ласкали обоняние. На покрытых коврами стенах висели, — на почетном месте, — портрет Султана Абдул Меджида и эмблема Турции, а

дальше, в рамках изречения из Корана, написанные красивыми арабскими письменами, и портреты одалисок ослепительной красоты, привлечшие внимание Киры, которая воскликнула, при виде их:

«Как они красивы!»

«Вы так-же хороши как они, барышня», отвечал турок.

Нам подали чудесные «баклава»¹⁾, кофе, в дивных узорчатых «филиджан», и великолепные кальяны с ароматными «тумбак».

Наш хозяин учтив, весел и внимателен. Он осторожно расспросил Киру о наших родителях и она, не сказав всего, сказала слишком много. Поспешила она сообщить ему, что любит танцы, и Назим Эфенди, довольно проведенным днем, отпустил нас со словами:

«Ну, здесь вы можете танцевать когда вам вздумается!»

И мы снова были переведены на румынский берег.

*

Я был доволен и горд своим открытием; я ничего не подозревал.... Кира была еще более довольна, а подозревала еще менее. Мы бросили наши прежние привычки и увлечения. Вся наша жизнь была поглощена парусником. Мы каждый день уезжали в лодке и возвращались домой, лишь для того, чтоб есть и спать. Более того! Кира находила теперь, что ее наряды недостаточно богаты, а комнаты наши невозможны; ей не терпелось, чтоб дядя Косма покончил с отцом, чтоб можно было вернуться в наш дом и войти во владение имуществом, сделаться

¹⁾ Турецкие пирожные.

элегантной дамой и принимать, — уже не муссафиров, а людей подобных Назим-Эфенди!.. Бедняжка!..

В течение недели мы ежедневно посещали каюту турка, — плясали и веселились. Мы больше не стеснялись и держали себя свободно. Кира клялась, что — «это вот — настоящий отец!» Он доставал из своих сундуков великолепные костюмы одалисок и развешивал их перед нашими восхищенными взорами; раз он даже одел Киру в один из них. Она была настоящей одалиской, как те, что висели в рамках на стене!... Чтoб мне не было завидно, он занялся также и мной, — нарядил меня турком в шельвары и феску, и всунул мне пистолет за вышитый пояс. Разряженные таким образом, мы готовы были просить, чтоб старик велел сняться с якоря и поднять паруса.

Он так и сделал, — но, чтобы лучше посмеяться над нами, он и на этот раз отпустил нас домой, заставив сначала переодеться в наши платья, и не сомневаясь, что мы скоро вернемся к нему.

На следующий день, — последний день проведенный нами на румынской земле, — Кире пришлось проливать слезы бешенства: отец был жив и дядя Косма еще не взял его на прицел! Но, если дяде это не удавалось, то это не мешало кому-то другому наметить себе жертву.

Чуть свет мы услышали хриплый голос под нашими окнами:

«Раки свежие!.. Раки!»...

Наконец-то! быть может, это добрая весть!

Продавец раков пришел во-время. Мы бегом спустились вниз. Старый Ибрагим, согнутый под тяжестью лет, а также, наверно, и своих грехов, — вертелся под нашими окнами.

Мы пошли за ним по направлению в Катагач; там, вдалеке от порта, он прошептал нам в ухо:

«Горе Вам!... Косма расстрелян из засады людьми Вашего отца. Его брат ранен, но успел скрыться на его лошади!»

О, как горько мы плакали! Наш покровитель был убит. «Урсита» сдержала слово! Что с нами будет теперь? Отец, которому теперь некого бояться, конечно придет за нами.

Ужас смертельный охватил нас. Нам казалось, что лучше броситься в Дунай, чем вернуться в гостиницу. Но у берега ждала нас лодка и, доплыв до парусника, мы бросились в объятия Назим Эфенди, как будто были его детьми.

Кира, обливаясь слезами, рассказала нашему новому отцу всю правду, — всю, вплоть до последнего несчастья и прибавила с отчаянием:

«Лучше мы бросимся в воду, чем вернемся к себе!»

«Нет причины предаваться отчаянию, дети мои», отвечал похититель; «Вы турецкого происхождения через Вашего деда. Я увезу Вас в Стамбул, где наверно Ваша мать лечит ушибленный глаз.... Мы найдем ее и Вы будете счастливы!»

И он обнял нас.

«Когда же вы едете?» воскликнула Кира.

«Через несколько часов, как только сядет солнце».

Горе сменилось радостью. Мы упали к ногам старика, обнимая его колена. Он был нашим спасителем!... Вечером, забравшись в каюту, под адский шум, доносившийся с палубы, мы курили чубуки, набитые опиумом и, убаюканные видениями, плавали в тумане бессознательного счастья: — нам казалось, что мы улетаем на небо.

Увы!... мы не попали на небо, ни в Стамбул к нашей матери. Мы были похищены, — похищены!...

★

Я когда нибудь расскажу Вам Одиссею моих страствований в поисках сестры, которая по прибытии в Константинополь была немедленно продана в гарем. Я же был подчинен воле почтенного благодетеля и возвращен навсегда. Так же навсегда погибла Кира, хотя, бежав после двух лет неволи, я искал ее двенадцать лет, торгуя саленом.

Вернувшись через 14 лет в Румынию, я узнал, что вскоре после нашего бегства, оставшийся в живых дядя отомстил за нас: он поджег ночью оба дома, — и материнский и отцовский, чтоб не «промахнуться» вторично. И действительно, на этот раз он достиг цели: отец сгорел.

Василий Сизов

ОБ ОДНОМ РОМАНЕ

Наконец гости ускали, с ними уехал муж; прислуга, утомленная суетою шумных дней, стала невидима и весь дом, как будто, отодвинулся в глубину парка, где тишина всегда была наиболее стойкой, внушительной и всегда будила в душе женщины особенно острое желание прислушиваться к безмолвной игре воображения и памяти.

Женщине — лет двадцать семь; она маленькая, стройная, светлая; у нее овальное, матово-бледное лицо; глаза, цвета морской воды, несколько велики для этого лица, а выражение глаз — старит его, осторожно прикрытые длинными ресницами, глаза смотрят на все вокруг недоверчиво и ожидающе.

Есть такие женщины, — они всю жизнь чего-то ждут; в девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина, когда-же он говорит им о любви, они слушают его очень серьезно, но не обнаруживая заметного волнения и глаза их, в такой час, как-бы говорят:

— Это вполне естественно, а — дальше?

Было бы ошибкой назвать такую женщину рассудочной и холодной. Выйдя замуж, она честно любит мужа и терпеливо ждет, когда-же, наконец, вспыхнет еще какая-то, может быть «бесчестная», но иная любовь. Та-

кие женщины нередко уходят от мужей с другими мужчинами, оставляя мужу коротенькую записку карандашом и ровным почерком:

— «Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобой».

«Прости» — они пишут не всегда. С другими мужчинами они ведут жизнь иногда веселую и «бурную», иногда — тяжелую, непривычно нищенскую, но в обоих случаях ждут еще чего-то. Говорят они мало, неинтересно, философствовать вслух — не любят и относятся к драмам, неизбежным в их жизни, со спокойной брезгливостью чистоплотных людей. Детей родят не охотно. После всех значительных моментов их жизни, странные глаза таких женщин смотрят так, как будто безмолвно спрашивают:

— И — только ?

Затем глаза темнеют, хмурятся упрямо, договаривают:

— Не может быть !

И снова такая женщина чего-то ждет, ждет, иногда, до той поры, пока уже ничего не нужно, кроме хорошего, крепкого сна или утраты памяти другим путем.

Одной из таких, мало приятных женщин, и была героиня романа, о котором я рассказываю, потому что не умею написать его так хорошо, как хотел бы.

Окутав плечи пуховым пензенским платком, она вышла на террасу дачи и села там в плетеное, скрипучее кресло. Багровые листья клена и желтые берез, лежали у ног женщины, на трех ступенях террасы и на полукруге площадки пред террасой. Между деревьев парка просвечивало красноватое небо и все вокруг обняла прозрачная, чуткая тишина осени, как-то особенно музыкально

умело и необходимо подчеркнутая струнным звоном си-ниц. В жемчужном зените неба неподвижно застыл бледный круг луны.

Прикрыв глаза, женщина занялась уборкой души, — гости и муж насорили там множество слов о Толстом, охоте на уток, о красоте старинных русских икон и неизбежности революции, об Анатоле Франс, старом фарфоре, таинственной душе женщины, о новом и снова неудачном рассказе писателя Антипы Фомина и еще о многом другом. Все это нужно было вымести, выбросить из памяти и лишь очень немногое требовало, чтоб женщина внимательно и ласково подумала о нем.

Поперек одной из половиц террасы глубокий след удара острым — это писатель Фомин рубил змею топориком для колки сахара. Неуклюжий, тяжелый человек, в эту минуту он был ловок, точно кошка и так воодушевлен, точно возможность убить змею, явилась для него долгожданной радостью. Он так сильно ударил, что топориче переломилось.

В тот-же день, вечером, здесь, на террасе, он читал начало своего романа о человеке, который усердно старался понять, хороший он человек или плохой и, наделав немало дурного и хорошего, так и не понял ничего, а потом умер нудно и печально, одинокий, чужой сам себе.

Но о его смерти писатель рассказал, читал-же он только четыре первые главы романа, в них описывалось, как молодой человек Павел Волков, приехал в поместье своей сестры и не влюбил ее мужа, грубого до цинизма, считавшего себя энергичным культуртрегером. Эти главы показались женщине скучными, но хорошо был описан летний вечер и настроение героя, который, сидя в парке на скамье, и, стараясь уязвить женщину, ушедшую от

него с другим, безуспешно пытался сочинить злые стихи, и уже сочинил две строчки:

— «Луна любится игрой лучей своих

И лжет, как женщина, влюбленная в двоих».

А дальше у него ничего не слагалось и он очень сердился на себя за свою бездарность.

В этот приезд Фомин более настойчиво, чем всегда, ухаживал за нею, интересно говорил о людях и своем одиночестве среди них. Но она уже знала, как редко встречаются мужчины, которые, говоря с женщиной, приятной и желанной, умели бы молчать о своем одиночестве в мире; она знала, что почти нет людей, которые любили-б хвастать своим счастьем. И чем внимательнее слушала она писателя, тем более неясным казался он ей, а наконец внушил странное впечатление: это — не человек, это сцена, на которой непрерывно разыгрывается бесконечная, непонятная пьеса. Внешне Фомин был достаточно характерен и выгодно выделялся среди людей; плотный, некрасивый, скуластый, очень рассеянный, детски небрежный к себе, он смотрел на нее греющим взглядом серых, но мягких глаз, говорил глуховатым, но гибким голосом и, чувствуя этот свой недостаток, уснащал речь богатой мимикой, обильными жестами, даже, иногда, при-топывал ногами, как пианист, нажимающий педали.

И, в тоже время, его как будто не было, а была толпа разнообразных мужчин, женщин, стариков и детей, крестьян и чиновников, все они говорили его голосом, противоречиво и смешно, глупо и страшно, скучно и, до бесстыдства, умно, а — где был сам Фомин среди них и каков именно сам он, — трудно понять.

О своей любви к ней он говорил этой женщине наивными словами юноши, который впервые почувствовал

власть силы, преображающей душу, а через несколько дней он-же говорил об этом с цинизмом человека, который уже не верит сам себе и в последний раз хочет испытать: не поможет-ли ему увлечение женщиной усыпить едкое недовольство самим собою?

Ей было очень ясно, что он не наивен и не циник, не добр и не зол, не так умен, как талантлив, и она чувствовала, что истоком недовольства собою для Фомина служит его неудовлетворенное честолюбие. В конце концов у нее образовалось недоверчивое и осторожное отношение к нему: это человек, которого, в сущности, нет. Хотя физически он существует, но того основного, что можно было-бы назвать его душою, душой Фомина, окрашенной хотя-бы и пестро, радужно, а, всетаки в какие-то «свои цвета», такой души у этого человека видимо нет. Это — не человек, а передвижной театр, в котором и режиссер, и все артисты воплощены в одном лице. Очень интересно, а — ненадежно, непрочно.

Женщина улыбнулась, глядя в глубину парка, — забавная мысль смешила ее: ведь невозможно любить в одно и то же время целую толпу разнообразных мужчин, хотя, может быть, очень интересно отдаваться многим, воплощенным в одном лице. Но, вообще, женщина, если она не хочет искалечить себя, не должна любить писателя, не должна! Покончив на этом с Фоминым, она ощутила чувство досады против сочинителя, но это чувство быстро сменилось недоумением.

Прищурясь, она смотрела в парк, там, между ветвей и стволов берез, багровели разнообразные фигуры, четко вырезанные на фоне вечерней зари, а на скамье сидел человек в белом костюме, в шляпе-панаме, с тростью в руке:

— Это — кто-же? — спросила она себя. — Ведь — все уехали. И — в белом костюме, не по сезону. Все напши — уехали, — еще раз напомнила она себе.

Но было неприятно ясно, что один остался. А, может быть, это незнакомец зашел в парк и сидит, любуясь отблесками зари на воде пруда? Но почему он в летнем костюме? Вот он чертит по земле тростью и женщине показалось, что слышно, как шуршат сухие листья. Через несколько минут решила послать горничную, посмотреть: кто это?

Встала, — заскрипело кресло; звук очень ясный в тишине, но человек не услышал его. Тогда женщина сама спустилась со ступенек террасы на холодную землю, пошла по дорожке и заметила, что она неестественно быстро подошла к человеку, а его фигура не стала вблизи ни крупнее, ни отчетливее, оставаясь такою-же, какой она издали увидела ее.

Это был, разумеется, один из бесчисленных фокусов вечернего освещения, но более странным было то, что человек этот, красновато освещенный огнем зари, не давал тени. И листья, которые он сгребал своей тростью, не шуршали, более того — они не двигались, когда конец трости касался их. Затем женщина почувствовала как будто нечто, неосвязаемо обняв ее, кружит в медленном вальсе.

Человек поднялся встречу ей, вежливо, но как-то немело снял шляпу, поклонился и спросил негромким, сухо шелестящим голосом:

— Простите, — это вы и есть?

Молодой, элегантно одет, но довольно бесцветный, с длинным сухим лицом, голубоглазый, с маленькой русой бородкой. Что-то неестественное, полу-

прозрачное, стеклянное было в его неподвижном лице. Он не напомнил женщине никого из ее знакомых, но казалось ей, что она видит его не впервые.

— Странный вопрос, — сказала она, усмехаясь. — Конечно это — я..

— Да?

Человек тоже механически усмехнулся, от этого лицо его сделалось жалким.

— Значит, — вы и есть та женщина, которую я должен встретить?

Он тотчас же добавил, беззвучно ударив тростью по своей ноге.

— Впрочем, я не уверен, должен-ли встретить здесь женщину...

Женщина пристально смотрела в глаза его, — такие глаза бывают только на портретах, необходимо некоторое усилие воображения, чтоб признать их живыми. Видимо этот человек очень застенчив и, вероятно, тут какая-нибудь конспирация, — это один из таинственных друзей мужа или Веры Ивановны, скрывается от жандармов и вообще — это политика. Но как нелепо нарядили его!

— Вы от Веры Ивановны? — спросила женщина, он ответил тоже вопросом:

— Она тоже участвует в романе?

— В романе? Что вы хотите сказать?

Человек мотнул головой.

— Я не помню там женщины с таким именем...

— Где-там?

— В романе.

— Сумасшедший? — мелькнула у нее догадка и плотнее кутаясь в платок, она сказала сухо:

— Я не понимаю вас: почему, о каком романе говорите вы? И, мне кажется, я имею право спросить: кто вы?

Человек взглянул на нее пристально, его нарисованные глаза выразили явное недоумение, но он тотчас же улыбнулся и согласно кивнул головою.

— Разумеется, это ваше право. Я думаю, что с этого, — вот с этой встречи — и начинается роман. Должно быть так и предназначено автором: сначала вы относитесь ко мне недоверчиво, даже неприязненно, а затем... Я не знаю, что будет дальше, вероятно для меня все это кончится новой драмой...

— Сумасшедший! — решила женщина, внимательно слушая медленную, бесцветную речь и следя за его лицом, — лицо становилось как будто живее, менее плоским. Сама же она чувствовала себя очень странно, как будто засыпала и у нее явилось желание слушать его молча, не прерывая.

— Меня крайне удивляет, что вы спрашиваете о романе, — продолжал он. Скажите: ведь вы не мистифицируете меня, нет? Вы — та самая женщина. Вы ведь имеете определенное отношение к Фомину, точнее — к его роману, да?

Женщина едва удержала взрыв смеха, моментально сообразив:

— Ах, вот что! Это — Фомин. Он узнал, что я буду одна, не мог приехать сам и затеял какую-то мистификацию...

— Да, — сказала она, улыбаясь. — Я знаю этот роман. И — что же?

Человек еще более приятно ожил, говоря:

— О, тогда все хорошо! Но, однако, я не думал, что это так трудно.

И, почти любезно, он добавил, тоже улыбаясь:

— Конечно — вы, — та самая женщина, иначе, я наверное и не мог бы встретить вас...

— Становится свежо и сыро, — может быть мы пойдем в комнаты? — предложила она.

— Благодарю вас, — сказал человек, кланяясь и улыбаясь.

Странно улыбался он, — улыбка являлась на лице его как будто не изнутри, а извне. Шел удивительно легко, осенние листья не шуршали под его ногами в белых ботинках. Но самым странным было то, что фигура его не давала тени, тогда как пред женщиной, ползла, толчками и покачиваясь, длинная тень, ложась на траву то справа, то слева узкой дорожки.

— Как это он делает? — думала она, искоса наблюдая за ним и ей казалось, что он стал неестественно плоским.

— Давно видели вы Фомина?

Взглянув на нее с явным недоумением, человек ответил:

— Года два тому назад...

— Шутит он — скучно, — отметила женщина.

— Вы одеты не по сезону легко...

— Это — Фомин, — ответил он, пожав плечом. — Ведь я должен был действовать летом...

Ей становилось все более неловко и скучно.

— Итак, — кто же вы? спросила она еще раз и заметила, что этот вопрос, также как вопрос о Фомине, снова вызвал его недоумение. Сильно хлестнув тонкой тростью

по воздуху, — причем она не услышала свистящего звука, — человек натянуто и некрасиво усмехнулся.

— Странно, что вы спрашиваете об этом, — забыли? Позвольте напомнить. Я — Павел Волков. Павел Николевич Волков, сын инженера и тоже гражданский инженер, человек бездеятельный, неудачник, мне тридцать два года, я богат. Шесть лет тому назад женился по любви, через четыре года жена ушла от меня, оставив записку карандашом: «Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобою». Теперь она живет где-то на Кавказе, но, кажется, я не должен встретиться с нею, а впрочем, это мне неизвестно. И это все что я знаю о себе, остальное еще недописано, не создано...

Он говорил, точно паспорт читая и только в конце слов, женщина услышала что-то близкое возмущению или досаде.

Сама она, тоже чувствуя досаду против него, думала:

— Если это не сумасшедший, воображающий себя героем неудачного романа, так это человек бездарный и неумный.

Входя на террасу, она спросила его:

— Как вы делаете, что у вас нет тени?

Павел Волков удивился:

— Зачем нужна мне тень? И, разве вы, во сне, видите тени? А, ведь это — как сон!

— Что — как сон?

— Да — вот это, наше с вами бытие, — бытие людей искусственно созданных для развлечения людей реально существующих.

Он сказал это так просто, что женщина подумала:

— Кажется — я ошибаюсь, это очень тонкий, очень искусный актер. Так — понятнее, почему именно его послал ко мне Фомин.

— Ах, вот что? — воскликнула она, смеясь. — Вы — не реальный человек?

И — смутилась, опустила глаза — этот человек смотрел на нее с искренним испугом и казалось, что его колеблет, изгибает ветер, неощутимый для нее, неестественные движения его тела напоминали именно колебания ткани на сквозном ветре.

— Как странно, что вы спрашиваете об этом! — говорил он. — Право-же, мне кажется, что вы мистифицируете меня. Или вы созданы Фоминым еще более небрежно, чем я и потому забыли ваше назначение, вашу роль? А, может быть вы реализовались, каким то способом, недопустимым мне? Или-же Фомин окончательно дописал вас, забыв обо мне? И вы уже совершенно законченный образ?

— Нет, это очень хороший артист, — думала женщина, слушая его тревожную речь. Она чувствовала себя в состоянии человека, который грезит против воли своей и должен преодолеть это состояние.

— Вы молчите? — слышала она. — Мне приятнее думать, что молчите вы потому, что вспоминаете, — да?

Женщина кивнула головою.

— Позвольте помочь вам вспомнить начало романа...

— Я — знаю его, — сказала она...

— Тогда — что-же?

Помолчав несколько секунд, Павел Волков тихо воскликнул:

— Ага-а! Я понимаю: очевидно Фомин не успел связать вас со мною... Или он — для вас — заменил меня

другим? Но — самое удивительное во всем этом то, что вы — не знаете вашего отношения ко мне и вашей роли в романе.

Наступил момент, когда в женщине вспыхнуло любопытство; победив ее смущение, оно тотчас подсказало ей, как она должна держаться.

— Нет, — сказала она — я плохо понимаю вашу роль. Расскажите о себе...

— Но я уже сказал все, что знаю.

— Вы — как-бы — не существуете?

— О, нет! — возразил он с досадой. — В том-то и дело, в том и несчастье, что я — существую. Для вас — до поры, пока этого хочет Фомин, но я существую уже и независимо от него...

— Понимаю: как Гамлет или Дон-Кихот существуют независимо от их создателей...

Павел Волков поклонился, говоря:

— Приблизительно. Но, разумеется, Фомин — не Сервантес и, тем, более, не Шекспир. К тому-же я не закончен. Я, вообще, в смешном положении. Вы только представьте, — я сидел на скамье, в аллее парка, вот уже два года. Два года! Согласитесь, что это — ужасно нелепо. Дни, ночи, утренние зори, закаты солнца, пыль, зной лета, дожди осени, снег и мятели зимы, а я — все сижу, жду. Мимо меня изредка проходят люди, реальные люди, они говорят о чем-то неинтересном; какой-то рябой человек в чесунчовой паре соблазнял толстенную даму тем, что у него в парниках великолепно вызревают ананасные дыни и, между словами, кусал ей ухо совершенно, как лошадь, а она — взвизгивала тихонько. Страшно глупо все, надоело, бессмысленно! Сидишь и думаешь: как невероятно скучны, глухи и расплывчаты

реальные люди и до какой степени мы, выдуманные, интереснее их! Мы всегда и все гораздо более концентрированы духовно, в нас больше поэзии, лирики, романтизма... И, как подумаешь, что мы, в сущности, бытийствуем только для развлечения этих тупых, реальных людей...

Говорил он тоном человека, который искренно оскорблен и его сухое лицо стало как будто мягче, симпатичнее, хотя это изменение удобно объясняется теплым сумраком комнаты.

— Я, разумеется, плохо знаю, что такое реальные люди и вообще — что такое реальность? Например: эта комната и все в ней — это реальность или тоже, как я и вы, что-то другое, эманация Фомина, плод его воображения?

Женщина осторожно коснулась рукою своих глаз, посмотрела вокруг и сказала тихонько:

— Все это — очень интересно, но несколько утомляет меня...

— Конечно, должно утомлять, — согласился Павел Волков. — Но, знаете, за два года бездействия и неподвижности, ожидая, когда Фомин закончит меня и пустит в дело, в жизнь, для развлечения людей, я, как-то, уплотнился что-ли, окреп и, кажется, тоже по структуре моей, стал очень близок к реальному существу. Я почти реален, да...

Женщина почувствовала себя плохо, она уже хотела сказать от этом странному, несомненно безумному гостю, но в это время в двери из внутренних комнат явилась горничная и встала, как в раму, открыв рот, выкатив глаза точно окунь, пойманный крючком удочки.

— Что вам, Глаша?

— Вы звали?

— Я? Нет.

— Извините. Мне послышалось — вы говорите...

— Ну, да, говорю! Разве вы не видите...

Мигая, женщина поднялась на ноги, оглянувшись — Павел Волков, стоявший у окна, спиной к нему — исчез.

Мимо тусклых в сумраке стекол медленно падал лист, в зеленоватом воздухе недвижно висели ветви клена. Долго, пристально, до боли в глазах женщина смотрела на окно, смотрела так упорно, что ей, наконец, показалось, будто стекла сверху до низу разрезаны тонкой, темной нитью.

— Да, — сердито сказала она, — я говорила... я звала вас! Принесите чаю...

А когда горничная ушла, она задумалась:

— Кажется, это называют галлюцинацией зрения и слуха, сложной галлюцинацией. Отчего-бы это у меня? Странно. Очень странно.

Села в кресло, вытянув ноги, накинула на них плед.

— Об этом надо написать Фомину, пусть обогатится еще одной темой. Хотя это не его тема, он реалист.

Она чувствовала, как бессвязно, торопливо стучат мысли в ее виски и ей было приятно, что это наводнение — кончилось.

— Да, так вот я говорю, — раздался знакомо шелестящий голос, человек стоял у окна и пальцем одной руки гладил свой висок, а в другой качал шляпу.

— Позвольте! — раздраженно сказала женщина. — Где вы были, когда вошла горничная?

Павел Волков удивленно расширил глаза, шагнул к ней раз, два, она быстро, отталкивающим жестом протянула руку встречу ему.

— Где я был? — переспросил он, остановясь и угловато подняв плечи. — Я был тут, здесь. А — а, вы перестали видеть меня? Так это потому, что я повернулся к вам боком, а я, ведь, как игральная карта, как портрет, — вы забыли? Но ведь вы сами такая-же...

— Нет, — возмущенно сказала она, — нет!

Человек вздохнул, говоря:

— Однако, какой у вас трудный характер!

Он сказал это тоже раздраженно, как-бы вторя ей, но черты лица его оставались неподвижны, действительно напоминая лицо портрета. Иногда на этом матовом лице являлись и исчезали тени, почти не изменяя его, — являлись они также извне, как его неприятная улыбка. И было в нем странное сходство с отражением на воде, чуть колеблемой ветром.

— Как делает это он? — догадывалась женщина, сосредоточенно разглядывая его и вдруг почти приказала:

— Встаньте немного левее!

Взглянув на нее, он бесшумно подвинулся, встал против зеркала но — не отразился в нем, стекло, едва заметно потемнев, не показало его серую, в сумраке, фигуру.

— Ясно, это — галлюцинация, — решила женщина.

А Павел Волков говорил:

— Очень трудный характер у вас. Я, ведь, понимаю, что вы снова не верите, не решаетесь принять меня за то, что я есть. И я не думаю, что ваше отношение ко мне входит в план Фомина. Да, наконец...

Павел Волков нелепо закачался, струясь вверх.

— Наконец — я чувствую себя достаточно реализованным для того, чтобы продолжать неоконченный роман Фомина за свой личный страх, так сказать, на свои средства. Я больше не хочу бездействия и ожидания, я не

могу торчать во всякую погоду на скамье, в парке, и слушать разговоры о дынях до конца дней мира сего, до полного разрушения всех форм и всех эманаций материи. Этот Фомин создал меня и — забыл обо мне. Я слышал, что так поступает Бог по отношению к реальным людям, но у Бога, вероятно, есть какие-то солидные мотивы для оправдания его... столь мало понятных опытов. А, ведь, Фомин, насколько я понимаю, обыкновенный, заносчивый и самонадеянный человек, неумело подражающий Богу в Его шахматной игре людьми с кем-то. И, знаете, мне кажется, что этот Фомин — сумасшедший! Посмотрели-бы вы, как он ведет себя, оставаясь наедине сам с собою! Он наполняет комнату созданиями воображения своего и, окруженный тесной толпой призраков, таких-же безумных, как сам он, не знает, что ему делать с ними. Бредовый человек! Я много думал о нем в эти два года полупризрачной жизни моей и меня поражает до какой степени честолюбивого безумия дошел он. Вы только подумайте: Фомин, наверное, хорошо понимает, что и сам он, и все подобные ему люди искусства, невероятно путают и осложняют жизнь, наполняя ее своими выдумками, а ведь, в конце-то концов, что такое все эти выдумки? Лица и факты реальной действительности, искаженные сообразно субъективным вкусам и наклонностям этих фокусников слова. И — более того, все они, эти фокусники сами являются тоже чьей-то выдумкой, для развлечения реальных людей, но — не понимают этого, представьте, — не понимают! В сущности нет уродов, над которыми реальные люди, издевались-бы так жестоко, как издеваются они над творцами выдумок, посеянных в полях действительности, якобы для украшения ее. Разве не кажется вам, что жизнь была-бы проще, удобнее, менее

противоречива, если-б в ней не было этих Дон-Кихотов, Фаустов, Гамлетов, а? Подумайте-ка над этим, подумайте!

Павел Волков произнес эту длинную речь очень оживленно, очень насмешливо, с тою силой самоуверенности мудреца, которой, среди людей, обладают только одни литературные критики и которая всегда является верным признаком неизлечимой духовной безграмотности. Он совершенно неестественно колебался, струился, точно марево в поле, но его фигура все-таки не теряла реальных очертаний человеческой фигуры. И все вокруг женщины текло, кружилось, опьяняя ее любопытством немножко жутким.

— Да, — повторил Павел Волков, — я решил продолжать роман самостоятельно. Мне бы вот только найти женщину, вернее — убедить вас, что именно я — тот, кто предназначен вам Фоминым.

И вопросительно глядя на нее, он с досадой сказал:

— В этой проклятой действительности устроено как-то так нелепо, что без женщины шага нельзя ступить. Да и скучно без нее...

— Если я правильно поняла вас, — начала женщина и остановилась, сосредоточенно прислушиваясь как в ней растет и греет ее какая-то смутная, но серьезная мысль.

— Да? — настойчиво спросил он, наклоняясь к ней и не исчез, когда горничная внесла поднос с чаем.

— Две чашки, Глаша.

— Две?

— Ну, да, Боже мой...

Кивнув головою вслед горничной, человек спросил:

— Это — тоже эманация Фомина?

Чтоб не отвечать ему, женщина наклонила голову, а он принял это, как ее утвердительный ответ.

— Не понимаю, зачем нужно воплощать воображение в такие грубые формы!

— Вы будете пить чай?

Павел Волков выпрямился, уныло говоря:

— Вы-бы еще водки или коньяку предложили мне! Нет, очевидно, Фомин не дописал вас, вы не знаете, как вам нужно вести себя со мною и вот, между нами, вместо романа, разыгрывается смешной водеvil. Положительно — я не знаю, — что делать? Для полной моей реализации необходима женщина, и, очевидно, эта женщина — вы. Но — вы явно незнакомы с вашей ролью или не поняли ее, или-же, повторяю, Фомин выдумал вас еще более небрежно, чем меня. И наконец, мне кажется, что вы не верите, — все еще не верите! — себе самой, а у меня нет средств убедить вас в том, что я — не призрак, не галлюцинация и не вашего, — поймите-же это, прошу вас! — я создание не вашего воображения, не вашего, а — Фомина — понимаете?

Женщина понимала, что все это невозможная чепуха, дикая выдумка и я надеюсь, что проникательный читатель вполне солидарен с нею в этом. Конечно — только в этом. Я знаю проникательного читателя, как человека страшно здравомыслящего и мое уважение к силе его разума особенно укрепляется тем стойким упрямством, с которым проникательный читатель умеет скрывать от самого себя пошлейшую бессмысленность его трудной и даже мученической жизни.

Меня сердечно умиляет священное благоговение, с которым читатель относится к фантастически неудобной для него, но им-же созданной действительности, меня

восхищает тот ужас собственника, который испытывает читатель каждый раз, когда чья-нибудь бунтующая фантазия поднимает свой дерзкий и бесполезный голос против действительности, этой мелко сплетенной и крепкой сети бесчисленных нелепостей, против сети, которая тащит читателя куда-то, как селедку в рассол, в тузлук. Я уважаю читателя за то, что он, безгранично гибкий и терпеливый материал мой, не протестует, когда я, за счет моего воображения, делаю читателя интереснее, умнее и лучше, чем он есть на самом деле. Я знаю, что это отступление совершенно неуместно, но у меня неожиданно возникло лирическое желание сказать читателю искреннейший комплимент, а для похвалы человеку одинаково удобны всякое время и всякое место.

Я продолжаю рассказ о романе, который не написан.

Итак — женщина не верила, но она решила вести себя серьезно, не только из опасения сойти с ума, нет! — смутная мысль ее приняла определенные очертания.

— Почему я не могу делать то, что удастся Фомину? Вероятно — выдумать не так трудно и опасно, как родить.

Задумчиво глядя на гостя, она сказала:

— Насколько я помню, роман Фомина...

Но, прервав сама себя, спросила, ласково улыбаясь:

— Как это делается? Как он создал вас?

С такой же улыбкой, хотя и наклеенной извне на лицо его, Павел Волков ответил, голосом более мягким:

— Не знаю право. Я как-то сразу понял или почувствовал, что существую, меня зовут Павел Волков, я блондин и так далее. Неудачный и тяжелый роман мой надо объяснить, кажется, тем, что я человек размышляющий, анализирующий, занят исключительно самим собою, все-же остальное, весь, так называемый, внешний мир

является для меня предметом или источником моих размышлений. Все извне существующее толкает меня внутрь самого себя, а изнутри что-то рвется во вне, — вообще я создан для жизни очень беспокойной, тревожной и, должно быть, конечная цель моя — найти самого себя среди хаоса различных явлений, собрать себя во что-то целостное, очень острое и легко проникающее в глубину тайн. Теперь мне кажется, что я существовал и до Фомина, но в форме разобщенных, каких-то облачных кусков, необъединенных даже и в то неясное целое, чем являюсь пред вами, — чем-то не связанным ни мыслью, ни чувством, ни желанием, указующим цель мою. Вот все, что я могу сказать о себе.

Тут женщина успокоенно подумала:

— Это — обыкновенный человек. И — довольно скромный. А я — вовсе не схожу с ума. Просто — я вижу что-то, чего не знаю. И, конечно, тут не без фокусов.

— Создан же я, очевидно для того, чтоб утвердить какую-то, придуманную Фоминым истину, — слышала она голос Волкова. — Ведь, должно быть, все эманации сочинителей ввергаются в жизнь для утверждения различных истин? — спросил он.

Женщина не решилась ответить утвердительно, — все-таки пред нею был чужой, подозрительный человек, — зачем вскрывать пред ним маленькие тайны мира сего? А вдруг, действительно, существует иной мир и в нем живут люди двух измерений, вроде японских мышей?

Затем она совершенно разумно сообразила, что если пред нею просто человек, то, разумеется, он должен обнаружить это, когда она начнет кокетничать с ним. Осво-

бодив из под пледа достаточно обаятельную ножку, покачивая ею, она сказала:

— Мне помнится, что Фомин задумал вас именно таким, как вы характеризовали себя...

— Я — рад, — сказал Волков, — конечно, это очень тяжелая роль, но — я рад! Ведь, — уж если создан, так надо жить!

— Да, — согласилась женщина, подумав немножко. — Дальше вы, действительно, должны встретить женщину из тех, которые, знаете, чего-то ждут, что-то решают и, неожиданно для себя, делают как раз не то, что решили. До конца дней, по крайней мере — до старости, жизнь кажется им неисчерпаемой, но они не имеют в себе той жадной и дерзкой силы, которая слепо черпает наслаждения жизни. А, главное, им кажется, что где-то близко, около их, за всем, что уже испытано, скрыта еще одна, величайшая и сладостная тайна, — открыть ее, насладиться ею физически и духовно — вот чего они ждут! Я уверена, что лично я — не из таких женщин и Фомин, создавая вас, едва-ли думал обо мне. Хотя, вы знаете, эти писатели...

Павел Волков негодуяюще взмахнул рукою.

— Да, да, я понимаю, что вы хотите сказать. Это — ужасно! Преступнейшее легкомыслие! Вы представить себе не можете, до чего много в мире воображаемом таких, как я, вы и подобные нам, незаконченных, недорощенных, уродливых существ.

— Разве? — огорченно спросила женщина и недоверчиво прибавила:

— Уродливых?

Но Павел Волков не ответил ей, продолжая все более человечески живо, но таким тоном, как будто он жаловался.

— Они думают, что образ, созданный ими, закреплен на бумаге и этим все кончено, но, ведь на бумаге остается только рисунок образа, а сам он исходит в мир и существует, как я, вы, как психофизическая эманация, результат распада атомов мозга и нервов, нечто более реальное, чем эфир. Ведь вы-же знаете это.

— О, конечно! Да. Почему вы не сядете к столу?

Он подошел, сел, как сделал-бы это всякий другой человек и было ясно, что ее маленькие хитрости не замечены им. Вздохнув, женщина попыталась представить себе жизнь в мире недоконченных людей и — не могла, потому что пред нею тотчас закружились люди знакомые, среди которых она еще не встретила необходимого ей человека, совершенного как музыкальный инструмент в руках гениального музыканта. Она знала, что совершенный человек, это тот, кто умел-бы не только удовлетворять все ее желания в момент возникновения их, но мог-бы предугадывать и возбуждать желания. Ни о чем не спрашивая, он должен уметь на все ответить. Не нужно, чтоб он много говорил, но он должен все чувствовать, понимать и ни в чем не обвинять ее, если только она сама не захочет видеть себя виноватой.

Думая об этом, она внимательно слушала тихий голос гостя.

— А тут еще приходит нечто, видимо, неизбежное: Фомин наполнил меня определенным психическим содержанием, я — ожил, существую, но в следующий момент ощущаю, что в меня извне вторгаются качества и мысли излишние, противоречащие тому, что уже есть во мне.

Чувствуя, что это лишнее уродует меня, я не мог оттолкнуть его, потому что в тот момент я еще не имел личной воли к жизни, а Фомин был окружен как-бы облаком истечений его психофизической эманации, это, — как вы знаете, — очень плотная и подвижная среда, которая разрушила-бы меня, попытайся я проникнуть сквозь нее до сознания Фомина...

— Допустимо, — думала женщина — что предо мною действительно еще не человек, а — начало его, существо, которое я могу закончить, наполнив его тем, что необходимо совершенному человеку. Это проще того, что сделано Пигмалионом...

Она закрыла глаза, слушая странно прозрачный голос, — ничего не заглушая, он не мешал ей думать о своем и слышать, как в деревне подпасок Кирька играет на гармонике, где-то далеко поют девки и, как всегда, собаки лают на луну, очень благообразную и яркую, почти как солнце, лучи которого кто-то гладко причесал.

— И вот, теперь, я не могу понять, что во мне от Фомина, создателя моего, что — от других персонажей созданных им и спутанных со мною и, наконец, я чувствую в себе мысли Фомина, не имеющие никакого отношения ко мне, как герою его романа и вообще к роману. Я, ведь, уже говорил вам, что Фомин, — это небольшой дом умалишенных или, если хотите, дорога, по которой непрерывно бродят различные образы, текут разнообразные, взаимно отрицающие одна другую мысли. Например: лично я не могу думать, что Природа не знает, чего хочет, и, умея создавать все, создает бесчисленное количество уродливого, лишнего — это уже афоризм Фомина, совершенно не нужный мне, а таких пустяковых афоризмов я ношу в себе не мало. Но, может быть, я и создан

только для того, чтоб явиться носителем пустяков? И, наконец, я не знаю главного: должен-ли я быть добрым человеком или злым?

Улыбаясь, женщина протянула ему руку:

— Но — вы и не должны знать этого, — сказала она ласково, утешительно. — Интерес и смысл вашей жизни именно в том, что вы, — человек, плохо различающий добро и зло.

Дергая пуговицу фланелевого пиджака, человек недоверчиво спросил:

— Вы, в самом деле, так думаете?

— Да, я именно так понимаю вашу роль! Если-б вы умели различать добро и зло, вам, я уверена, было-бы очень скучно. А так — интереснее!

Павел Волков задумался, явно сомневаясь в чем-то. И было неестественно, что он не обращает внимания на ее руку, что сделал-бы всякий другой мужчина на его месте.

— Д-да, — сказал он. — Но — для кого же это интересно?

— Для меня. Для вас. Для читателя, наконец...

— Гм. Для читателя?

Он провел ладонью по волосам своим, по глазам и, усмехаясь, покачал головою.

— Не находите-ли вы, что это довольно жестокая забава? Подумайте: нас заставляют испытывать бесчисленное количество неприятностей, скармливают друг с другом, как — извините! — псов, для того, чтоб создать драматические коллизии, нас треплют как игрушки и все для того, чтоб какой-то читатель, видимо скучающий человек, развлекался этим? Не слишком-ли остроумно: заставить страдать одних людей для развлечения других?

Кажется, это не моя мысль, а Фомина, но, — право, — хорошая мысль! Фомин, в сущности, порядочный человек. Он — не самоуверен, а, по моему мнению, это верный признак порядочности. Иногда он, бросив перо, спрашивает себя: зачем я это делаю, зачем пишу? Сам он не любит страданий, они органически противны ему, но, к сожалению, для писателя нет иного материала, кроме несчастий...

Женщина подвинулась ближе к нему и спросила:

— Скажите, — как вы делаете эти ваши фокусы с тенью и зеркалом? — Сказав это, она почувствовала вероятно тоже, что чувствует охотник, ружье которого выстрелило помимо его желания, случайно. Это смутило ее, она тотчас ласково коснулась руки гостя.

— Не сердитесь!

Но под ее рукою не оказалось ничего кроме шероховатой вязаной скатерти; это было неиспытанно неприятно и даже — жутко. Но стало совсем плохо, когда раздался сердито укоряющий голос:

— Но — вы настоящая, обыкновенная, так называемая реальная женщина! Зачем-же вы меня мистифицировали?

Павел Волков встал, нелепо взмахнул шляпой и повторил с гневным недоумением:

— Какой смысл в этой мистификации?

Он поплыл на террасу, несколько секунд постоял в двери, струясь в лунном сиянии.

— Послушайте! — говорила женщина, медленно подходя к нему. — Ведь это — невероятно! Невозможно убедить меня, что вы...

Идя, она впервые убедилась, что земля действительно вращается на оси своей, вращается с быстротой нелепой, ненужной.

— Читатели! — сказал Павел Волков, удаляясь и было ясно, что он вложил в это слово обидный, порицающий смысл. Шел он, держа трость под мышкой и достав из кармана перчатки, натягивал их на пальцы, как это делают знаменитые провинциальные актеры, играя роли оскорбленных героев. Но женщине казалось, что пальцы перчаток расправляются так быстро, как будто-бы их надували воздухом.

В хитром освещении луны его фланелевая фигура принимала призрачный, зеленоватый оттенок. Вот она достигла берега пруда, группы берез и потерялась, исчезла в серебре стволов, в темном блеске воды.

Конечно, женщина протерла пальцами глаза; в подобных случаях всегда прибегают к этому жесту, я почти не помню автора, который решился бы забыть об этом жесте. Было очень тихо, если не говорить о вое собак, почти непрерывном. Следовало-бы стенным часам пробить полночь, или сове крикнуть раза два, но — я не хочу рассказывать читателю о том, чего не было.

Женщина вздохнула, глядя в даль, там, за круглым, темным, мерцающим оком пруда, черной, огромной ресницей поднимался мохнатый лес.

Это — не плохой образ; во всяком случае оригинальный. Пруды, озера, моря — всегда казались мне глазами земли, а в юности, которая стремглав убежала в недосигаемую никому, кроме памяти, сказочную даль, в юности я даже писал такие стихи:

«Синими очами океанов
«Смотришь ты, Земля, моя родная,
«На сестер твоих, златые звезды,
«На златые звезды в небе синем.
«О, какой тоскою светят в небо
«Синей ночью очи океанов...

И — так далее, все — о-о-о! Очень синие стихи.

Кстати, — для критиков; Земля — звезда, это я взял взаймы у В. Гюго. Но — дальше!

Над черной массой леса медленно всплывали три звезды, женщина вспомнила, что это Волхвы Ориона. Пустынно было небо; краденый свет луны самодовольно затмил честное сияние звезд.

Здесь напрашивается уподобление, весьма полезное для многих, а для некоторых — обидное; однако я его не сделаю, это отвлекло-бы меня в сторону, а рассказ-то надо кончить. Да.

Тихо прикрыв дверь на террасу, женщина ушла в маленькую и, разумеется, уютную комнатку, — теплое гнездо, где она высиживала цыплят своей фантазии. Крепко потирая холодные щеки ладонями, она встала пред зеркалом, — оттуда на нее смотрели почти чужие глаза, округленные недоумением, испугом. Эти глаза не верили, что маленькая, изящная женщина, которую они так великоленно украшают...

— Он — едва-ли человек, — думала женщина. — Будь он человеком, мужчиной... В сущности, он почти оскорбил меня.

Она села к столу, поправила отстегнувшийся чулок и долго сидела, играя маленькими ножницами для ногтей. Потом стала полировать ногти замшей; — лучше всего.

думается, когда полируешь ногти. Очень жаль, что Иммануил Кант не знал этого. У женщины было много мыслей, но все они тревожно колебались, как пылинки в луче солнца, ни одна из них не правилась ей и это возбуждало досаду. Ей надо было сделать усилие над собою, чтоб заставить себя думать о Фомине.

И она подумала, что хотя этот мужчина некрасив, неуклюж, но все-же он самый интересный человек среди ее знакомых. А подумав так, женщина с изумлением догадалась, что она давно, и все время, думает именно о Фомине и что все, что пережито ею десять минут тому назад, — просто игра ее души с человеком, который забавен больше других.

Тогда, раскрыв бювар, она торопливо, тонким английским почерком написала Фомину:

Милый Антипа Титыч!

«Четверть часа тому назад я пережила нечто невероятное, фантастическое, безумное; прибавьте сюда все другие, более сильные эпитеты, если Вы имеете их и все-таки они не определяют с достаточной глубиной и точностью того, что пережито мною».

«Знаете, кто был у меня в гостях? Павел Волков, герой Вашего романа, человек, о котором Вы так много и хорошо говорили мне, но которого я, все-же, — помните? не могла достаточно ясно представить себе. Вы не должны думать, что у меня был какой-то реальный человек, похожий на него, нет, это был именно сам Павел Волков, созданный Вами и — простите! — мало похожий на человека вообще. Он назвал себя воплощением Вашей творческой силы, существующим в какой-то совершенно непонятной для меня форме: внешне — это человек, но

внутренно — что-то бездушное, незаконченное, неспособное подчиниться даже сексуальным эмоциям нормального мужчины. Он довольно прилично одет, но неловок и, действительно, как то весь недорожден. Жаловался, что создав его, Вы забыли о нем, и, возмущенный этим, он решил жить самостоятельно, тою силой, которой Вы недостаточно наделили его. Так я поняла Вашего героя».

«Пожалуйста не думайте, что я сошла с ума, галлюцинировала, — ничего подобного! И доказательством моего душевного здоровья должно служить, то, что я отнеслась к этому странному, все-таки, визиту, вполне спокойно, разумно и критически».

«Ваш герой решительно не понравился мне. Я уверена, что с таким человеком в центре событий, роман Ваш будет неудачен. Разве может быть что-либо интересное в жизни неинтересного человека? Он даже не особенно умен, этот Волков. Он неудался Вам и Вы должны как-то переделать его. Во всяком случае Вам необходимо сделать так, чтоб это существо не шло по земле, каким-то полупризраком, — я не знаю чем! и не компрометировало Вас. Подумайте: сегодня он у меня, завтра у другой женщины, — он ищет женщину, как Диоген искал человека»...

Она перестала писать, подумав: не придется ли ей излишняя реальность этому случаю и не смешно ли пишет она? И решила: пусть останется так, как написано, это забавнее!

Она писала еще много, испытывая все более острое желание уничтожить Павла Волкова. Зачем нужен он? Зачем, вообще, нужны, неприятные, неудачно выдуманные люди?

А кончив письмо десятком ласковых слов, она позвала горничную, велела ей плотнее закрыть окна, хорошенько запереть дверь на террасу и сказала ей:

— Вы, Глаша, лягте в соседней комнате, на диване; я чувствую себя не совсем хорошо и, может быть, ночью позову вас.

Потом разделась, легла в постель и, пытаясь представить как Фомин отнесется к ее письму, уснула.

Через несколько дней Фомин ответил:

«Я прочитал милое и удивительно остроумное письмо Ваше сейчас, скучной дождливой ночью; холодно в комнате, холодно в душе у меня. Я был в гостях, шел домой пешком, дождь барабанил по зонтику, я думал о вас и — сложились стихи, конечно — неважные, но — поверьте, — искренние!».

В стихах Фомин говорил:

«Навстречу странному виденью
Один иду тропой земной,
Моя тоска, свинцовой тенью,
Влачится по земле, за мной —

Я никого не беспокою
Тем, чем больна душа моя —
Неисчерпаемой тоскою
О тайном смысле бытия.

Ведь мне помочь не могут люди
И я им — то-ж не помогу
И — кто из них меня осудит
За то, что я молчу, не лгу,
Не утешаю их словами
Тоски моей им не дарю?

Я только с Вами, только с Вами
О ней шутливо говорю ...»

Женщина усмехнулась: Фомин забыл, что уже читал ей эти стихи весною, когда, вдвоем с нею, катался в лодке. Но может быть хорошо, что он забыл; в тот вечер она была настроена дурно и сказала ему, что такие стихи можно писать не менее сажени в одну ночь.

Дальше Фомин писал:

«И вот, придя к себе, нахожу на столе Ваше письмо, такое оригинальное, полное дружеского внимания ко мне, чем я не избалован — и серьезного отношения к моей работе. Спасибо Вам. Вы оживили в памяти моей этот жалкий роман и окончательно убили героя его. Я взял рукопись, прочитал ее, устыдился и разорвал на мелкие клочки. Теперь Павел Волков не придет беспокоить Вас».

Дальше он писал все то, что пишут женщине, когда хотят нравиться ей. В этих случаях пишут всегда льстиво, — но иногда — искренно льстят.

Прочитав письмо, женщина задумалась, глядя в окно, в парк, — там сверкало скучное солнце осени, посвистывал, буянил ветер, падали желтые листья.

Вот и кончен рассказ.

Я не знаю, что после всего этого сделала женщина, но думаю, что она написала мужу:

«Прости, Павел, но я не могу больше жить с тобой».

Мужа этой женщины я тоже не знаю. Возможно, что это один из тех редких мужчин, от которых женщины не уходят. Мне кажется, что мужчины этого племени глухи, немые, хромы и вообще страшно уродливы, или до того

законченно несчастны и жалки, что несчастье их уже невозможно увеличить.

Следовало бы заключить этот рассказ пейзажем в лирическом тоне, не — не хочется.

И — так — хорошо.

Владимир Юрезанский

Ч Е Л О В Е К

I

За обедом дядя Знай всегда дразнил:

— Ну, какой же ты человек? Ты полчеловека! Даже меньше: четверть-человека!...

— Нет, человек!

— Нет, четверть-человека!

Боря быстро соскальзывает со стула и обиженно бежит искать защиты.

— Папа! Почему дядя Знай говорит, что я не человек?... Ведь ты же сказал, что я человек!...

Боре четыре с половиной года. Он маленький, худенький, необыкновенно подвижный и бойкий. Глаза у него серые, быстрые, волосы коротко острижены, ершистые, светлые, голос, как торопливо звенящая тоненькая струна. Дядя Знай — большой, широкоплечий, высокий и очень сильный. У него есть другое имя, настоящее, но очень трудное и непослушное: маленькому языку Бори выговорить его невозможно — такое оно грузное. Пробовал Боря называть дядю, как старшие, но язык сорвался, — и получилось что-то похожее на Знай. С тех пор за

этим высоким, широченным дядей так и осталось имя — дядя Знай, укрепилось так прочно, что и настоящее имя почти забыли.

Боря и дядя Знай, нерасторжимые друзья, но постоянно спорят друг с другом, особенно за обедом.

— Ну... Борис сегодня опять будет канителиться три часа! — говорит дядя Знай, садясь за стол.

— Нет, он не будет канителиться, — в третьем лице возражает Боря. В минуты ровных, эпических настроений он всегда говорит о себе в третьем лице.

— Это ты не будешь? Ты? Не поверю!

— А вот увидите! Сегодня он так будет быстро кушать, что скорее даже всех. С мигом!

— Что ты мне сказки рассказываешь!..

— Думаете, нет? А как же?... он будет скорей, скорей... Куском за куском, куском за куском, — и все скушает!

— Не верю! Где тебе!..

Спор завязывается, сначала, перед чистыми тарелками, потом в действии, и, переходя с кушанья на кушанье, не смолкает ни на миг пока не докатывается до конца, — до чая.

Обеденный спор Боря ведет терпеливо, неспешно и упорно, и хотя сам сомневается в своих силах и способностях, однако и убежденности дяди Зная не придает никакого значения, — цепляется с ним слово за слово. Но спорить с несомненным не может, совершенно и быстро теряя самообладание.

Каждый день, приходя с мамой со службы, папа спрашивает Борю:

— Ну, как ты вел себя?

— Кажется, — ничего. Надо спросить Дашу.

Даша в этом деле неопровержимый авторитет, воплощение бесспорной истины. Ведь с нею вдвоем Боря проводит все дни.

— Даша! — кричит он горничной. — Как я вел себя? Ничего?

— Хорошо.

— Папа, она говорит, хорошо!

— Ну, молодчага!..

Боря прыгает от удовольствия. Все тело у него ликует. Кружась вокруг папы и ласкаясь, польщенный похвалой, он говорит с торжеством:

— Ему нравится, когда ты зовешь его — молодчага! Нравится...

Но однажды дядя Знай вздумал усумниться:

— А мне что-то кажется, что ты плохо вел себя.

Слова эти, точно струя воды, заливают огонь радости его маленького друга. И, нахмутив брови, Боря горячо протестует:

— Нет, хорошо! Вы же слышали: Даша сказала, хорошо!

— Это ничего не значит.

— Как же? Даша сказала и я сказал, — хорошо! — убедительно с оттенком досады и возмущения звенит голосок.

— Мало ли что ты сказал! А по моему все-таки плохо!..

Лицо Бори мгновенно покрывается тенью обиды, растерянности и бессилия. Крупные слезы скатываются из глаз. В беспомощном гневе он бежит к маме и, уткнувшись в колени, громко плачет.

Дядя Знай иногда теряет мягкую уступчивость и безразное отношение к чувству достоинства Бори. Несмотря

на явную любовь к нему, он часто, шутя, противопоставляет его детской наивности свою ироническую, упрямую, изощренную в многолетних спорах, насмешливую мысль. И насмешка эта — в глазах, в улыбке, в лице, в звуках голоса — хуже всего для Бори: она как игла, колет и обжигает болью. Нежное самолюбие не выносит задевающих, занозистых слов и сейчас же вскипает обидой. Но маленькое сердце незлопамятно и отходчиво.

Как-то вечером, мама почему-то рассердилась на дядю Зная.

— Я так на вас зла, так зла, что кажется, в мелкие кусочки бы вас искрошила!.. — говорит она ему.

Боря с недоумением смотрит на маму.

— Ужасно зла! В мелкие-мелкие кусочки так бы и уничтожила!..

У Бори останавливаются глаза. Жалость к дяде Зная прожигают его грудь.

— Если вы так сделаете, — говорит он маме на вы, и голос у него дрожит и губы дергаются от еле сдерживаемых слез, — если вы так сделаете, я не буду у вас жить... Уйду!..

Глаза его наполняются тяжелой, горькой влагой.

И так всегда: неожиданно для взрослых в их сложную жизнь вдвинет свое сердце и покажет.

В ранние, предвесенние дни, когда таял снег, он был поражен приходом немецких войск. По улицам, гудя тяжелыми, подкованными сапогами, тянулись серые колонны в серых глубоких шлемах, а Боря метался у окна и взволнованно спрашивал:

— Мама! Мамочка! — Почему же в них никто не стреляет? Почему их не убивают? Ведь это же немцы!..

И зачем ты мне не купила ружья? Я бы стрелял: бух, бух, бух!..

Мама, удивленная его горячностью и волнением, объяснила, что ему нельзя не только стрелять, но даже говорить про это.

— Мама, — как же?.. — ничего не мог он понять. А почему же немцы в русских стреляют, и когда папа был на войне, в папу стреляли? — Ведь это одинаково!..

И все у него спуталось, переплелось в тяжелый беспокойный клубок. А через несколько дней, придя с мамой в магазин, и увидев там немецкого лейтенанта, Боря долго смотрел в его льдисто-голубые, твердые глаза, наконец, не сдержался и, сделав руками жест, словно прикладывался к ружью, громко, уничтожающе, непримиримо крикнул:

— Бух!..

Лейтенант вспыхнул и отвернулся, а мама, мучительно покраснев, вышла из магазина.

День у Бори большой, долгий, полный неизъяснимого разнообразия чувств и впечатлений. Встает он рано, чуть свет.

— Вместе с петухами! — как сказал папа.

Это Боре понравилось, и теперь, просыпаясь, он поднимает голову и, с полуоткрытыми глазами, совсем еще сонным голосом тревожно спрашивает:

— Папа, петухи уже встали?

— Нет, нет. Еще спят! И ты спи.

Боря нежно улыбается, закрывает глаза и дремлет, пока совсем не просыпается. А днем рассказывает дяде Зная:

— Знанти, как у нас? Раньше всех встает папа. Потом петухи. Вместе с петухами — я. И уж после, —

мама. Мама у нас женщина: женщины после всех встают. А мужчин у нас только два: я и папа.

Иногда, впрочем, бывает, что Боря просыпается раньше папы. Тогда он заботливо и тихонько будит:

— Папочка, беленький! Свет в окно стучится!..

Папа совсем не беленький, но это слово у Бори обозначает высшую степень ласки и почтительности и прилагается только к папе в минуты особой душевной полноты.

II

Иногда, заложив руки за спину, Боря начинает ходить по комнате из угла в угол и петь, сначала неразборчиво, потом все яснее и яснее, вкладывая, вливая в немногие простые слова то, что видит внутренним, отрешенным от окружающего взором.

— Ты что это делаешь? — останавливает его мама.

— Стихи сочиняю.

Походит, походит, затем подойдет к папе. Точно подавая старательно выращенный спелый колос радостно скажет:

— Вот, папа, послушай: сочинил!

И пропоет несколько слов, которые у него сами собой сложились в задумчивом хождении.

— Теперь ты мне это нарисуй, папочка!

Так уж у них заведено: Боря сочиняет стихи, а папа берет кисточку, краски, тетрадь толстой бумаги и рисует то, что сочинилось.

Стихов сочинено, пока, немного — всего четыре, но Боря любит эти четыре страницы в папиной тетрадке больше всех картинок, какие у него есть. А стихи такие: «Летит галка за поездом», — это доставило изумленную

радость первого творчества, затем «На дороге цветут цветочки», потом «За морем сидит волк и плывет» и последнее — «В лесу растут грибы, солнце светит, как огонь»...

Но свои стихи сочиняются редко, они являются нечаянно, как счастливые, светло плывущие сны, — лирическое же настроение приходит часто и ищет выхода. Тогда Боря гуляет по комнате и поет:

— Здравствуй, свободна Россия!..

Ему смутно вспоминается солнечный весенний день в маленьком белом городке на берегу моря, где он еще недавно жил с мамой, большая толпа народа около церкви и какие-то веселые, смешные люди, которые поднимались один за другим на деревянный ящик и, улыбаясь, не то кричали, не то пели:

— Здравствуй свободна Россия!..

И неизменно каждому в ответ на это толпа шумно, кричала: «Ура!..» Громкие крики, оглушали, волновали, удивляли. Самое забавное и интересное в этом было то, что слова одного человека заставляли кричать в ответ всю огромную толпу. Так в памяти и осталось это яркое пятно: синее море, ослепительное солнце, белые лепестки цветущих садов и улыбающиеся лица, одно за другим повторяющее все тот же веселый, такой хороший, чудодейственный выкрик. И Боря, вспоминая, пел:

— Здравствуй, свободна Россия!..

— Да нет уже свободной России, — говорит дядя Знай. Боря останавливается.

— Нет?..

Он озадачен. Несколько мгновений молча и сосредоточенно думает. Потом подходит к дяде Знаю вплотную.

— Вы говорите, нет?

— Конечно, нет!

— Почему же нет?..

— А вот нет, и-каюк! Остались рожки да ножки.

Боря ничего не понимает. Глазки у него становятся рассеянно задумчивыми. С недоумением опускаются и поднимаются ресницы. Затем вдруг лицо оживляется, яснее и теплее, точно солнце, с которого начинает сплывать облако, и он говорит дяде Знаю:

— А у меня будет!.. Знати, когда я вырасту большой, у меня будет своя свободна Россия!..

И, успокоившись, довольный, что нашел выход, он снова принимается ходить от двери к двери, и сложив «ручку в ручку» у себя за спиной, поет.

А у дяди Зная лицо становится мягким, освещенным изнутри, значительным. Он привлекает к себе Борю и долго рассказывает, что такое Россия. Тот слушает, тербит пальчиками пуговицы его френча, весь поглощенный вниманием. И, когда дядя Знай начинает задавать ему, как школьнику, вопросы, он робким тоненьким голоском отвечает:

— Россия — мое отетество...

Слова для него не все еще открыты. Многие он понимает по своему, так, как никто и не догадывается, многие создает сам. О смысле слов у него было несколько разговоров со старшими, но те почему-то всегда обнаруживали странную непонятливость. Даже папа, и тот по несколько раз переспрашивал о самых ясных и несомненных словах.

— Я был уснутый, папочка, а потом проснулся, и мы с мамой в сахарницу пошли... — рассказывает Боря о каком-то происшествии.

— В сахарницу? — вскидывает брови папа.

— Да.

— В какую сахарницу?

— А где сахар продают! — Магазин такой. Ты думаешь, там всякова-всячева продают? Нет!.. Только сахар!

Или в другой раз. Явился небывалый человек и надо было о нем, конечно, сейчас же возвестить:

— Папа: к нам чиновник пришел!

А папа, будто без глаз, спрашивает:

— Где? Какой чиновник?

— А вот! Видишь? Печку чинит! — кричит Боря весело и смеется над папой.

Про дядю Зная и говорить нечего: тот часто в самых простых словах разобраться не может. Уж чего, кажется, проще такой случай. Подходит к нему Боря и спрашивает:

— Дядя Знай, вы знати, кто я? Знати?

— Нет.

— Нет? Я — стихольщик! — с торжеством вскидывая ершистую голову, объявляет Боря.

А дядя Знай даже глаза вытарашил:

— Стекольщик? Ты — стекольщик? — и смеется пренебрежительно.

— Да нет-же! Я стихольщик: стихи сочиняю!..

— А!.. — наконец-то догадывается дядя Знай и хохочет.

Трудно с большими договориться до точного понимания, а ничего не поделаешь, маленьких знакомых у Бори почти нет. Живет, играет, говорит и думает он только с большими, — от этого часто бывает очень скучно. Тогда неудержимо хочется бесноваться, бегать, прыгать, скакать, крутиться, шуметь. Но мама за это сердится.

— Что же мне делать, если меня шалости одолевают?... — оправдывается Боря, но этот довод на маму не действует.

Была у него знакомая, Вера, девочка лет восьми, она приходила по праздникам играть. С ней было очень весело и интересно, но у них вышел неприятный разговор о любви, и с тех пор Вера перестала нравиться.

Тогда был праздник. Папа куда-то ушел, мама с прислугой на кухне. Вера сидит на полу у окна и вырезывает ножницами из цветной бумаги разные фигурки. Боря стоит против нее и сосредоточенно наблюдает. Тут же клей, кисточка и тетрадка, куда наклеиваются вырезанные фигурки. Они один в комнате. И вот между ними неожиданно, как всякая неприятность, происходит объяснение в любви.

Не поднимая глаз от ножниц, только дрогнув тоненькими бровями, Вера спрашивает прямо, без обиняков:

— Ты любишь меня, Боря?

Боря добросовестно отвечает:

— Сначала люблю папу, потом маму, потом Ваську, а еще потом дядю Зная и потом вас...

Вера очень недовольна столь длинным перечислением, тем более, что ей известно: Васька, занявший место значительно впереди ее, рыжий, ленивый, пушистый кот.

— Я так не хочу! — говорит она обиженно и вскидывает холодные недружелюбные глаза. — Разве это любить, если Ваську прежде, а меня потом?... Не буду с тобой играть!..

И резко отодвигает бумагу, ножницы, игрушки, картинки, — весь прах Бориного имущества.

— Ну, хорошо, тогда я буду так любить... — чтобы предотвратить разрыв, поспешно говорит Боря: — Сначала папу, потом маму, потом вас, потом...

— Нет, не надо! «Потом, потом!»... — как истая женщина, жаждущая неразделенного сердца, возмущается, перебивает, передразнивает Вера. — Не хочу и не надо, не надо!..

Боря, угнетен, подавлен. Ему неловко. Он не знает, что сказать. Так неприятно видеть, что Вера рассердилась. Она, кажется, совсем готова уйти. Конечно, уйдет. Ужасно жаль ее потерять. Сейчас уйдет, и больше ее не будет. Боря колеблется, переступает с ноги на ногу, мигает ресницами и неуверенным голосом, стыдясь своего малодушного отречения от папы и от мамы, едва слышно произносит:

— Могу и вас первую... Что же...

Вера удовлетворена, но молчит, выдерживая достоинство. Берет ножницы, бумагу, и, как ни в чем не бывало, снова принимается вырезать.

Но Боря расстроен и уже охладевает к этому занятию. Он не может успокоиться и опомниться от того, что произошло. — «Папу и маму отодвинул назад, а ее, сказал, люблю больше всех», а это не так вовсе — уясняет он себе свой поступок, смотрит на Верину белокурую головку и вдруг ощущает, что ручеек неприязни к ней змейкой пробегает в его сердце. Она первая заставила его пережить вынужденное поправление его ценнейших чувств, — и он не простит ей этого, никогда...

III

По улицам Боря ходит всегда с мамой. Мама держит его за руку, а он прыгает, скачет и проходит, вероятно, расстояние раза в полтора большее, чем мама.

Но сегодня воскресенье, папе не надо идти на службу, и Боря отправляется гулять с папой. Это уже настоящий праздник: папа самый старший, самый большой и серьезный в доме, — и вот он идет рядом с Борей. Это очень значительная и важная прогулка, не то, что с мамой.

— Куда же мы пойдем? — интересуется Боря.

— Туда, где ты никогда еще не бывал. В монастырский сад.

— В мон... монастырский?

— Да. Это громадный, красивый, с оврагом, с мостиками сад. И монахи ходят по дорожкам. Черные такие. Вот увидишь...

Восторженная радость охватывает Борю. Он идет, улыбаясь и пританцовывая, поминутно задавая папе все новые и новые вопросы. Удивительные люди, эти старшие! Скажут что-нибудь, — и за их словами открываются и проплывают чудесные смутные пятна, в которых не все можно рассмотреть и охватить мыслью, но чувствуешь, что там таится очень много интересного. Надо только скорей спросить, разузнать, понять, а то не всегда успеваешь, и пятна скрываются, — тонут в какой-то мягкой темноте. Вот и сейчас: монастырский сад... Тут столько неясного, неизвестного, загадочного, необъяснимого.

— А там, папочка, фокусы какие-нибудь показывают?

— Выдумашь тоже! Конечно, нет.

— Почему?

— Потому что монастырь совсем не для этого устроен: там люди Богу молятся.

Боря несколько разочарован.

— А почему же в цирке показывают?

— Цирк — другое дело.

— А я думал, и в монастыре показывают!.. Знаешь, такие — китайские фокусы.

Дома он кувыркается на полу через голову, становится около стенки на руки, — это он называет: делать китайские фокусы.

Проходят мимо гимназии. Большие золотые буквы на синем фоне высокой вывески, огромные окна, белые стены и клумбы пышных цветов, восхищают Борю. У него являются быстрые, короткие, отрывочные, накладывающиеся друг на друга мысли-картины, и он спешит рассказать их папе.

— Знаешь, когда я буду не такой, — показывает он перед собой ручкой, согнутой в крышечку с тесно сжатыми пальчиками, — а вот такой! — вскидывает крышечку вверх, насколько сил хватает и даже на носках приподнимается. — Тогда я буду ходить в гимназию. Учиться... Знаешь, в какую гимназию?..

Он лукаво прищуривает один глаз, словно хочет открыть хитрый секрет, о котором папа совсем и не догадывается.

— В какую?

— Мне больше нравится девченская гимназия!..

— Вот так раз! — удивленно смеется папа. — Да ведь девченки — плаксы, ты же сам недавно говорил. А ты мужчина, плакать тебе не полагается по уставу, — смотри, брат, девченки, чего доброго научат. Как же тогда? Ведь это скандал получится...

— Скандал?.. — удрученно вянет вдруг упавший голосок.

— Ну, понятно, скандал!

Боря глубоко огорчен. Он не знает, как выпутаться из неприятной, самим же созданной истории и еще раз серьезно, совсем тихо спрашивает:

— Ты говоришь, скандал?

— Форменный скандал!

Мгновение он размышляет, наморщив от напряжения лоб мелкими морщинками, лицо у него тускнеет. Потом с еще непотухшим огорчением, но решительно Боря говорит:

— Тогда я, знаешь, папа, куда лучше поступлю? Где мальчишки учатся...

— Ну то-то.

В саду Боря не находит сил и средств выразить свое восторженное состояние. Все так безмерно, ярко и необыкновенно: деревья, расступающиеся, как приветливые хозяева, дорожки, которым не видно конца, цветы, усыпавшие нежными огоньками широкий луг и, самое поразительное — светло-желтые бабочки, бесшумно летают в синем воздухе. Боря с умиленной радостью разводит руками и, улыбаясь, приседая, еще не осмеливаясь на быстрые движения, осторожноенько, жалея траву, на цыпочках бежит за бабочками. Здесь каждый шаг полон необъяснимых чудес. Здесь даже солнце какое-то особенное: жарко печет, смешно слепит глаза и весело светится на желтых крыльях бабочек. В конце концов кажется даже, что это вовсе и не бабочки, а лепестки солнца щедро сыплются с неба...

Через несколько минут, пригнувшись, оглядываясь сияющими глазами, Боря подбегает к папе и, пораженный невыразимо, захлебываясь громко шепчет:

— Смотри, смотри! Ты видишь, какая большая бабочка! Видишь?... Как воробченок!... Серая! Мохнатая!... Смотри, села на дерево!...

И тут же внезапно изумляется, увидя муравьев:

— А это кто, папочка? Маленький-маленький, как крошечка, и ползет? Видишь — бегом!... Да их много!... О! О!... Смотри!...

Папа садится на скамейку, мимо которой муравьи снуют, как черный бисер. Внизу, вдаль, из-за деревьев видны синевато стальные обрывки реки, а за рекой — крутой каменистый берег, зеленые, чистые, словно старательно вымытые и расчесанные поля и среди них пыльная, светлая на солнце, полоска дороги. На самом горизонте остановилась матовая гряда ровного соснового леса.

— А что они едят, папочка?

Папа отрывает глаза от далей и секунду молчит, не понимая, о ком его спрашивают. Наконец, увидев текучий черный бисер, рассыпанный около Бориных ног, говорит первые слова, какие приходят в голову:

— Сахар любят.

— Сахар? Ну, хорошо!...

Боря прыгает от быстрой, приятной мысли, наклоняется к муравьям и с нежной заботливостью, тихо, будто посвящая их в заговорщицкую тайну, говорит:

— Я вам завтра сахару принесу! Маленькими такими кусочками! Попрошу, чтобы мама мне накопила и принесу.

Он чувствует себя неотъемлимой капелькой открывшегося неизяснимого мира, ощущает прилив родственной любви к нему и хочет радостной дружбы со всем и со всеми, особенно с этими крошечными муравьями.

Но сидеть долго на одном месте нельзя, когда кругом так много любопытного и интересного, — Боря зовет папу дальше. Они начинают спускаться с крутой горки в ложину, усеянную цветами, с журчливым ручьем по середине. Боря выдергивает ручку и, с упоением еще неиспытанной храбрости, пробует сойти с крутизны самостоятельно.

— Смотри, папочка, я не боюсь! Видишь? Я не упаду, нет!.. Я — крымский! Вот видишь? Вот! Даже ни разу не запнулся... — звенит он, сбегая вниз.

И еще раз, пояснительно, с спокойной, уверенной гордостью повторяет:

— Я крымский!..

Рвет цветы, мечется от одного к другому, от маленького и нежного к большому и более яркому. Цветов так много и они так хороши, что у Бори разбегаются, расточаются глаза. Он срывает только одни головки и складывает их в игрушечную деревянную чашечку. Солнце печет ему щеки, нежным румянцем озаряет лицо, теплый воздух плавает кругом и вверх, как прозрачное легкое море, и так густ, что, кажется, его можно пошупать, зажать в кулачек.

Однако, пора уже и домой. Усталый, довольный, весь наполненный впечатлениями, как звенящий маленький улей, налитый медом, Боря с блаженной улыбкой шагает с папой по каменному тротуару.

Недалеко от дома, на перекрестке, навстречу попадает какой-то очень знакомый, смешной дядя. Он раскланивается с папой, показывая из под седых усов сияющие белизной и крепостью зубы.

— Папочка это кто такой? — никак не может вспомнить Боря.

— Как? Неужели ты забыл? Ведь это же Василий Петрович! Помнишь ты еще сказал как-то: «Этот дядя мне нравится, потому что он пушистенький, как Васька?»..

— А почему он честь отдает? Он бульшувик?

Но не ждет ответа: некогда, — в мозгу проносится навая мысль.

— Папочка, а почему Василь Питрович старый, а ты не старый?

— Потому что он раньше меня родился.

— Раньше? А когда он умрет?.. Ты будешь плакать, если он умрет?

Дома он, вертясь, излучая буйную радость, почти кричит, передавая свои впечатления, которых не в силах удержать: они изливаются, как вода из переполненной чаши:

— Мама! Мама! Сад!.. Монастырский!.. И бабочки там, муравьи!.. — Он не находит дальше слов: так огромен, необъятен и невместим в определения виденный им мир.

Вспомнив про цветы, Боря лучшие преподносит маме, а остальные торопливо, с деловой серьезностью пересыпает в маленькую красную кружку, заливает водой и ставит на опрокинутую вверх дном круглую жестяную коробку.

— Ты что это изобретаешь, алхимик? — спрашивает папа.

— Нет, я не избиритаю! Я варить буду. Готовить. Это у меня плита.

— Что же варить будешь?

— Что?..

Боря секунду соображает: он варил уже разные кушанья, — надо что-нибудь новое придумать. И вдруг

обрадованно вспоминает слово, которое слышал от старших и которое очень его прельстило своей загадочностью.

— Кутюрьму!..

И прыгает вокруг кружечки, похожий на маленького шамана.

За обедом дядя Знай предлагает ему заключить условие: кто отстанет и позже свой сун с'ест, того за уши теревить.

— Согласен?

— Ну, ладно... — как начинающий, неопытный, еще несмелый, но уже почувствовавший сладость азарта игрок, блестит серыми глазками Боря.

И из всех сил старается с'есть суп раньше дядя Знай. Молчаливо, не глядя по сторонам, и даже не болтая ногами, вскидывая только соревнующие, опасливые взоры в тарелку противника, он ест быстро, как никогда. А дядя Знай подзадоривает:

— Ой, смотрите, у него уже немного осталось! Совсем мало... Батюшки, ведь мне не догнать! Что же это такое? Вот беда! Будут мои уши плакать!..

А Боря поспешно глотает суп, стучит о дно тарелки торопливой ложкой и, наконец, торжествующе заявляет:

— Кончил! Я кончил!..

Дядя Знай притворно хнычет и вытирает громадными кулаками мнимые слезы.

— Вы знайти, почему я так скоро кончил? Знайти?... — радостно захлебываясь, звенит Боря. — Потому что у меня зубя, как автомобиль!

Дядя Знай, подавляя улыбку, спрашивает:

— Когда же ты меня будешь за уши теревить: сейчас, или после обеда?

Лицо Бори вдруг из лукавого и улыбающегося становится серьезным. После мгновенного раздумья он говорит тихо, но непоколебимо:

— Никогда не буду. Ни сейчас не буду, ни после обеда не буду! Никогда...

Когда кончается обеденное состязание, и спорить уже больше не о чем, мама спрашивает:

— Дать тебе конфетку, мальченок?

В таких случаях Боря всегда держится в высшей степени независимо и солидно. Поэтому чуть-чуть поведя глазом, он с достоинством отвечает:

— Могу скушать, если хочешь... — и делает ручкой такой жест, который должен великодушно изобразить: «Что-ж делать, если ты нуждаешься в таком одолжении!..»

Однако не выдерживает: в глазах выпыхивают яркие огоньки сначала ожидания, потом — обладания.

IV

После обеда дядя Знай и мама уходят покупать билеты в театр. Боря остается с папой на полной свободе. Покончив с конфеткой, он идет играть в сад, и в доме сразу наступает тишина.

Сонно звенят мухи. Сквозь раскрытые окна в комнаты льется густой, дышащий разогретыми цветами и древесной листвой, ленивый ласковый жар. Где-то далеко, чуть слышно, глухо и сыто поет петух.

Через несколько минут торопливо, расстроенно семеня ножками, Боря вбегает к папе. Лицо у него взволнованное, глаза утратили прозрачную ясность, горят возбуждением и еще каким-то большим неопределенным чувством.

— Папа, папа! Можно мне полено взять?..

Папа перелистывает книгу и равнодушно, не отрываясь от страниц, спрашивает:

— Зачем тебе полено?

— Там я шел в садике!.. А у забора трава. И она меня укусила. Вот видишь? Посмотри!.. Высокая такая, — это наверно крапива!.. — спеша, волнуясь все больше, захлебываясь словами, трепеща от обиды, рассказывает Боря.

— Так для чего же тебе полено? — не понимает папа.

— Я пойду ее бить!.. — решительно и мстительно звенить голосок.

Папа успокаивает Борю. И, немного погодя, примиренный, он берется за игрушки в комнате, в своем уголке. Однако одному играть скоро становится скучно. Тогда он снова идет к папе — показывать свое искусство.

— Папа, посмотри! Видишь? Они купили, эти большие человеки, глины для цветов, а я из нее себе стряпню сделал...

— Кто же эти большие человеки?

— Мама, горнишна.

— А, хорошо!.. Ну, иди, играй! Мне некогда.

— Некогда?

— Да, деточка. У меня работа спешная. Иди чем-нибудь займись.

Боря огорченно отходит. Он медленно, раздумывая, шагает из одной комнаты в другую, отыскивая глазами что-нибудь интересное для игры. — «Мамы нет, папа работает, Даша ушла гулять», — тянется в голове унылая мысль, — «все игры уже переиграны, очень одному скучно»...

И вдруг — Васька, мягкий, смирный, старый кот. Васька золотисто-рыж, в полоску, как зебра, пушист, тих и ласков. Боря подхватывает его, гладит, носит на руках, кормит остатками обеда, высказывает ему какие-то отрывочные соображения. А Васька жмуро, глубоко и нежно мурлычит, будто веретено жужжит. Он послушен и податлив, — мнется в Бориных руках, как мягкий пуховый платок. Игра с ним приятна и ненадоедлива: это единственное живое существо, которое всецело подчиняется, принадлежит и не возражает. Васька покладистый, молчаливый друг и вместе с тем зависимый, беспрекословный раб, доставляющий Боре сладостное чувство властелина, обладателя, победоносного распорядителя. Полный тихого удовольствия, он носит его в самых невозможных позах, перекладывая с руки на руку, мнет и давит, ничуть не считаясь ни с Васькиными удобствами, ни с Васькиными боками, ни с его чувством боли. Целует его, прижимается щекой к пушистой мягкой шее, шопотом называет самыми ласковыми именами. Васька сначала терпеливо переносит все свои перемещения и испытания, но потом, очевидно найдя, что мера терпения переполнена, обиженно перестает мурлыкать. Боре это не нравится.

— Что же ты? Пой, Васька! Пой!

Но Васька глух, нем, — и даже насторожился недружелюбно. Боря начинает его тормошить и мять крепче. Беспрекословный раб неожиданно оказывает сопротивление. Это совсем озадачивает Борю, он ничего не понимает, и никак не может догадаться, почему произошла такая внезапная перемена. Сжимает замолчавшего приятеля еще крепче. Тот делает решительное усилие, вырывается, и скачками выбегает через кухню на улицу.

Боря бежит за ним, но Васьки и след простыл: он перемахнул через досчатый забор в чужой огород и притаился там под широкими листьями цветущей тыквы.

Боря, стоя на крыльце, приседает на корточки и начинает тихо и ласково звать:

— Вася! Вася!...

Васька оскорбленно затаился, не шевельнется, звука не подает и только острыми желтыми глазами следит за своим расстроенным хозяином и господином.

— Вась, иди ко мне!... Вася!...

Но все ласковые зовы остаются безответными: Васька молчит, злорадно вытаращив узкие зрачки. Тогда Боря торопливо бежит в кухню и отыскивает котлеты, оставленные на ужин. Он знает, что их трогать нельзя, что из-за этого может выйти крупный разговор с мамой, но размолвка с другом недавно еще покорным так ему не приятна, что он решается лучше выслушать самые тяжелые укоры мамы, чем допустить, чтобы Васька не был побежден в своем упорном своеволии и неподчинении. Взяв котлету, и, уже улыбаясь, уверенный в неотразимом действии придуманной хитрости, Боря снова выбегает на крыльцо и принимается вкрадчиво приманивать:

— Вася, иди сюда! Видишь?... — и показывает, протягивая руку, насколько возможно, в сторону Васьки.

Но Васька необъяснимо тверд, неумолим и непреклонен. Сидит неподвижно и сверлит пронзительными, недоверчивыми глазами. Боря ошеломлен неудачей. Что предпринять дальше?

— Васька же! Тебе говорят!... — возвышает он голос, уже закипая возмущением.

Однако и это не действует. Боря чувствует себя оскорбленным в конце. Ласковый, послушный, безответ-

ный раб отвергает его нежнейшие чувства, упрямо не откликается, не ценит любви, не хочет вернуться. И даже котлета, взятая с сознанием обреченности на неприятность, не помогает. Боря охватывает быстрый, горячий злобный туман. Он швыряет котлету и, чтобы не расплакаться от обиды, а главное, чтобы Васька не видел его унижительного бессилия, уходит в дом. Там он долго стоит в безмолвии около своей кровати, переживая в себе прилив гнева и ненависти Ваську больше всего на свете.

Немного остывнув, смягчившись и успокоившись, он берется рассеянными руками за игрушки, но игра идет вяло, нескладно, неохотно. Осадок горечи не исчезает и затемняет все вещи...

И вдруг, чутко оглянувшись на неясные мягкие шаги, Боря видит: к комнату виновато, бочком, около стенки, входит Васька. Все озлобление Бори против него внезапно вспыхивает с непобедимой силой, Боря бросается схватывает оскорбителя и, стараясь не шуметь, выходит из кухни — в гневном замешательстве и взволнованности, почти растерянный, не зная, как и чем отомстить Ваське за проявленное непокорство. С тяжело бьющимся, загоревшимся сердцем он оглядывается по сторонам, стремительно оценивая все предметы. И вдруг, согнувшись, поспешно и уверенно идет к плите, открывает горячую духовку, сует туда врага и с ловкой торопливостью захлопывает дверцу... Стоит. Ждет. Васька начинает громко, испуганно мяукать в тесной, жаркой, и беспросветно темной железной коробке. Боря понимает, что наказал его слишком жестоко, но решения своего не меняет и, чтобы не обнаружить слабости по доброте уже дрогнувшего сердечника, чтобы заглушить жалобно за-

нвившую струну раскаяния, уходит из кухни. В бегающих зрачках его и во всей фигуре — сознание своей несправедливости, неправоты, почти вины. Медленными, неслушающимися шагами отходит он от безумно мяукающего и мечущегося Васьки.

— Почему это Васька пищит так страшно? — отрывается папа от книги и, взглянув на сына, сразу видит, что случилось что-то неладное.

— Ты что с ним сделал?

Но Боря молчит и смотрит исподлобья потускневшими, упорными, немymi глазами.

Папа идет в кухню и некоторое время никак не может сообразить, откуда раздастся отчаянный Васькин крик. Наконец догадавшись, открывает духовку, и Васька стрелой вылетает на пол, оставляя за собой запах припаленого волоса.

— Ты что это, озорник, сделал?.. — накидывается папа на молчаливого Борю. — Ты знаешь, что Васька мог задохнуться, испечься?

Ему смешно, но он делает сердитым голос и сурово говорит:

— Не надо мне такого сына! Ступай, куда хочешь, живи, как знаешь. Не слушаешься, озорничаешь, Ваську обижаешь, — не надо мне тебя! Прогоню на улицу совсем. И домой не смей показываться!

В эту минуту возвращается мама с дядей Знаем, и папа громко рассказывает им всю историю.

Боря подавлен. Рыдания подступают ему к горлу. Губы дергаются и кривятся, расплываясь против воли, против всех усилий в едкую, горькую, болезненную гримасу. Ему кажется, что он жалок и ничтожен. Хорошо еще, что дядя Знай добрый — улыбается мягкой, понимающей

улыбкой, а то Боря не удержал бы готового брызнуть горячего дождя слез, от которого тесно, душно и тяжело в груди.

Он стоит маленький, тихий, растерянный и убитый. Не поднимая глаз чувствует, что взоры всех устремлены на него.

— Что, дружок, прогоняют тебя? — участливо кладет ему на плечо свою тяжелую широкую руку дядя Знай.

Боря молча, с жалкой беспомощностью, кивает головой и отворачивается. Губы его вздрагивают...

— Ну, что же? Пойдем жить ко мне, — продолжает утешительно и мягко дядя Знай. — У меня есть кот еще лучше Васьки, делай с ним, что хочешь. Будешь мне самовар ставить, за хлебом в лавочку бегать, обед готовить... Согласен?

— Со... согласен... — через силу, глухо, срывающимся и дрожащим голосом отвечает Боря.

— А раз согласен, собирай свои вещи, одевайся и пойдем, — нарочно остро ставит вопрос дядя Знай.

Наступает напряженная, глубокая тишина. Медленно передвигая ногами, как во сне, Боря отыскивает свое беленькое пальто, белую матросскую шапочку с георгиевскими лентами, берет две-три самых любимых игрушки и нерешительно останавливается перед дядей Знаем.

— Готов?

Снова беззвучно Боря кивает головой.

— Что-ж, идем... — дядя Знай сам в замешательстве и не знает, как безболезненнее кончить всю эту историю. И вдруг ухватывается еще за один предлог, первый мелькнувший в мыслях. — Да! Ты ведь не простился еще ни с кем. Надо проститься.

Боря подходит к маме и безмолвно протягивает ей холодную маленькую ручку.

— Там, кажется, Даша пришла, — оттягивает момент ухода дядя Знай. — Иди и с ней простиись

Боря направляется в кухню, и оттуда слышен его расстронный, негромкий, налитый горечью и покорностью судьбе голос:

— Прощайте, Даша! Ухожу жить к дяде Знаю и не приду сюда больше никогда. Вот!.. Я заприл Ваську в духовку, а папа меня за это прогнал... Прощайте...

Он возвращается в столовую уже с гораздо большим самообладанием, исполненный жертвенной, страдающей решимости и проходит, глядя мимо папы. Он не поднимает высоко своих глаз, словно веки у него остановились на горизонтальном уровне и не позволяют взглянуть на что-нибудь, расположенное выше.

— Как ты думаешь, надо, пожалуй, и с Васькой проститься? — говорит дядя Знай.

— Могу и с Васькой...

Но Васьки нигде нет. Напуганный жарким заточением, он скрылся бесследно, и Боря не может его найти.

— А как же с папой? Не простился еще?

Боря смотрит вбок, в окно. Взгляд у него утомленно-взволнованный, упорно сторожащийся, не прямой, налитый обидчивым слезным огнем. Нервно теребят друг друга тоненькие пальчики.

— Не хочешь?

Избегая ответа, Боря тихо произносит:

— Я уже готов. Пойдемте...

Снова наступает минута напряженного молчания. Чтобы поставить Борю перед невозможностью уйти, дядя Знай пускается на последнюю хитрость:

— Знаешь, голубчик, мне надо здесь немного посидеть, поговорить с папой по важным делам и я останусь. А ты иди. Вот тебе ключ от моей квартиры, иди приготовить самовар и все, что полагается.

Боря растерянно вскидывает глаза. Он знает, что дядя Знай живет через несколько улиц, по которым он никогда один не ходил. Путь представляется неясным и страшным. Мгновение маленькое сердце колеблется, но самолюбие и еще что-то, быть может, отчаяние говорят, что отступления нет. Боря берет большой, тяжелый ключ и, потупив голову, выходит на крыльцо. Спускается со ступенек и медленно идет по двору, к калитке, на улицу, туда, где, свистя и звеня, несутся трамваи, грохочут по мостовой колеса, — в шумную, бездонную утробу непостижимого города. Среди широкого двора, одинокого и тихо шагающий, он кажется таким маленьким и потерян-ным, как белая песчинка, занесенная ветром, в груды мусора. Крупные, неслышные слезы катятся у него по щекам и застилают дорогу, перед глазами плывут зыбкие пятна, но он идет, не оглядываясь и не поднимая опущенной головы.

— Боря, куда же ты? — не выдерживает мама. — Крошечка!.. Если папа тебя прогнал, то ведь я совсем не прогоняла, — и ты смело можешь жить у меня. Подумай-ка! Да и с папой мы как-нибудь сговоримся...

Боря робко возвращается и отдает ключ дяде Знаю. А после примирения с папой затихает, как полевой кустик после бури, и несколько минут стоит безмолвно и не шевелясь, не то прислушиваясь к разговору старших, не то сосредоточенно задумавшись о чем-то.

А вечером, перед тем, как лечь спать, с успокоенным, беззлобным сердцем, он предлагает папе:

— Давай, что-ли, походим!..

Это самое любимое его занятие. Да и папа рад: конечно, надо походить, а то ему все кажется, что толстые умные книги с длинных полок смотрят на него укоризненно и осуждающе.

Взявшись за руки, они долго ходят по комнатам. И тут Боре являются нежные, уютные, теплые мысли.

— Когда мы поедем во Францию, папочка, французка будет там приходить заниматься ко мне?..

— Ну, конечно!

Лежа в кровати, зажмурив глаза, он в несколько мгновений вспоминает весь прошедший день. Он так огромен и необъятен. Сонмы чувств, самых разнообразных рождались и вспыхивали в груди. Стаи мыслей, как птицы, пролетали, улетали, менялись, стремительно носились, кружились, сверкали в голове. И то, что пережито с светлого утреннего часа до темной тишины, похожей на бархатную убаюкивающую лодку, — вся эта масса переплетенных радостей, горестей и волнений, — проплывает перед ним, как изливающееся разноцветными, радужными клубами облако, как сонное видение. Горит напеченное солнцем лицо, сладко смыкаются веки.

А завтра такой же огромный и непостижимый океан жизни будет биться, плескаться, ударять в это человеческое сердце, омывать его своими волнами...

Владимир Лидин

ЗАЦВЕТАЕТ ЖИЗНЬ

I

Ночь, киневшая мартовской бурей, застеклянела утром. Утро мутною стылью возникало, лилось, застревая в ветвях большого оттепельного сада. И утром вышло солнце. Оно затеплило март, как восковую свечу, загораясь сахарным блеском зернистого снега, коричневеющего на бульварах, сиянием луж на площадях. И утром в коридорах громадного многоколонного здания горнист звонко, картаво будил несколько сот здоровых молодых мужчин, крепкими легкими вдыхавших утренний холодеющий воздух. В это утро хоронили начальника.

Только две недели назад, стиснув локтем портфель, в своей длинной зеленоватой машине, разбивавшей весенние лужи, подъезжал он к широким ступеням, к цепенеющим часовым, легко взбегал по лестнице, несмотря на свои 46 лет, — был усидчив, внимателен, трудолюбив — в своем большом кабинете, где в окнах был белый трудовой свет рабочего дня и где на гигантской карте, распнятой вдоль стены, раскинулись части, гарнизоны, базы — все, чем управлял он властно, единолично, ревниво. Только

две недели назад он был единственным, незаменимым никем, как некий буддийский бог заседавший в своем таинственном кабинете, откуда нервно вздрагивали сухие звонки на коммутаторе, батареей цветных кнопок связанный с миром. Отсюда по проводам неслась его воля, его звериная осторожность, тонкий ум знатока, — и тогда казалось, что если бы его вдруг не стало, все полетело бы в хаосе, смешалось, расстроилось, сбилось. Но он болел две недели, и две недели уже под'езжал в деловой утренний час на его же зеленоватой машине заместитель, тридцатилетний, годившийся ему в сыновья, как то затерявшийся первоначально в глубине большого его кабинета, — но ничто не расстроилось, ничто не полетело в хаос, а также вздрагивал коммутатор сигналами, также несли бумаги на подпись, и никто уже не находил заместителя слишком моложавым, старики — перекрестные генералы также вытягивались перед ним по-военному, и слегка наивная подпись без росчерка так же означала его волю, осторожность и сметку. Приказы с его именем уже летели по проводам, жизнь шла обычным порядком, словно никто не был вычеркнут из ее списка, — все приходило в положенные часы, горбились над столами, стучали на машинках, дежурили, как две недели, месяц, год назад.

Заместитель приезжал к десяти часам. Он был просто способный, смелый человек, никакими особенными знаниями не отличался, но участвовал в боях, имел два ордена, и новое звание, честь и положение дались ему не трудом и бессонницами, а скорее удачливостью, смелым очерком голубоватых глаз, путаной льняною копной над мужественным прекрасным лбом. Он, кроме того, был пытлив и решителен, — и о нем уже говорили, как об

удачном и достойном заместителе того, кто казался до этой поры незаменимым. Старики-генералы, заведывающие частями, отделениями, — быстро свыклись с его молоджавостью, он был начальство, как всякое другое начальство, отдавал приказанья решительно, и они уже привычно вытягивались перед ним, приспосабливались к его особенностям и характеру, каждый по своему стараясь закрепить себя в его мнении. И теперь уж казалось, что ничего исключительного не было в таланте незаменимого, он был заменим, как и всякий другой, — и вовсе не надо было всех его знаний, трудов и навыков, а достаточно было иметь память и волю, и так же по гигантской карте двигались части, расквартировывались, получали довольствие, сменялись и пополнялись. И кресло, просиженное тем, даже кресло, с которым делил тот все труды свои и бессонницы, — и оно изменило, продажно вытягивая ручки со львиными мордами для нового пришельца. Он был здесь уже полноправным, ходил по кабинету, в котором никто не курил, прокуривая его своим табаком, отдыхал на широком диване, по-хозяйски откликаясь на стук в матовую стеклянную дверь.

В конце первой недели, на той же длинной зеленоватой машине, он ехал на заседание совета. Он выступал в нем в первый раз, тщательно обдумал доклад, старался себя охладить, внушить себе, что это лишь подробность текущей работы, в сущности временной для него, — но он уже ревниво привык к своему положению, болезнь незаменимого затягивалась и была угрожающей, и он думал о закреплении за собой этого дара судьбы, который уже не казался ему случайным... И хотя еще в ходе болезни того не было никакого решительного поворота, все уже свыклись с тем, что его нет и не будет, и старики-гене-

ралы говорили уже о новом назначении, словно не две лишь недели назад вскакивали на сухие разряды звонков того и смотрели почтительно на его коротко-остриженную голову, отблескивающую серебром, и на знаки выслуг и знаний на левой стороне груди.

Заседание совета было в малой круглой зале, откуда давно уже работой, плакатами, табаком вытеснен был старый фрейлинский дух. И заместитель, входя сюда впервые, оттого что мало кого знал и оттого что казалось ему, что все тотчас же обратят внимание на его молодость, но все были заняты своими делами, просматривали бумаги, курили, сидели на подоконниках, и он вдруг задосадовал на себя за то, что так старательно отпускал светлую бородку, чтобы казаться старше. Никто не обратил на него внимания, и он подумал вдруг, что точно так же, как он возник здесь, так здесь его и не станет, как неделю назад не стало того, — а жизнь будет идти своим порядком с заседаниями, сменами, назначениями — обычными буднями, для которых нет человеческого судьбы. И ему на миг стало страшно. Но это было лишь на миг, он совсем не был склонен к раздумиям и настроениям, и он вместе же с другими присел на окошко выкурить папироску.

О том, что начальник болен и тяжело болен — знали здесь все, — и еще в то утро, когда он почувствовал недомогание и дневной свет показался ему слишком белым и неприятным, но он все же хотел превозмочь себя и поехать на службу, — он не знал, что все уже давно учтено, его изнуренность и утомленность, и что у него, считавшегося до сих пор единственным и незаменимым, есть уже заместитель, и найдется другой, если только будет необходимость. Да он и не мог думать об этом,

он только-только перешагнул за ту черту, когда устроится жизнь, неустанным трудом, многими жертвами добился положения, работал усердно; он был еще очень крепок, слегка сух, жилист — мужчины такого рода не стареют, а лишь подсыхают, отблескивая серебром в остриженных волосах; френч сидел на нем еще шеголевато, он нет-нет любил оглядеть себя в зеркале, свою кавалерийскую выправку, с легкой игрой маленьких серебряных шпор. И все, кто заходили к нему в кабинет, — все знали это легкое подрагиванье скулы, коричневатые, еще прекрасные пальцы, сжавшие телефонную трубку, подравнивание карманною пилочкой больших твердых ногтей. Он жил одиноко, как вдовец, на холостой казенной квартире, — но вот уже год как сворачивал автомобиль с вечерних длительных заседаний в узенький переулок, зимой — в снежной вязи, сплетенной над ним; весной — в липовом глубоком аромате, — к деревянному домику, где в сухом тепле, с чудесным блеском карих, слегка татарских глаз ждало его двадцати-двуухлетнее существо, обожавшее его выправку, седые виски, позднюю взвешенную страсть, — все, что чудесно было связано с ним, с его именем, с его положением. И там, в тепле низеньких комнат, он забывал о делах, о портфеле с бумагами, обо всей настойчивой, беспокойной, взбудораженной жизни, которой отдавал он с таким избытком ум, труд и тщеславие.

Он помнил ясно, как это пришло, как это находило на него несколько дней подряд накануне того туманного утра, когда он понял, что болен, и когда впервые за все годы его труда сухой разряд телефона известил помощника, что на службу он не придет. Март был над городом, начало марта, мутное, как первые полыньи. Из марта, на несколько дней блеснувшего солнцем, весной,

— неся косой мокрый снег. Снег тотчас же таял, но кое-где на путях, на пустырях заносил — там март походил на октябрь. Автомобиль, в котором возвращался начальник, пролетал бульварами коричнево-снежными, — путь был знаком, знакома была выгнутая спина шоффера в желтом кожане с заплатой меж лопаток. Еще было на плечах обычное заседание, табачный дым, которого он не выносил, сметы, приказы, лежавшие в тугом портфеле, и весь бег автомобиля был как бы кратким переходом к последующему деловому часу, — но он подумал вдруг с облегчением, что уже шесть часов, в канцеляриях громадного здания тишина вечерних дежурств, в служебном его кабинете тепло и пустынно, — и можно вот так — минуту, пять, десять — просидеть в кресле, не двигаясь, не вспоминая, не думая ни о чем... Это желание бездумия приходило к нему несколько раз, он неизменно боролся с ним, но за последние дни оно находило все чаще, и он уже отдавался ему, как отдавался тому неопределимому желанию, которое сворачивало его автомобиль вечерами в знакомый узенький переулок.

Автомобиль, разнося лужи, легко пролетел через площадь, к огромному серо-колонному зданию, и он бодро, спустя минуту, стал подниматься по лестнице все сорок девять ступенек, к длинному коридору, в рдеющих отблесках печей. В округлых окнах его кабинета стояла синеватая тень мартовского предвечерья, — и уже вечерняя тишина была во всем здании, далекий стрекозиный полет телефонных звонков, редкие шаги коридором. И как бы переходя от труда к труду, он деловито сел в кресло, потянул привычно бумаги, приподнял было трубку телефона, — но вдруг откинувшись, скрестив пальцы, ощутил, наконец, то желанное бездумие, когда лишь лег-

кий звон крови в ушах и прохлада на веках, легчайшая, вечная... Это была всего лишь минута, но она длилась блаженно, — бесконечно, — он страхнул ее с усилием, собрал себя, поднял телефонную трубку — и дальше покатилась деловая, обычная жизнь, стопки телеграмм, вечерние голоса — все привычное, шедшее изо дня в день. Он работал еще два часа усидчиво, методически, собрал бумаги в портфель для ночного просмотра, сложил нужные на утро под стеклянное пресс-папье, — он возвращался домой, чтобы сесть, отдохнув, за суровую ночную работу, — но, откинувшись в глубине несущейся бульваром машины, сразу озябнув, он ощутил вдруг страх перед этим деловым одиноким вечером — и уже минутой спустя машина сворачивала в сторону от бульвара, к такому узкому переулку.

И та, что ждала его, — она, наверно, тоже была в этот вечер полна каких то неясных и неожиданных чувств — она была нежна с ним необычайно, болезненно ощущая в себе эту нежность к его седым вискам, к бьющемуся его тяжелому сердцу, — сама не зная причины этой нежности и согревая его чудесным теплом чуть татарских прекрасных глаз. Ей правилось в нем все — суховатая твердость скули, скупая улыбка маленьких губ под подстриженными седыми усами, чуть хищная изогнутость твердых белых ногтей, — и она отдавала ему с восторгом и нежностью всю свою двадцатидвухлетнюю молодость и раннюю испушенность. Она владела им всем, недоступным и таинственным для других, она знала в нем то, чего никто не знал — все его малые слабости, его сон, его усталость, — и замыкала в себе это маленькое торжество женщины, наивное тщеславие и ревнивую тайну. Сказать ей в ту ночь, что меньше чем через месяц она по-

теряет его навсегда, — она бы не колеблясь ответила, что жить без него не станет. Она помнила еще, как под утро, провожая его, она все не могла досыта с ним проститься, она все не могла наглядеться в его запавшие глаза и тайком крестила его. И это талое утро, вставшее словно предчувствием, утро в мутных полыньях, в трудном тумане показалось ей вдруг таким бесконечным и как бы протянутым на всю жизнь.

В это утро не поборол он себя впервые, он был болен и слаб, — и в это утро его машина впервые вернулась пустой — свет марта был слишком бел и широко входил в его открытые глаза, обращенные к окнам. То, что он строил с таким упорством, навыком и трудом, — все это в одно утро стало невесомым, несуществующим, как легкий цветочный пух. Там, за окнами, продолжалась жизнь, снежная роза зимы таяла мартом — зацветала новая, еще спеленутая тугими зелеными лепестками. И так же трещали звонки в громадном здании, неслись по проводам телеграммы, двигались части, шло довольствие, сменялись дежурства, — и был уже для него, незаменимого, заместитель, правда и удача которого были в том, что он был молод, смел, с прекрасным очерком глаз и льняною копной над свежим упорным лбом. И на заседании совета, где он излагал свой доклад, меньше вникали в существо доклада, а больше в то, что он был чуть взволнован, говорил временами звонким и как бы мальчишеским голосом, он был горяч и молод, это было равноценно знаниям и навыку, — и всем доклад показался значительнее, чем был он на самом деле, а поправки — подробностями. И когда, после заседания, еще разгоряченный, он складывал бумаги в портфель, его перехватил по дороге секретарь председателя совета и повел за собой в его ка-

бинет. Председатель отпивал крепкий чай и курил, чего он никогда не делал на людях, — он был здесь как бы дома, на отдыхе, и говорил домашним негромким голосом, — этим он как бы подчеркивал установившееся равенство их положений. Он задал ему несколько деловых коротких вопросов, и вдруг сказал как бы с нарочитым доверием, чтобы он озаботился заранее о тех военных почестях, которые необходимо будет оказать начальнику в случае его смерти.

В сущности, этим и кончилась короткая их беседа, но заместитель спускался по лестнице и ехал далее на своей открытой машине с бьющимся сердцем. Он велел ехать не домой, где ждали его с обедом, а назад, он убеждал себя, что возвращается в служебный свой кабинет для того, чтобы сейчас же наметить те части, которые будут назначены для оказания последних почестей; что это его долг и честь, чтобы почести были возможно торжественны, как почести вождю и учителю, — но он не мог признаться себе в том, что едет, чтобы остаться одному в кабинете, где скоро будет он полновластен; чтобы еще раз повторить в уме и проверить весь свой короткий разговор с председателем, столь значительный для него и утверждающий его в том, о чем он только думал украдкой и что теперь уже казалось ему естественным и неизбежным.

И он легко взбежал по лестнице, сел, чуть запыхавшись, в кресло и взялся за трубку, чтобы вызвать помощника и обсудить с ним вместе весь план, но вместо этого назвал номер своего домашнего телефона и бодрым, веселым голосом сказал жене, что опоздал, что страшно голоден и что скоро придет к обеду.

II

Сестра, сменявшая на ночь дневную, опоздала на четверть часа. Она была обыкновенно очень аккуратна, как все стареющие безлюбые женщины; приходила минута в минуту на дежурства, исполняла с мелочной точностью все предписания врача, была с больными ровна, покойна и терпелива; очень чистоплотна; очень опытна. Она определяла зачастую судьбу больных еще задолго до решения врачей — одним безошибочным инстинктом и теми неуловимыми приметами, которые значили для нее более всех решений, историй болезней и догадок врачей. И уже в первый день, когда привезли сюда, в отдельную лучшую палату, начальника, она еще до прихода врачей определила его судьбу и то, что жизни ему осталось две недели — не более. Она бы даже не могла объяснить, на чем строились ее выводы — это было скорее как бы ощущение жизни близкого ее завершения, которые она угадывала шестым чувством, рожденным в ней этой постоянной близостью к страданиям и смерти. И она знала еще ту слабую игру скулы профессора, которая означала, что он считает положение безнадежным, но он обязан принять все меры, направленные к удлинению жизни, наполнять мускулы сердца новым искусственным упорством, поддерживать горячий бег крови. Но и она — раньше, и профессор — позднее, и еще два профессора — затем — все уже знали ту роковую изношенность сердца нового больного, которое не восстановить никакими способами, а можно только поддерживать, поддерживать страданиями, дозами, — и все уже точно сговорились играть в эту игру продолжения жизни, которой не могло быть, — профессора приходили, перечитывали историю болезни, отменяли назна-

чения, увеличивали дозы; сестры сменяли пузыри со льдом, облегчали ему желудок, усиленно питали, — но изношенный механизм слабел, зубцы стирались и не приводили в движение друг друга, — все медленно, неуклонно шло к тому последнему хаосу, когда в механизме все спутается, сотрется, станет.

И сестра, собираясь на дежурство в своей холостой неогретой комнате, аккуратно размерив по деловым часикам в браслетке время, какое ей нужно, чтобы дожидаться трамвая и проделать весь путь, — вспомнила вдруг, что забыла с утра промыть глаз маленькой кофейной собаченке, жившей у хозяйки в той же квартире. Она была очень сердобольна, жалостлива к животным, и аккуратно уже третий день промывала глаз искусанной собачонке. Времени в браслетке оставалось в обрез, и если даже выйти сейчас же, надо было б спешить, — но она подумала тотчас же, сама себе не признавшись в этом, что тот уже осужден все равно, а кофейная собачонка была умница, сторож, жестоко искусана в смысленный черный глазок, — и сестра деловито пошла за нею на кухню, привела ее и промыла ей глаз, и собачка доверчиво мигала здоровым, уже веселела и готовилась продолжать свою молодую собачью жизнь.

В коридорах была уже вечерняя тишина, в матовом свету редких лампочек отблескивали масляные стены, в палатах тяжело, горяче спали больные, и спали глубоко и живительно — выздоравливающие. И хотя те, кто был болен, требовали больше ухода, забот и дежурств, — все бессознательно, начиная от простых сиделок и кончая профессорами, — все больше помышляли о выздоравливающих, утверждавших обновленную жизнью их заботы,

труды и бессонницы, — в то время как первые могли еще внезапно сорвать ту сложную сеть, которую изо дня в день вязали все вокруг искусно и трудолюбиво.

И профессор с блестящим розовым черепом, в ослепительно-белом халате, одна из лучших и дорогих знаменитостей, и другой — старичок-профессор, седенький как пепел и низенький, и третий — с розовой шеей от хорошего питания, сорокапятилетний красавец с прекрасною гривой с легким серебром на висках — все имена, малые боги, — все играли в эту искусную игру, совещались, комбинировали, меняли решения, хотя все трое давно знали все наперед. Но первый из них — с розовым черепом — уже со второго своего посещения почувствовал разочарование — случай был обыкновенный и ничем не замечательный, а ему нужны были случаи только необыкновенные, сложные, которые он коллекционировал для своих теорий и лекций, — а он по малой слабости всякого большого человека считал себя продолжателем плеяды русских знаменитых клиницистов; и он два уже раза прислал заместителя. И высокий красавец тоже охладел к пациенту — он привык к гениальным решениям, к новым способам, которые утверждали его славу и ловкость, а здесь было нечего делать, надо было только присутствовать при процессе, который нельзя изменить, и он уже бросился в другой случай, необычайно тяжелый, из которого хотел выйти победителем, заранее предвкушая это торжество добычливого ловца жизни. И только третий, пепельный старичок, одна из тех добросовестных посредственностей, которые избегают новых рискованных средств, а придерживаются старой испытанной школы — он один продолжал быть аккуратно — по своей обязанности, ровно расписанной в книжечке.

Он был сух, малоразговорчив, чрезвычайно занят, и начальник уже страдал от этого казавшегося ему невнимания к нему, как к обыкновенному рядовому больному. Ему все казалось, что его мало спрашивают, не уделяют ему достаточно внимания, не окружают его тем уходом, на который он имеет право своим положением и значением для государства. В сущности, с того дня, как он почувствовал слабость, отсутствие сил — прошло немногим больше недели, и положение не ухудшилось для него никакими особенными страданиями, к нему были внимательны, его навещали, около него во все часы, когда можно было бывать посетителям, находилась та, которая отдала ему свою молодость, — он уже считал себя незаслуженно забытым, он не верил ей, мучил ее расспросами и догадками, которые распалял в себе без всякого повода. Первые дни, когда он лежал еще у себя на квартире, он хотел быть в курсе всех дел, он велел докладывать ему обо всем происходящем, — но уже через два дня никто не приехал, и хотя врач и запретил ему заниматься делами, он объяснил себе это невниманием, происками заместителя, взволновался — и все это кончилось новым припадком, от которого очнулся он только в этой масляно-серой палате, где должен был уже остаться до конца.

Его дважды посетил сын, молодой удачливый инженер, чрезвычайно на него похожий. Он очень любил отца, хотя и не часто встречался с ним, всегда им гордился, — был очень озабочен и огорчен его болезнью. Вдруг наступило некое улучшение, и как все молодые, здоровые люди, он быстро успокоился, поверил в хороший исход — и снова уже погрузился в свою деловую кипучую жизнь, которая неожиданно для него блеснула ему

заграничную командировкою с ответственным и увлекательным поручением, заполнившая всю его жизнь. Он, правда, ежедневно осведомлялся по телефону о здоровье отца, но ответы были односложны, ухудшения не наступало, и он отдался со всей своей молодой предприимчивостью открывшейся возможности. Он рассчитывал, что командировка эта послужит началом его большой карьеры, даст ему опыт и деньги, — словом, все то, чем строится и сколачивается жизнь. И он обрел прежнюю, незатуманенную веселость духа и волю к жизни.

В различных частях, при поверках и сборах, сообщалось о болезни начальника и читались тексты тех пожеланий, которые посылали ему со всех концов, — и все триста, пятьсот, тысяча здоровых парней, только-только отшедших от утреннего крепкого сна, дыша морозными дымками на холодеющем утре, посылали сочувствие, свертывали цыгарки, отправлялись с подсумками, песнями на занятия. И в громадном белоколонном зале, где собрались из канцелярий всех этажей, заместитель тоже предлагал послать ему пожелания, и все сочувственно и охотно подписывали лист, потому что собрание было созвано за полчаса до конца занятий, и можно было прямо с собрания идти по домам, и потому еще, что в этот день выдали, наконец, наградные, которых все ждали два месяца, — и теперь всем — молоденьким машинисткам и старичкам-генералам — всем одинаково хотелось поскорей в эту сумасшедшую, неверную и трудную жизнь.

За эти дни март тронулся, и начиналась весна. Люди еще выползали на улицы, точно слежавшиеся зимние шубы, но плечам под пальто и шинелями было уже тепло от солнца, женщины были бледны и прекрасно утомлены, и неожиданно стали слышны во дворах петухи. Все это

шумело, несло ручьями, переблескивалось, с шумом срывалось в сточные трубы — март догорал свечей пред апрелем.

И тот, пальцам которого подчинялась до этих пор та трудная, сложная система, раскинутая на карте страны, нити, сплетенные им с таким трудом и упорством, продолжавшие жить и пульсировать и без него, — у того не было теперь никакой уже власти, даже над собою самим, отданным в руки врачей, сестер и сиделок. Он перешел в круг других интересов, разделенных на еду, страдания, осмотры и на единственные, неповторяемые часы близости с той, которая единственно осталась с ним. Она была еще очень молода, впервые узнала горе, и сначала лишь ужас и пустота овладели ею; она весь первый день не знала, куда себя девать, не знала конца слезам, — но уже на второе утро она поднялась деловито, полная женской решимости быть подле него, с ним, отдать себя всю до конца заботе о нем. Она выходила из дому заранее, чтобы не пропустить ни одной минуты свидания, — она изучила весь этот путь через талый мартовский город, коричнево-мутными бульварами, мимо развалин домов, площадей в стылых лужах, мимо самодовольно-красного рака пивной, скучных желтых казарм, к тому заваленному снегом проулку, где к коричневой уже сети деревьев сада обращены были большие холодные стекла. Она трепетала первые дни, сидя подле него, наблюдая его глухую борьбу, — но мало по малу острота первого ужаса становилась глуше, жизнь ее уже точно разметилась между часами приема, путь через город, в котором она различала лишь камни, туманы, развалины домов, — пересекался вдруг лицами, живыми лицами людей, которые входили в трамвай, выходили, были еще по-зимнему оза-

бсчены, но солнце сияло уже битым стеклом луж, желтоватым теплом наполняя трамвай, как над пивной просвечивал винно-красно на солнце, и за стеклом сидели люди, пили пиво и улыбались.

То улучшение, которое вдруг наступило, успокоило и ее, она тоже поверила в хороший исход, раз опаздала на несколько минут, и раз, не признавшись в этом себе, ощутила в трамвае, что хорошо бы проехать мимо, дальше бульварами, полным кругом, не слышать больше упреков и подозрений, навстречу этим золотым пригоршням света и жизни, — но она даже не призналась себе в этой глубоко всколыхнувшейся мысли, — она была с ним в этот день нежнее, чем обычно, и возвращалась успокоенная собою. На другое утро в том же трамвае, глядя в окно вагона, она ощутила на себе взгляд — смотревший был молод, с веселыми голубыми глазами и бритой нежной губой; он смотрел беспечно, как веселый бездельник, и показался ей выходцем из другой жизни и как бы мертвым. В этот вечер март вдруг рухнул, шумя всю ночь ливнем, ветром и гулом, — и утром был тишайший легкий апрель. Воды неслись с ревом, мир был звонок, гулок и прозрачен, и в это утро казалось, что никакой беды не может быть и что все будет легко и чудесно, а если бы даже и случилась беда, непоправимое, — все ли уж так непоправимо, когда за раскрытым окном глубокий апрельский дух и золотые короткие ливни. И в этот апрельский день, когда она поверила, что все будет хорошо, и на площадке трамвая, увидев снова те же веселые голубые глаза, уже не отвела от них взгляда, а сердце словно лилось в горячей томительной пустоте, — в этот день то, что все они считали улучшением и что было, в сущности, малым лишь замедлением, — все это рухнуло вдруг, как

март в одну ночь, и понеслось к последнему хаосу. Изнешенное не восстанавливалось, оно только в последнем стремительном беге стирало все зубы; и тот, что лишь дни назад был сильным и полным волею к жизни, к труду, к ревнивой власти, меньше всего думавший о конце, существо одаренное, богатое знанием, поздней глубокою страстью, — все это в одну только ночь превратилось в развалины, еще по тупой инерции продолжая механическое бессмысленные жизни, уже полное только одного животного тупого страдания.

Сестра, дежурившая в эту ночь, не разбудила врача. Она знала все сама из давнего опыта, лед был положен, сильные средства впрыснуты, и то, что случилось с ним, было для нее лишь логическим завершением прошлой ночи, когда больной потребовал платье, машину, чтобы ехать домой — это были обычные последние сборы. И она обо всем распорядилась сама, и сама же ответила на ночной телефонный запрос, что сейчас все палаты заняты, но что к утру, вероятно, одна освободится, и можно будет привезти нового больного. Она очень хотела, чтобы все кончилось до утра и чтобы можно было вынести его из палаты, пока еще спали другие больные. Но он умирал мучительно долго, все утро и часть дня; и сын, и та, которая, обезумев, приехала утром, — все ожидали этого часа, который казался невозможным и которого все уже хотели скорее.

И уже часом спустя, после того как в последний раз дрогнули его веки и полились тончайшею желтизной, сын еще с заплаканными глазами звонил по телефону, — жизнь оставалась стремительно бегущей, не знающей часов раздумья или печали; она требовала забот, распоряжений, телефонных звонков, и уже в пятый раз с ночи

запрашивали, освободилась ли палата и можно ли привезти нового больного, пока дежурный врач не ответил, что палата освободилась и можно больного везти. И хотя двери палат были закрыты, пока его выносили в часовню, все больные уже знали о смерти, и все, даже те, кто хотел ее для себя, как разрешение безмерных страданий, — все в этот миг хотели жить, жить во что бы то ни стало, быть покорными, исполнять все предписания, только бы жить. За окнами был яркий теплый апрель, снег в саду таял и чернел, и в черных шапках гнезд уже начиналась жизнь. И выздоравливающие уже тянулись к этой жизни сквозь стекла, крепили от солнца, прислушивались с гулкой радостью к ровному бегу крови, ощущая аппетит, жажду двигаться, курить, возвращаясь понемногу ко всем своим обычным привычкам и склонностям.

И еще часом спустя поднимали уже на скрипящих носилках нового больного — жизнь шла своим порядком, и заместитель объявлял уже приказом о дне похорон начальника и о том, какие части примут участие в траурном шествии. План этот был разработан до мелочей, венки и цветы заказаны уже несколько дней назад — все было предусмотрено, и заместитель знал, что приказ о его назначении начальником, подписан уже три дня назад, и ему казалось, что он искренно скорбит об ушедшем, о его превосходном уме и таланте. Он назначил двух наиболее исполнительных сотрудников распорядителями, и они обо всем озаботились, заказали все что нужно, носились на автомобиле по городу, и уже к вечеру был начальник перевезен в тот громадный двухсветный зал, где только недавно вел он беседы и в котором торжественно затеялся теперь в массе крепа, тяжелой парчи, цветов, в травянистом запахе зелени и воска.

III

Люди, разбуженные в дортуарах горнистом, крикали, зевали, отхаркивались; бежали к десяткам медных кранов умывальников, плескались и вкусно фыркали, блестя обритурами на весну моржовыми головами и до красноты натирая полотенцами шеи. Они все были как звери на водопое, пускали друг в друга прижатой пальцем струей, как мальчишки, гоготали, на разные манеры и ноты полоскали горло, чистили здоровые белые зубы, тут же насупротив присаживались на открытых стульчаках облегчиться — по звериному, натуживаясь, ни на кого не обращая внимания; натягивали, сидя на постелях, щегольские сапоги, заправляя рубахи в штаны, напевая отстоявшимися утренними голосами — все, как всегда перед занятиями. Они пили затем в сводчатой столовой из кружек чай, с удовольствием обжигая горло и хрустя прочно сахаром, напихивали рты хлебом, предвкушая долгую необычную прогулку, осведомлялись, что будет к обеду. Это были все молодцы не старше двадцатипяти лет, все в круглых шишках мускулов от трапедий, бега, футбола, гимнастики. Все были рады весне, теплу, прогулке, необычайному шествию, в котором примут участие, мало задумываясь о его причинах.

Части, назначенные для участия в процессии, были всех родов оружия. По заранее размеченной диспозиции, они должны были расположиться по пути шествия, вливаясь в процессию правильными интервалами и растягиваясь торжественно на версту, с таким расчетом, чтобы пехотные части чередовались с конными, замыкаясь артиллерией, которая грохотом не должна была мешать двум играющим в смену оркестрам. И уже час спустя первая

рота, под медное стenanье оркестра, выносила торжественно красный гроб и водружала его на лафет, на котором сурово отбыть был должен начальник, как старый воин. Солнце прорывало тучи, город загорался желтым пламенем, постепенно заполнявшимся тенью молочных облаков; тогда становилось прохладно, по-осеннему серовато, и пронзительней взывали медные глотки оркестра.

Первая рота, выносившая гроб и сопровождавшая его почетным эскортом, состояла из наиболее рослых, уже готовых к выпуску молодых щеголеватых людей; они были довольны выпавшей на их долю почетною ролью, рассматривали все это шествие, как образцовый парад, в котором они играли почетную и заметную роль. И они мало думали о том, кого сопровождали и кто мерно плыл на лафете под грусами цветов и венками, со старенькой одинокой фуражкой на крыше красного гроба: он был мертв и не видал, а кругом были живые, которые их видели, был новый начальник, перед которым они еще не проходили, и всем им казалось, что все это шествие только для торжества их ловкости, спайки и молодого тщеславия. И они мерно и бодро шли позади лафета, штыки в одну линию, излишне щеголяя выправкой, приноравливая прочный шаг к медным тактам оркестра.

По диспозиции конная часть вливалась в интервал между первой и второю ротой, и конная часть, дожидавшаяся на площади, разом колыхнулась, тронулась, зацокала копытами, звеня трензелями, подтягивая мундштуками пенные морды лошадей; лошади, все караковые как на подбор, все с белыми отметинами на ногах, точно родные сестры, — нервно ставили уши на беспокойство и звуки оркестра, грызли мундштуки, круто перебирая ногами. Особенно горячилась и ставила острые нервные

уши молоденькая веселая кобылка, крайняя на левом фланге: дело в том, что между ней и высоким гнедым жеребцом из второго взвода, еще когда строились части на площади, завязалась любовь. Все время жеребец, высекая искры копытом, беспокоил ее длительным и страстным ржанием, и кобылка коротко отвечала ему, грызя взмыленный мундштук. И сейчас, рванувшись от шенкеля, она подразнила его коротким взволнованным ржанием и покосилась назад, где он еще оставался стоять, гневно высекая ногой, готовым ринуться за нею вослед, с прижатой поводьями головой. Она несколько раз позвала его, пока он не ответил пронзительным ржанием, что следует за ней. Второй взвод, пропустив пехотную часть, вливался с пиками в шествие. Всадники, тоже все рослые, покачиваясь в седлах и скрипя кожей подкрыльев, тоже радовались весне, своей силе, лошеным щеголеватым лошадкам, бывшим в хорошем порядке, звонким переключениям кобылки и жеребца.

Музыка, устлавшая путь медным рыданьем, временами умолкала, и тогда слышался мерный стук тысячи тяжелых сапог, беспорядочный цок подков, позвякивание уздечек, громыхание артиллерии и пронзительные вопли жеребца, вовсе терявшего терпение. И потому, что ржали кони, и люди, ехавшие на них, были все ловки, прочны — все рослая, отборная порода, и потому, что оркестр далеко отдавался в зеленеющих рощицах, как походная бодрая музыка, — никто не думал о смерти и о том, что хоронят человека, который упорным трудом достиг всей этой торжественной славы, — а всем особенно хотелось жить, дышать незатуманенным сыроватым воздухом перелесков, тех коричневых весенних просторов, которые открывались за городом. И всадники, проезжая под за-

цветающими тополями, все сорвали себе по душистой ветке, едва проросшей сережками, и прикрепили к фуражкам и седлам, и с веток градом срывались большие свежие капли ночного дождя. Тополя зацветали, уже глубоко проливались липы клейкими запахами, и первая зелень была еще ядовито-ярка. Там, за городом, сизели весенние леса, коричневатые взгорья — бездольный простор с кочующими легкими облаками. День еще и другой, и вся эта легчайшая голубизна прольется над миром беспечностью летних дней, жизнью зацветающей каждый год в положенный час.

Вторая пехотная часть, шедшая за кавалерией, была мелкорослее, ни на какое особое отличие не надеялась и не очень заботилась о нем; это все были парни голе-настые, хорошие певуны с гиком и подсвистом, ловкачи на выдумки, — и сейчас вся часть была занята тем, что незаметно потешалась над крайним право-фланговым, главной заводилкой и мастером на всякие штуки. Это был долговязый парень, с подвижным плутоватым лицом, которому мог он мгновенно придать любую серьезность. Его звали все уменьшительно Рюхой за долговязость, и он отличался с веселой готовностью дать подзатыльник, сбить с толку, рассмешить во время занятий гримасою. И сейчас, начиная скучать от пути, он подражал ротному, шедшему впереди, до-смешного малому и затянутому, с розовым безусым лицом, в походных ремнях и с громадной желтой кобурой, бывшейся о жирную ляшку. Рюха пучил глаза, приседал незаметно, семеня ножками, и вся рота, взбодренная смехом и мыслью о скором отдыхе и обеде, к которому предстояла сегодня двойная мясная порция, бодро шагала.

Часть за частью, шишаки, шлемы, пики, лошади — заполняли пространство, останавливая трамваи, собирая публику, предшествуемые тучами мальчишек, старавшихся попасть в ногу. Оркестры отдавались далеко, и публика из трамваев и из окон домов высывалась, до-вольная передышкой в деловом дне; только мотоциклеты обгоняли с треском и гулом, равнодушные ко всему, кроме своего пути. Там, впереди, в зелени, полуприкрытый боевым знаменем, баюкаемый надгробным рыданием, плыл тот, кто знал суровый Урал, и неприступный Сиваш, и туркестанские степи. Он узнал победу и славу, но победа и слава были нужны для живых, и поезда с живыми людьми одолевали хребет Урала, и разбивала трудовая мотыга Сиваш, и торговые караваны шли туркестанской степью. И для живых — восходила весна, дальними петушиными голосами звенел загородный простор, была неизменно зацветающая жизнь. Она зацветала вопреки всему, вопреки горю, страданию и смерти, и в этом была ее жестокая вечность — над малой человеческой судьбой и над короткою славой.

Кладбище за монастырской стеной было в буйном первом расцвете — под простором и облаками; и части, уже истомляемые понемногу жаждой, бодро подтягивались, ожидая привала и тени. Ординарец, хорошенький юноша, назначенный для поддержания порядка, всю дорогу скакал на серой сытой лошадке от части к части; лошадка весело временами начинала заскакивать, он был возбужден, доволен своею ролью, горячил лошадку. И сейчас, пригибаясь к седлу, он весело поскакал мимо частей, пока подтягивались те у входа, образуя каре, в котором сияли на солнце золотые надписи знамен и алел гроб в пушистой пене цветов. И так как части, в которых

были гневной жеребец и кобылка, расположились насупротив, и жеребцу не нужно было теперь втягивать воздух, чтобы почуять кобылку, он видел ее впереди, и она отвечала ему уже не задорно, а томным, глубоким голосом, им вторили другие жеребцы и кобылы, страстно надрывая весеннюю тишину, пока не грянули густо оркестры и ало не поплыл вглубь ворот поверх плеч и голов медленный гроб. И тотчас же, едва выплыл он в глубину и влилась за ним первая часть, штыками царапая бирюзу весеннего неба, — тотчас же снова картаво заиграл горнист на рожке, и весело поскакал ординарец, передавая команду — сдвоить ряды и возвращаться частям по домам. С цоком подков, с мерным стуком сворачивались тысячные массы, вытягиваясь в поток, — и едва лишь пехота влилась на широкую, уже по летнему подсыхающую и сереющую камнем улицу, как тотчас же на рысях обогнала ее конная часть, с плеском разбрызгивая лужи, уже заражаясь этой лихостью скачки и горяча лошадей, — в дожде сияющих брызг, закидывая пехоту лепешками. И пехота, сама ошеломятая этим полетом, отругиваясь сначала, тоже заразилась их лихостью. Сдирая фуражки, подставив солнцу загорелые мокрые лбы, она провожала их свистом, и вдруг кто то из середины вытянул залихватно тенорком первую фразу солдатской походной песни; он забрал высоко, переборами, и разом, вослед тенорку, обрушилась громада голосов, разбиваясь о стены, как бы раздвигая собой улицы, проникая грохотом в переулки, а тенорок все вытягивал и вытягивал в промежутках свое, и снова голоса рушились грохотом, пока отбивали камни сотни тяжелых сапог. Тенорок был весел и неумен, он будоражил всех и втягивал самых хмурых, — раскрывались зыком прочные глотки, сияли крепкие зубы и

потные круглые лбы, и уже подхватывали песню лихо с гиком и посвистом. И люди, спешившие по своим делам, все поворачивали головы и просветлялись, потому что выкидывал тенорок голосом коленца, и все, певшие вначале старательно, теперь улыбались, втягиваясь в эту круговую поруку голосов, заражаясь лихостью и бодростью жизни. Конные части, пронесившиеся назад под тополями, срывали на лету ветки, состязаясь в ловкости и норовя захватить подлиннее, лошади перекликались на лету ржанием, и молодому ординарцу, скакавшему теперь в карьер на своей серой лошадке, казалось, что он ведет в бой свою лихую конную часть.

Когда все было кончено, и под залпы закидан был холм цветами и алыми лентами, — заместитель возвращался к своей открытой машине. Он ехал назад деловито, работа ждала и требовала его, — но солнце било в глаза, машина ехала неспеша по тенистой провинциальной улице, и он вдруг с облегченьем подумал, что можно вернуться не тотчас же, а заехать домой. И он представил себе, как обрадуется жена этому его неожиданному возвращению, мгновенно наполнился дикой нежностью, вообразил этот голубой обожаемый пламень глаз, и велел ехать домой. Он почувствовал вдруг свои тридцать два года, мало растраченных, силу в руках, ту драгоценную тяжесть, какой была для него в жизни жена, легко взбежал по лестнице, открыл ключом дверь и пробежал далее в комнаты. Она стояла в утреннем платье, с пыльной тряпкой в руке, вся домашняя, светлая, восторженно удивленная; и он взял ее за руки, он хотел сказать все, что почувствовал по дороге, но не сказал ничего, потому что то, что перекинулось между ними, было сильнее слов. И он понес ее на руках, смятенную, трепетную ждущую,

— и на этот раз все это было так сильно и значительно, как никогда. Двадцать всего лишь минут ждала его машина, и уже через двадцать минут она везла его дальше, полного счастья, сил, желания труда и жизни.

IV

За одну ночь, разразившуюся ливнем и первой грозой, мир преобразился. Всю ночь из тяжелых лиловых туч неслись потоки, к утру гроза прошла, воздух наполнился чудесной дождевою прохладой. И за одну ночь распустились деревья. То, что еще туго собиралось почками, лопнуло вдруг и пролилось первой листвой. И та, которой казалось, что с жизнью в ней все уже кончено и которая бывала здесь каждый день, — она ощутила вдруг, идя по сыроватой дорожке, глубокое смутное томление. Она находила уже некую затаенную радость жизни в том, чтобы слушать здесь, в тишине, ход весенних дней, дальний шум города, скитальческие гудки паровозов, говорящие о просторах и о горьчайшей сладости жизни — скитаниях; и ей хотелось уже этих скитаний — бездумных, блаженных, сулящих неожиданные встречи...

В этот день, к вечеру, ее посетил его сын. Смерть отца, дела, полученная, наконец, командировка — все это давно смешалось в деловой его жизни, — и он уже несколько раз давал себе слово побывать у той, связи отца с которой он не одобрял и которая казалась ему существом обыкновенным, бесцветным и отца недостойным. Он ожидал, что его неожиданный приход смутит ее и внутренне готовился к тому, чтобы ободрить ее и смягчить для нее остроту положения. Но она встретила его полная достоинства, как молодая вдова; она была прелестна в своей печали, с этим удивительным блеском живых тем-

ных глаз, и он сам ощутил смущение и легкое волнение от близости к этой молодой женщине, которую избрал его отец в неравные спутницы. Он был очень похож на отца, такого же высокого роста, с очень нежным синеватым от бритья лицом, — и вдруг — в обоих них — глубоко, под тягчайшим грузом растерянности, пробудилась одна и та же мысль, что прежнее — неравное — было лишь временным, и что теперь все могло бы быть чудесно равно — она была моложе него всего на несколько лет, очаровательна своей суровой сдержанностью, печалью о том, кто был ему так же близок, и сердце его вдруг колыхнулось... Она глядела на него чуть туманно, очень нежно — он так походил на того, кого она любила, и в сущности, кому бы больше по праву могли принадлежать ее забота и сердце: оба они были связаны с одним, и переходили друг другу по наследству.

Но он тотчас же прогнал учтивой холодной фразой это чувство, и она подавила в себе эту мгновенную нежнейшую нежность. Он поговорил о делах, о последних днях отца и простился, обещая зайти еще до отъезда. Он деловито спустился по лестнице, перешел переулок и вдруг оглянулся назад, на ее окно. Она стояла в окне, провожая его долгим туманным взглядом. И он понял по тому, как забилося вдруг его сердце, что не только придет еще до отъезда, но не может не придти, и что, может быть, если б нужен был выбор — уехать или придти сюда еще раз, он бы никуда не уехал. И на этот раз она не могла понять, почему, отойдя от окна, она заплакала вдруг такими томительными и блаженными слезами, каких никогда не знала и которые так не походили на те слезы скорби и ужаса, которыми она оплакивала того.

Ромэн Роллан

БЕСЕДА РЕНАНА С ЮНОШЕЙ

Перевод с рукописи

Был конец 1886 г. Я только что поступил в Высшую Нормальную Школу. Весь первый месяц двадцать четыре молодых человека, прибывшие из четырех углов Франции и только что принятые, жадно изучали друг друга в бурных и горячих разговорах о всевозможных вопросах искусства и философии. В этот час жизни, все дороги казались разуму открытыми; он жаждал исследовать каждую до конца; с одной бросался на другую, все сокрушая на своем пути нетерпеливым рвением щенка. С первых же шагов мы были ошеломлены русскими романистами. Первое, что сделало наше маленькое общество любителей чтения, — оно приобрело «Бесов» Достоевского. Я был человеком, принесшим в старый дом на улице Ульм «Войну и Мир» Толстого; в другом месте *) я уже говорил о различных суждениях, высказанных с энтузиазмом по поводу этой книги-оркестра, которая отвечала каждому на его вопросы и с каждым говорила особым языком.

*) „Жизнь Толстого“.

Был и другой маг, чаровавший нас, возбуждая тысячу противоречивых мнений: это наш великий сосед, в Колеж де Франс — Ренан. Старый и окруженный славой, он все еще любил умственную игру, поэтическую борьбу мыслей, полную сладостного меда и возвышенной, трагической иронии. Больше всего я восторгался «Жрецом из Неми». И так как в наших противоречивых толкованиях каждый дерзко хотел заключить в сети своих умствования истину, эту вольную птицу, которую еще никто никогда не сумел поймать, то и я твердо уверял всех в стоицизме Ренана. Товарищи кричали, что это парадокс. Я не поколебался ни минуты, и призвал в судьи самого Ренана: я послал ему длинное письмо, в котором указывал, с апломбом еще юного человека, что именно надлежало думать Эрнесту Ренану.

Престарелый учитель был настолько добр, что тотчас же мне ответил и любезно пригласил меня к себе. В ближайшее воскресенье, 26 декабря, счастливый и взволнованный, я постучался у двери во втором этаже, в Колеж де Франс. Ренан был, как всегда, очарователен и любезен: он прекрасно знал, что молодые мыши любят сахар (да и старые тоже!...). Он говорил о моем письме, которое, по его словам, он запомнил наизусть; и задав несколько дружественных вопросов, разрешил и мне сделать то же самое. Мне совестно вспомнить, как нескромный подросток целый час заставлял говорить Ренана.

Все, что говорилось двадцатилетним мальчиком, вспоминать не любопытно, но слова старого человека, очень мудрого и очень терпеливого, принадлежат всем; и вот я их передаю. Я ручаюсь за строгую точность этих слов, ибо они были записаны мною по возвращении в Школу, в дневник, который сейчас передо мною. В то время, как

и их переписываю, я слышу добродушный, медленный и глубокий голос; в вижу крупную голову в пышной седине, осевшую немного тяжело в плечи, отяжелевшее тело, похожее на мешок, слишком широкий жилет, делающий ему на животе горб Полишинеля, — словом всю убогую ветхую оболочку уходящего тела; а внутри его — божественный свет, живой и сверкающий. Я помню свет сумрачного и белесого зимнего утра, холодный туман на дворе. Тишину. И под благодушным и лукавым взглядом, изучающим из-под тяжелых век, маленького студента, неподвижного, застывшего в своем пальто с поднятым воротником — (робкого до того, что не осмелился даже опустить воротник)....

Ренан:

— «.... Я отношусь с большим доверием к будущности человечества, но я обеспокоен за будущность Франции. Естественные вожди народа, аристократы, которым надлежит управлять страной, служить ей мерилom, совершенно отошли от общего движения. Церковь ее ничему не учит. К счастью, наш народ принадлежит к прекрасной, сильной расе. Он далек от того, чтобы быть столь же разумным, как мы, но у него есть нечто, чего мы лишены — расовый инстинкт. Он смел, он храбро дает себя убивать и не жалуется — несмотря на то, что за последние пятьдесят лет моральные ценности упали... Не так сильно, как думают, однако! Когда то католицизм предлагал народу строгую дисциплину. Эти времена прошли: как результат — мы видим некоторый беспорядок, не такой значительный, как это кажется. Что касается храбрости и нравственности, — современные французы стоят древних галлов... Но если бы наш народ

стал ничтожен, труслив, слаб и низок, надо бы пожелать, чтобы другой смелый и сильный, — завоевал его; — так и бывает всегда».

(Эти слова приводят нас к некоторым мыслям, выраженным в «Жреце из Неми». Р. Р. спрашивает Ренана, искренно ли он верит, что сны Антистия и Мудреца когданибудь осуществляются в действительности).

Ренан:

«За нас говорит беспределность Времени. Подумать, что наша планета будет существовать и через две тысячи лет!... Да что я говорю? Геолог доказал бы, что она будет существовать и через сто тысяч лет.... Невозможно себе этого представить. В особенности, за последние сто лет мы далеко ушли вперед. Телега прогресса... все продвигается и продвигается... Теперь — она летит на всех парах по проложенным рельсам. Но столько еще дела кругом! Прежде всего — эксплуатация земли. Земли достаточно для всех, достаточно и рук для нее; и однако же, тысячами люди умирают от голода и на тысячи лье тянутся пустыни... Да, земля вся должна быть эксплуатируемой людьми и объединить всех... Это, конечно, осуществится. Но я не желал бы, чтобы это случилось сейчас: для этого необходимо было бы воцарение тирана; свобода же — залог прогресса...

«Кроме того, столько народов пока не присоединились к общему делу Человечества! Например — славянские народы, которые принесут когданибудь с собой много новых элементов, готовность к жертвам, преданность, героизм... и, вместо с тем, тупые суеверия!.. Я хорошо знаю славянского гения благодаря Тургеневу — он был им сам. Это был мой друг. Без сомнения, эти народы дадут чело-

вечеству новые духовные богатства. Вместе с этим, они вносят и великое волнение в общее положение вещей. Но ведь варвары тоже немного возмутили общество IV века, а несмотря на это, человечество многим обязано».

(Р.Р. полон русскими идеями. Он говорит о Достоевском. Он спрашивает, надо ли верить его определению русского народа: «Народ-богоносец»? Может ли явиться новая религия из умственных и социальных движений в России).

Ренан:

«Да, русские еще дети; они с наивным самодовольством хотят создать новую религию. Но они ошибаются — догматизм более невозможен! Нет более и не может быть ни Иисуса Христа, ни Магомета... Чем дальше, тем более будут раз'единены вера и социальная жизнь. Через сто тысяч лет каждый будет верить во что хочет. Конечно, люди обучатся законам Долга, — это самое существенное и придет к ним само; это незаменимо для существования общества; и кроме того, это заложено в совесть каждого. Будут изучать также и математику и другие точные науки. Какое поле для деятельности! Здесь почти еще ничего не сделано. В астрономии — как далеко позади осталась прекрасная гипотеза Лапласа... Жизнь почти не изучена... Время-ли заботиться о Господе Боге...»

(В то время, как Ренан насмешливо говорит о «смерти Господа-Бога» и об окончании религиозных представлений, Р.Р., который уже около пяти лет назад ушел от католической веры своего детства, и который знает, каких тревог это стоит до тех пор, пока человек не находит вновь равновесия на краю бездны и создает себе новую веру

более доступную ему — пытается робко заговорить, вспоминая более слабых, которые этого никогда не достигнут).

— «Но не думаете ли Вы, что у многих душ не хватит силы уйти от Бога, который их направляет и любит? И что, если его от них отнять, они жестоко станут страдать? Смогут ли они вынести науку?»

Ренан, смеясь:

«Тем хуже для них, тем хуже для них, если они будут раздавлены наукой! Лучше бы и не начинали искать истины!»

Затем, он как бы читает в мыслях, видит сомнения юноши. Он вспоминает, что сам когда то был юн и говорит:

«Вы находите, что современный религиозный переход мучителен, что полу-наука, которой кичатся посредственные умы опаснее полного невежества? Нет; она лучше, ибо ведет к истинной науке. Не надо отчаиваться, даже и в трудное время. Несмотря на все — успех обеспечен. Взгляните: что мы изучаем сейчас? а сто лет назад? а двести? И есть, и будет случайный поворот назад. Тогда нам покажется, что все созданное до сих пор — погибло. Не беспокойтесь! Дорога человечества — дорога торная; есть уступы, есть повороты; иногда кажется, что стоишь спиной к цели. Но к цели приближаешься всегда» *).

И Ренан в общих чертах набрасывает ход мирового прогресса: еврейский народ, — первый, требующий Спра-

*) Я привел на память эти две строчки в статье: „Дорога, ведущая вверх“, написанной во время войны (декабрь 1916) и напечатанной в книге „Предвестники“.

подливости к слабым; христианство, — прекрасное моральное и никуда негодное умственное влияние»... (И я должен сказать, что на этом последнем положении Ренан настаивает).

Ренан:

...«Христианство было невероятной помехой человеческому разуму. Вы мне скажете, что это варвары, но нет, это оно навлекло на нас ночь средневековья, которая чуть не стала вечной; эти пытки, это невежество... Ничего нет более страшного для будущего человечества, как наши суеверия, ничего более мрачного, как когда люди, думая, что обладают истиной, заставляют всех людей в это верить, мешают другим искать истину. Здесь — смерть человеческого разума. И даже великое влияние христианства было благотворно лишь потому, что люди тогда были здоровее. Взгляните на христианство Востока: его влияние не больше влияний иных религий...

«О, я знаю, что еще предстоит католические реакции! Их будет несколько, но они будут кратки! Догматизм стал невозможен... И потом, — прогресс науки доказывает все большую абсурдность старых религиозных принципов; и природа и Бог перерастают себя... Да, конечно, люди предпочли бы маленькую вселенную, принадлежащую им всецело, с Господом-Богом во главе, иногда грозящим им пальцем!... (Снова в голосе насмешка). Но этот Бог, будьте уверены, умер и похоронен. Он более не существует... Другой — быть может, да. Бог, т. е. все, что есть.

«Если бы мы были принуждены видеть всегда мир, как сегодня, в сером тумане, (он указал на окно) мы

бы выдумали себе вселенную! Лишь малое число ученых угадало бы за всем этим и солнце и луну»...

«Не отчаивайтесь! — (это повторил он несколько раз). — Жизнь хороша; она — создание благодетельного демиурга. Подумайте, сколько радостей в ней, как для людей высокой духовной жизни, так и для людей посредственных. Мне шестьдесят четыре года. Если я проживу еще несколько лет*) — я умру удовлетворенным. Видеть в течении шестидесяти лет все то, что я видел, — прекрасную вселенную, труды человеческого разума, — это великое и чудесное зрелище! Надо привыкнуть к мысли, что нельзя узнать всего. Вы слишком много требуете от жизни, по крайней мере, люди духа! Поверьте, люди духа и раньше были не меньше вас потрясены и смущены; может быть, даже и больше...»

Затем он спросил меня о моей жизни, о моих товарищах в Нормальной Школе: много ли мы занимаемся? Я ответил, что мы особенно много читаем и спорим.

«Это лучшее, что можно делать, сказал он. Хотя я и очень уважаю высшую школу, но нахожу чтение более полезным, нежели уроки учителей... Есть ли у вас желание заняться изысканиями в области природы или истории?»

«И там и здесь. Особенно, в области истории. Но я еще не решил, чему посвятить свое будущее. Я хочу в течении тех двух лет, пока буду в Школе, жить свободно и не ограничивать себя никакими категориями».

«Вы очень хорошо делаете; хорошо, когда человек, наблюдая всю природу вокруг себя, приобретает общие идеи. Но позже, специализируйтесь на чемнибудь, чтобы внести Вашу часть в общее дело человечества... Изуче-

*) Ренан умер через шесть лет в 1892 г.

ние латинского и греческого всегда будет основой всякого образования, но в них почти ничего уже нельзя открыть нового; в истории же, наоборот, остается сделать многое... Так мало достоверного и так много неизвестного! Если бы мы могли разобрать хотя бы только ассирийские иероглифы! Ведь у нас их на сорок томов, и каждый день находят все новые. Какой свет пролился бы на историю востока, на историю всего человечества!»

(Я не раз жалел, что не послушался этого Призыва к Азии, матери искусств и религий; два других голоса отзывали меня: это был голос Музыки и голос Италии, которые приковали меня к западному берегу на долго. Но я всегда оставался верным истории, ибо создавая свои романы или драмы, я чувствовал себя историком).

*

Наконец, я решаюсь покинуть престарелого труженика, которого заставил потерять целое утро. Его ироническое добродушие мешается с благодарностью, с немного устаревшей любезностью. Я уношу в себе образ «моего» стойка, который в то же время и эпикурец, и пессимист — оптимист, человек верующий и сомневающийся, человек настоящий и правдивый. Я думаю о тех, что стараются удержать в одной формуле эту гармонию противоречий, Музыку нашей переходной эпохи, нагруженную прошлым, богатую будущим, музыку, для которой еще не пришло *) время слиться с движением мысли, но которая, притихнув, наслаждается разнообразием ак-

*) Через год поднялся общественный шквал, (Буланжизм, Дело Дрейфуса) вновь потрясший Францию, пребывавшую после конвульсий 1871 г. в состоянии безмятежном, но плодотворном.

кордов ума. Бытие и небытие — Ренан принимает все; и «да», и «нет» — и «может быть» — все примиряет он.

«Жизнь значительна, но она не дорого стоит», — как бы говорит старый мудрец.

(Сказал ли он «но» или «так как»?) Во всяком случае, он мне сказал:

«Истинный философ — смел; он легче позволяет убивать себя, чем другие. Он видит тщету всего земного».

26 декабря 1923

Проф. К. Шухардт

РЕТРА И АРКОНА — ДВА ГЛАВНЫХ СЛАВЯНСКИХ СВЯТИЛИЩА В ГЕРМАНИИ

Перевод с рукописи

О Т Р Е Д А К Ц И И

По просьбе редакции, проф. К. Шухардт, директор исторического отдела берлинского этнографического музея, изложил в предлагаемой статье вкратце результаты чрезвычайно интересных раскопок, произведенных им в 1921—1922 г. г. и окончательно решивших давний спор о местоположении Ретры. Более подробные отчеты об этих работах, доложенные им Прусской Академии Наук, напечатаны в протоколах последней, *Sitzungsberichte der Preuss. Akademie der Wissensch.* 1921, p. 756—774 и 1923 p. 184—226.

Мы вправе рассчитывать на интерес наших читателей к этой теме в виду особого значения Ретры и Аркона в истории борьбы западного (полабского) славянства против надвигавшейся с юга и запада христианизации и германизации.

Напомним читателям, что славяне, начиная с V века по Рожд. Хр., заняли всю восточную и значительную часть средней Германии, продвинув свои аванпосты на запад далеко за Эльбу. Обратное движение, т. е. постепенное

вытеснение славян и колонизация края между Эльбой и Одером со стороны немцев, началось уже с VIII века, усилилось в начале IX в. при Карле Великом, велось затем с большим или меньшим нажимом в течение последующих веков и закончилось, как известно, полной германизацией всей области. Лишь жалкие остатки славянства уцелели и поныне в южной части ее, в лице так наз. лужицких сорбов.

В этой-то борьбе за племенную самобытность и за народную (языческую, конечно) веру выдвинулись, как последние оплоты славянства, сперва Ретра — лежавшая, как теперь оказывается, в Мекленбурге, километрах в 25 от нынешнего Ней-Стрелица, а затем, по разрушении ее в 1068 году, Аркона на крайней северной оконечности острова Рюгена.

Все сведения о характере этих укрепленных святилищ читатель найдет в статье.

Оригиналы планов составлены товарищем проф. Шухардта по раскопкам Р. Кольдеевым; прочие рисунки сделаны по фотографиям, снятым автором на местах и любезно представленным им редакции. Некоторые из них обнаруживаются здесь впервые.

Редакция

*

Славянская археология была в Германии до сих пор в загоне, и потому всюду, где за нее берутся энергично, она дает неожиданные и богатые результаты.

Господство славян в северо-восточной Германии продолжалось приблизительно с 7-го по 12-й век. До этого здесь жили в течение двух тысячелетий великие суевские народности, лангобарды и семноны, дальше же на север, вдоль побережья Балтийского моря — вандалы, бургунды и готы. От Эльбы до Вислы, приблизительно до Варшавы, ясно обнаруживаются их следы в могильниках с урнами Лужицкой керамики, а местами и в величественных городищах. Когда эти германские народности, в главной своей части, передвину-

лись на юг, и население страны поредело, с востока надвинулись славяне — не как завоеватели, а медленно и постепенно вкрадываясь.

Самыми заметными памятниками этого славянского периода являются круглые валы-укрепления, которые и по настоящее время возвышаются во многих местах между Эльбой и Вислой. В одной лишь Бранденбургской марке их насчитывают от 400 до 500. Славянский характер их был установлен еще Рудольфом Вирховом, но назначение их осталось долгое время спорным. В труде д-ра Бекла (1887), посвященном этим валам, автор объявляет их все без исключения святилищами: во время священнодействия, совершавшегося жрецами у алтаря расположенного в центре, участники торжества будто-бы сидели кругом на валу, как в римском амфитеатре. Очистить вполне все пространство, заключенное внутри такого вала, не удалось пока нигде. Подобные раскопки требуют много времени и денег и дают мало материала для коллекций, так как обыкновенно при этом находят только сломанную утварь. Но на основании исследования многих из этих валов начиная с 1919 года, мне удалось выяснить по крайней мере главные вопросы и установить следующее:

1) Окружающий вал первоначально отнюдь не имел того закругленного и мирного вида, как ныне, но представлял настоящую крепостную стену из дерева и земли, с отвесными боками как внутри так и снаружи. Сооружение в целом было, следовательно, не просто оградой, окружающей священное место, а настоящей, боевой крепостью.

2) Внутреннее помещение, которое всегда имеет только одну и ворота, обнаруживает следы домов, располагавшихся венком вдоль стен, оставляя посреди свободное пространство — крепостной двор.

Обычные славянские круглые валы, повидимому, представляют остатки небольших господских замков, в таком же виде, в каком они встречаются в это время и у германцев

в северо-западной Германии и Голландии, и в каком они, построенные уже из камня и видоизмененные в том или ином направлении, просуществовали в течение всего средневековья.

По наряду с этими городищами-поселениями должны были существовать и храмовые городища. О них специально говорят источники, и именно это послужило основанием для неверного предположения, будто все круглые валы — бывшие святилища. О двух из этих святилищ преимущественно идет речь во всех славянских преданиях: о Ретре — которая, очевидно, была общим святилищем всех лютичей между Эльбой и Одером в течение многих столетий, и об Арконе на северной оконечности острова Рюген, принявшей наследие Ретры, после того, как последняя пала жертвой надвинувшегося с юго-запада христианства. Именно эти святилища интересовали археологов в славянских землях больше всего другого. Знакомство с теми местами, где религиозное чувство целого народа достигало своего наивысшего проявления, связано с совсем особою прелестью. Когда мы вступаем в Дельфы или Олимпию, мы ощущаем в душе отзвук на те вечные вопросы, которые нашли выражение в этих памятниках греческой культуры.

Ретра и Аркона были подобные же священные места. Ни светский князь, ни магистрат в них не могли распорядиться. Тут царило жречество. Оно давало пророчества, оно решало вопросы войны и мира, оно же получало после счастливого похода лучшую часть военной добычи.

Храмы в этих двух святилищах подробно описываются в источниках. Это были большие деревянные постройки с огромной деревянной же статуей главного бога посреди и с рельефными изображениями других богов по стенам. В Арконе между четырьмя столбами стояло изображение Свантевита, основанием своим глубоко впущенное в землю. У бога были четыре головы, свидетельствовавшие о том, что он смотрит во все страны света. В Ретре бог назывался

Сварожичем (Swarosici) по русским преданиям сын Сварога, имя которого сохранилось и в мекленбургском и силезском слове «Swark» или «Schwark», что значит «грозовая туча». В Штеттине, в главном храме, расположенном в самом высоком месте города, стояло изображение бога Триглава. Все эти боги с разными именами — тот же бог неба и солнца, как греческий Зевс, германский Циу (Ziu) и римский Юпитер.

Аркона была известна всегда. Северная оконечность Рюгена, на которой стоит маяк, выдвигается с восточной стороны в море небольшим треугольным мысом; последний отделяется от суши мощным валом, имеющим и в настоящее время высоту в 9—10 метров, и образует таким образом крепость в форме равностороннего треугольника с основанием в 190 м. По сравнению с обычными славянскими круглыми валами, диаметр которых не превышает 60—90 м., размеры эти очень внушительны; но по сравнению со старыми городищами, это немного: семнонское укрепление около Потсдама, так называемое Römerschanze, представляет из себя косой четырехугольник с поперечником в 250 метров; городища саксов, которыми они пользовались во время борьбы с Карлом Великим, как напр. Эресбург на р. Димель, или Гогензибург при слиянии Рура и Ленне, имеют длину в 1000 и 700 метров. В городище Эресбург ныне помещается целый город Обермарсберг.

Итак, положение Арконы было всегда известно. Она часто посещалась туристами, благодаря своему живописному расположению, и привлекала также и исследователей старины, которые не упускали случая покопать там. При этом находили славянские черепки, а также древесный уголь и кости животных, которые благоговейно приносились домой как остатки больших жертвенных торжеств. Но какой вид имело это святилище во времена своей жизни, где стоял храм, какой он был величины, и что было вокруг него, — ответ на все эти вопросы предоставлялся фантазии посети-

телей. Никто и не думал о возможности найти реальные следы всего этого: ведь все было построено из дерева и несомненно истлело до основания.

С таким добровольным отказом от решения современная археологическая техника порвала. Во время раскопок римско-германского пограничного вала, т. наз. Limes, производившихся с 1892-го по 1902 г., мы научились распознавать с полной достоверностью следы древних построек в лежащей под почвой материнской породе, или т. наз. материке. Каждый столб и каждое вдавленное в материк бревно оставляет в нем углубление, которое заполняется потом черною и рыхлою землею и ясно заметно в окружающем более светлом материке даже по истечении нескольких тысячелетий. Таким образом удалось целиком восстановить план больших римских укреплений на Рейне (Neuss, Xanten) и на Липпе (Haltern и Oberaden) со всеми заключенными в них постройками.

1908 год, когда, после 20-летней деятельности в Ганновере, я был приглашен в Берлин и мог применить наш западно-германский опыт к этим неисследованным еще восточным областям, был для меня праздником. Раскопки произведенные в «Römerschanze» около Потсдама с его ясной конструкцией вала и большим германским «мегароном» послужили надолго образцом и примером. И когда меня затем стало манить всеми забытое славянство, то уже первая работа в этом направлении в 1919 году — исследование двух круглых валов близ Ретца в округе Арнсвальде — тотчас выяснила все существенное. Оказалось, что в каждом городище были только одни ворота; на валу возвышалась еще стена толщиной в 2 метра, фундамент которой был сложен из валунов, верхняя же часть построена из дерева и глины.

После этих подготовительных исследований, взор мой обратился на великие славянские святилища. Относительно Ретры приходилось прежде всего найти самое место, где она

находилась. Его искали уже начиная с 1519 года, но безуспешно. По описаниям Титмара Мерзебургского, мне удалось составить себе представление об этом священном городище — представление, резко отличавшееся от прежних. Было намечено и место, в Мекленбург-Стрелитце, где, по моему мнению, возвышалось когда то великое святилище. Но мне не хотелось начинать раскопок, не узнав сперва в Арконе, какие следы могут вообще остаться от славянского храма.

На этом основании, я в 1921 г. в течение 3-х недель производил раскопки в Арконе, вместе с своим другом Робертом Кольдевей и своим сыном. В этой, предоставленной бурям, крайней точке Германии (рис. 1), нам неоднократно приходилось часами укрываться от проливного дождя, но еще чаще мы имели возможность любоваться сверкавшим на солнце большим белым паромом, переправлявшимся из Сассница в Треллебург; вечером же, когда солнечный диск скрывался за туманным датским островом Мёен, мы наслаждались величественной игрой света, вызванной вращавшимися огнями маяка.

В Арконе мы повели наши пробные траншеи радиально — от стены городища к восточной оконечности (рис. 2). При этом скоро обнаружилось, что вблизи вала, на полосе шириною, приблизительно в 30 метров, земля была перемешана с угольями и глиняными черепками, а также костями животных и небольшими железными изделиями. В этой полосе вдоль вала были, следовательно, плотным рядом расположены дома. Дальше же к востоку никаких следов домов мы не нашли. Грунт был совершенно чистый и не дал никаких находок. Очевидно, здесь было свободное место, площадь. В этом чистом грунте — толстом слое светлосерой глины, покрывавшей лежащие ниже слои известняка, — мы усердно искали следы столбов и балок, составлявших когда то фундамент деревянного храма; однако, нам ничего не удавалось найти. Но вот однажды, один из наших много-



Рис. 1. Аркона. Обрыв к морю.

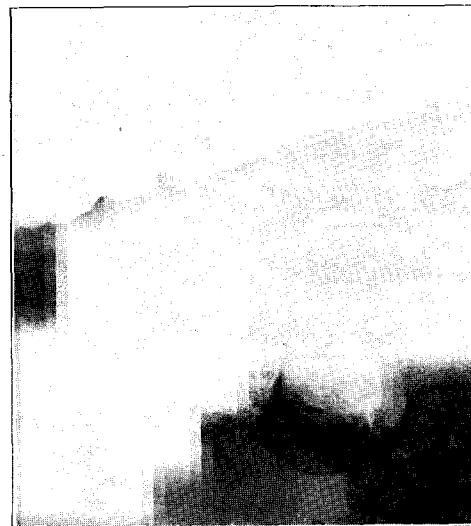


Рис. 3. Аркона. Камни, поддерживавшие изображение Святовита.

численных ежедневных посетителей рассказал мне, что он, будучи еще молодым инженером, присутствовал при том, когда в восточном углу городища устанавливали ряд сигнальных мачт; при этом, по его словам, на определенной глубине всегда приходилось с большим трудом проламывать какую то каменную кладку. Мы продолжили траншеи до этой восточной оконечности, — и каменная кладка, действительно, снова появилась: ее удалось целиком проследить и она оказалась фундаментом храма. Это был толстый слой кремней, величиною с кулак, имевший ширину в 2 метра при толщине до 5-ти камней и шедший в направлении с севера на юг. Кладка тянулась в этом направлении на протяжении 20 метров, затем в том и другом конце поворачивала под прямым углом на восток и продолжалась до обрыва, отстоявшего от северного конца всего только на 8 метров, а от южного на 18 метров. Мы, следовательно, нашли фундамент храма, восточная часть которого была ежегодно продвигавшимися на 1 фут обвалами увлечена в море. Естественно было после этого, двигаясь от западной стены, проследить внутреннюю часть храма и посмотреть, не сохранились ли какие-нибудь следы его внутреннего устройства. Первый датский историк, Saxo Grammaticus, написавший незадолго до 1200 года свое очень подробное сочинение «Gesta Danorum», по всей вероятности был в свите великого Вальдемара и его знаменитого канцлера Абсалона, епископа Зеландского, и был свидетелем покорения Арконы в 1168 году. Во всяком случае, он описывает городище, храм, изображение бога и самое разрушение так подробно, как будто он видел это сам. Датчане хитростью сожгли единственные ворота и, пробив таким образом брешь в укреплении, проникли в городище. Храм представлял большую деревянную постройку с 4-мя столбами внутри; они поддерживали крышу. От одного столба к другому висел занавес, скрывавший стоявшее посреди божество. Огромный деревянный идол был глубоко укреплен в земле. Одежда и прическа на нем были как у

ружан; но у него были 4 головы, смотревшие во все страны света. В руке у него был большой рог, наполнявшийся медом, и из него жрец ежегодно произносил свои предсказания о будущем урожае. Когда, после покорения Арконы, идола хотели опрокинуть, это оказалось не так просто. Двум датским дворянам было поручено надрубить ему большим топором ноги около щиколодок; после этого, на шею была накинута веревка, и великан был опрокинут. При падении, он пробил боковую стену храма. Последнюю разобрали, идола выволокли, и в датском лагере перед городищем в тот же вечер изрубили на мелкие куски для костров.

В полном соответствии с этим описанием, мы нашли в храме сначала фундаменты больших столбов, на расстоянии 6 метров от западной стены и тех же 6 метров — от боковых стен. Для трех столбов фундамент оказался налицо; четвертый, северо-восточный, стал уже жертвой обвала. Фундаменты столбов, также как и фундаменты стены храма, состояли из толстой кремневой кладки и имели форму четырехугольников в $1\frac{1}{2}$ м. в квадрате, или $1\frac{1}{4}$ м. : $1\frac{3}{4}$ м. Они расположены были на расстоянии 6 м. друг от друга и образовывали квадрат, показывая тем самым, что и храм имел форму квадрата (18 : 18 м.). Мы продолжали раскопки и внутри этого квадрата, чтобы посмотреть, не осталось ли следа в том месте, где стояло изображение Свантевита. И действительно, — он оказался налицо: большая яма (1,50 : 1,80), глубиной в 1 м., была расположена не в самой середине квадрата, а несколько сдвинута назад, к востоку. В яме лежали еще три больших валуна, около $\frac{1}{2}$ м. в поперечнике, которые, вероятно, служили клиньями, закреплявшими гигантскую статую (рис. 3). Все было настолько ясно и наглядно, что посетители, которых я провел от вала через полосу строений, площадь, границы храма и столбы до этого места схватили меня за руку и взволнованно сказали: «Как это прекрасно! Ведь теперь у нас полная картина городища и храма.»

Раскопки в Арконе пришлось, разумеется, засыпать, как всегда в тех случаях, когда имеешь дело не со стоячими стенами, и когда то, что раскопано, скоро бы выветрилось, или запыло бы землею. Но найденное место храма я отметил глубоко вбитыми в землю белыми столбами, поставленными на углах фундамента, и в тех местах, где раньше стояли посреди храма четыре столба. В том же месте, где осталось углубление от идола, к столбу прикреплена доска с надписью, гласящей: «Здесь стоял Свантевит в своем храме». Таким образом, и теперешние посетители городища могут составить себе представление о его прежнем состоянии.

И как величественна картина этого древне-славянского святилища в Арконе (рис. 4)! Храм стоит в самом высоком месте городища, откуда, по направлению к валу, уровень постепенно опускается (на 5—6 м.). С площади и от домов на храм смотрели, таким образом, снизу вверх, и с любого места можно было видеть, как священнодействовал жрец: как он выходил из храма, держа в руке большой рог бога, как он пророчествовал из него, затем снова наполнял его, залпом опоражнивал и, торжественно обращаясь к народу, наставлял и вдохновлял. Все, о чем рассказывает датчанин Саксон Грамматик оживает перед нами.

И самая форма храма открывает удивительные и далекие перспективы. Квадратное очертание его совсем необычно. Как славянский, так и германский дом всегда имеет форму прямоугольника, но удлиненного. Это относится и к германским храмам, сохранившимся в Исландии; они соответствуют форме греческого и римского храма. Но в прирейнской области и во Франции найдено большое количество квадратных построек — некоторые из них даже с 4-мя опорными столбами внутри —, которые после долгих колебаний были признаны кельтскими храмами доримского времени.

Они, следовательно, вполне отвечают нашему храму в Арконе. Более того: именно у кельтов встречаются и многоголовые божества; бородатые, они важно смотрят в разные

стороны. Много памятников этого рода собрал недавно E. régandieu в своем труде о скульптуре древней Галлии.

Откуда это совпадение славян с кельтами? Ведь славяне не имели никакого отношения к западу. В то время, когда эти галльские храмы существовали на западе, славяне даже еще и не продвигались в Германию. Позднее же Карл Великий совсем не пропускал славянских купцов в свои страны, установив строгую границу для их торговли по линии Эльбы. Славяне, следовательно, наверное не заимствовали ничего из Галлии. Все существенные черты их культуры коренятся на юго-востоке, в южной России, а может быть и дальше. Оттуда же шло влияние и на кельтскую культуру, уже в течение галлыштатского (поздне-бронзового) периода (с 8-го по 5-ый век до Р. Х.) и следующего за ним периода Latène (ранне-железного). По звериному орнаменту и другим украшениям, а также по форме сосудов, это можно проследить совершенно ясно. Но такие важные черты, как формы религиозного культа не переносятся так, как модные украшения. Квадратный храм и многоголовые божества у кельтов, без сомнения, коренятся глубже, — может быть в той древней средиземноморской культуре, от которой у самого Средиземного моря, правда, ничего больше не сохранилось, но которая продолжала жить в восточной части территории этой культуры, т. е. в южной России и на Кавказе. В армянских церквах раннего средневековья квадратная форма встречается часто, — например в знаменитом главном храме в Эчмиадзине.

Нам не приходится сожалеть о том, что мы еще не можем разрешить вопроса о совпадениях в славянской и кельтской культуре. Чем яснее стоит перед нами квадратный храм в Арконе с его четырехговым Свантевитом, тем больше мы можем радоваться тому, что из этого прочного опорного пункта для нас открываются далекие перспективы в страны, о которых мы едва подозревали. Здесь проявляется вся красота и вечно влекущая сила научного исследо-

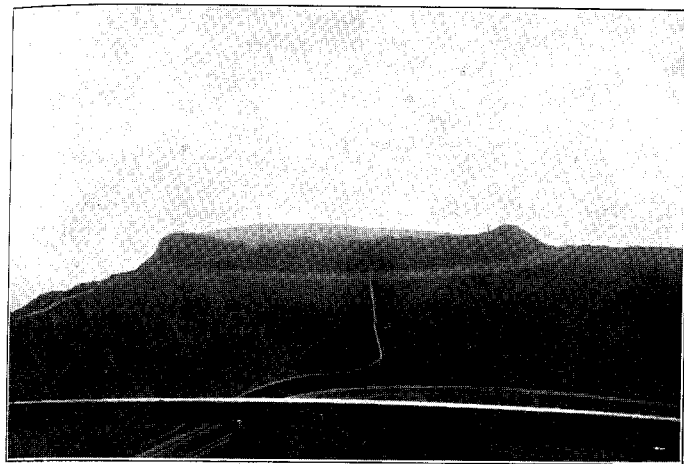


Рис. 4. Аркона, вид с маяка.

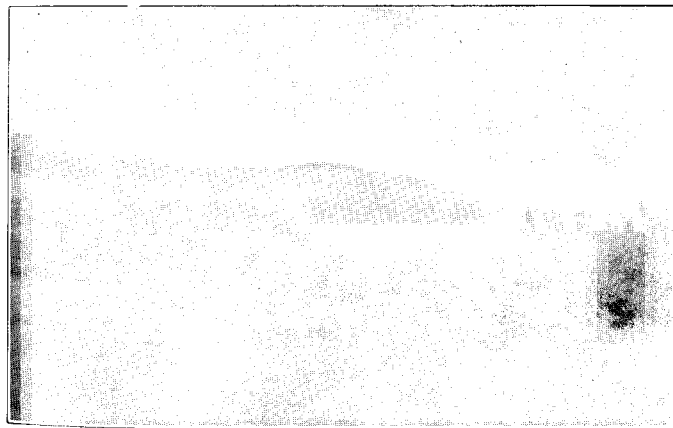


Рис. 5. Гора, на которой лежит Ретра, с ЮВ.

вания: каждая следующая ступень, на которую мы взбираемся, открывает перед нашим взором новые манящие дали.

Аркона пала в 1168 году от руки датчан-христиан, как последний оплот язычества в северной Германии. Ровно 100 лет продолжалось ее владычество в этом округе, перешедшее к ней по наследству от древнего, большого святилища, которое было расположено на материке, среди народов лютичей. Это была Ретра в стране редариев — нынешнем Мекленбург-Стрелитце.

Ретра была, как и Аркона, центром жреческого государства с знаменитым оракулом, которое далеко распространяло свое влияние и правило судьбами народов. Это был военный храм всех вендских, т. е. славянских, племен между Эльбой и Одером. Все знамена их хранились в Ретре. Отсюда управлялась политическая жизнь страны, и решались вопросы войны и мира. Неоднократно здесь организовывались большие всеобщие восстания славян против германского владычества; так, например, в 983 году, когда князь оботритов Мистивой хотел отомстить немцам за нанесенное ему тяжелое оскорбление, или в 1066 году, когда был взят епископский замок Мекленбург, епископа-же Иоанна протащили через всю страну вендов до Ретры, где его принесли в жертву языческому богу.

В 1519 году один из профессоров Ростокского университета начал розыски этого некогда столь могущественного святилища, имя которого не сохранилось в стране, и местоположение которого не выдает ни одно народное предание. Хорошее описание внешнего вида городища и его расположения имеется у Титмара Мерзебургского; плохое — у Адама Бременского. Это последнее ввело в заблуждение, затемнив первое, и было виною тому, что розыски Ретры продолжались целых четыреста лет.

Титмар Мерзебургский, умерший в 1017 году, был наиболее осведомленным в этом отношении человеком своего

времени. Происходя из графского рода фон Вальбек на Аллере, он с детства был близок к славянам; как епископ Мерзебургский, он был особенно хорошо знаком с миссионерской деятельностью в славянских землях; как друг императора Генриха II, он участвовал в нескольких походах против поляков, во время которых во вспомогательном отряде при императорском войске сражались и лютичи, включая и редариев. Как раз при описании одного из этих походов, Титмар, говоря о вспомогательном отряде славян и их языческом культе, упоминает и о Ретре: «Ретра в округе редариев», говорит он, «это — трехрогий замок (*urbs tricornis*) с 3-мя воротами, который с востока примыкает к большому озеру, с западной же стороны окружен могучим лесом. Из трех ворот — самое меньшее направлено на восток, к озеру».

По Адаму Бременскому, городище окружено водою со всех сторон и к нему есть только один подход, со стороны деревянного моста; но у него 9 ворот, подобно тому, как подземное царство 9 раз обтекается Стиксом.

В науке компромиссы обыкновенно приносят вред. Если есть уверенность, что имеешь в руках хороший источник, то нужно следовать ему, все же остальное просто выбросить. Справедливость этого оправдалась и на Титмаре Мерзебургском.

Так как по Адаму Бременскому Ретру охотно представляли себе островом, то Титмаровское «*tricornis*» толковали в том смысле, что у острова должны быть три выступа в море, три мыса. «*Urbs tricornis*» понимали, следовательно, как «треугольный город», и для того, чтобы найти Ретру, искали преимущественно треугольные острова. На таковых, в течение многих десятков лет, производились раскопки во всех мекленбургских озерах, не приводившие, однако, ни к каким сколько нибудь вероятным признакам святилища.

Мои работы по вопросу о Ретре исходили из нового толкования выражения «*urbs tricornis*». Во времена Титмара

Мерзебургского «*urbs*» означало укрепление, замок, — не город, или даже округ. И если Титмар называет его «*tricornis*», говоря при этом, что у него трое ворот, то *corni* — ничто иное, как высокая башня над воротами. Ибо «*tricornis*» никогда не означало «треугольный» — ни в классической, ни в средневековой латыни. «Треугольный» будет «*triangulus*» или «*trigonus*». Выражение же «*tricornis*» и Плиний и Солин применяют по отношению к быкам, у которых случайно выросли три рога. Таким образом, Титмар, не лишенный остроумия, применил к языческому священному городищу образное сравнение с трехрогой головой быка. Именно трехрогим он должен был казаться издали: у средневековых городищ, как славянских, так и германских, только башни над воротами высоки, средние же башни едва возвышаются над стеною; они выдаются вперед и предназначены для обстрела полосы, прилегающей к стене. Над воротами же должно быть расположено как можно больше бойниц рядами друг над другом, для защиты этого важнейшего пункта.

С представлением об укреплении с 3-мя башнями я, таким образом, отошел от воды и стал искать высоко расположенное городище, трезубец которого был бы виден далеко. Округ редариев не велик, и как раз высоко расположенные городища обыкновенно хорошо сохраняются. Только те, которые лежат в низинах, часто бывают скрыты при осушке лугов. При изучении карт этой местности, мне бросилась в глаза мало привлекавшая до сих пор внимание ученых гора Шлосберг близ Фельдберга; с востока она примыкает к большому Люцинскому озеру, с запада — она окружена и поныне широким лесным поясом (рис. 5). Я съездил туда и убедился, что верхняя, плоская часть возвышенности, по размерам своим значительно превышавшая обычные славянские городища, была окружена кольцевым валом, в котором сразу же намечались двое ворот, одно с северной,

другое с южной узкой стороны; можно было надеяться, что раскопкам удастся установить и третьи ворота (рис. 6).

Эти раскопки были произведены мною в октябре 1922 года. Они, действительно, обнаружили третьи ворота, которые оказались расположенными в западной, длинной части вала. Ворота эти поразительно велики. Они начинаются у самого подножья крепостной вышки, поднимаются, проходя внутри стены, вверх и кончаются наверху далеко внутри крепости. Они имеют длину ровно в 20 метров и ширину в $4-4\frac{1}{2}$ метра. Установление этих размеров можно было произвести с большою точностью, благодаря тому, что фундамент стены был сложен из валунов и сохранился до высоты в 1 метр. Во время раскопок, нам в этом месте приходилось рыть в черном, обугленном мусоре толщиной в несколько метров, который несомненно получился при сожжении деревянной башни над воротами. Тот же черный мусор оказался также и в северных и в восточных воротах. Северные ворота были такой же ширины, как большие западные, но не такие длинные: всего в 6 или 8 метров. Восточные ворота дали наконец совсем неожиданное решение: они оказались длиной в 5 метров и шириною только в 1,45 м., — по сравнению с $4-4\frac{1}{2}$ м., у ворот 1 и 2. К ним, следовательно, и относились слова Титмара: «*tertia porta quae minima est, orientem respicit et tramitem ad mare iuxta positum monstrat*», — «третьи, самые маленькие ворота смотрят на восток и указывают дорогу к лежащему поблизости озеру». Большого совпадения с описанием Титмара нельзя было и желать (рис. 7).

Розыски храма протекали менее благоприятно. На южной вышке, самой высокой точке городища, а также в его северной, плоской части, мы не нашли ничего. В середине же городища, как раз вдоль оси больших западных ворот, наносы, покрывавшие поверхность горы, оказались выравненными, некоторые же места были выложены камнями.

что завершало планировку места. Приходится предположить, что здесь и стоял большой деревянный храм.

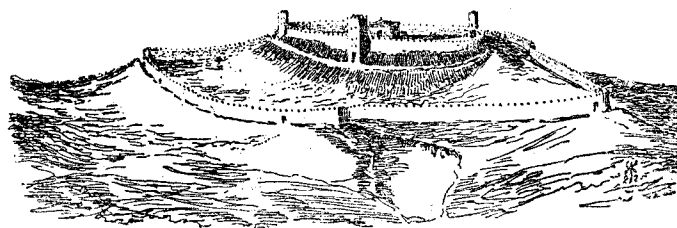


Рис. 7. Общий вид Ретры, реконструкция Р. Кольдевел

В обыкновенных славянских городищах-поселениях дома расположены венком вдоль стен, оставляя посреди большой, свободный двор. На Шлоссберге, как показали наши дальнейшие исследования, весь восточный край городища был свободен, и только вблизи северных ворот (1) и восточных (3) найдено было несколько землянок. Две очень больших землянки оказались еще по обе стороны западных ворот (2). Они являются, очевидно, остатками жилищ сторожей и жрецов, с большими сокровищницами, в которых хранилось драгоценное имущество храма, о чем специально упоминает Saxo Grammaticus.

Эта верхняя крепость, акрополь Ретры, имеющая длину в 115 м. и ширину в 45 м., расположена на высоте 36 м. над уровнем обширного Люцинского озера, т. е. только на несколько метров ниже, чем Аркона над уровнем Балтийского моря (43 м.). Не только в Мекленбурге, но и во всей северной Германии нет второго городища с таким величественным местоположением. Все внутреннее устройство святилища и его поразительное сходство с Арконой делается ясным только тогда, когда пройдемся внизу, по наружному валу, огибающему акрополь с западной стороны большой дугой, на

расстоянии, приблизительно, 100 метров. Внушительный вал этот и ров сохранились довольно хорошо; на той стороне вала, которая обращена ко рву, местами уцелела даже каменная облицовка. На валу наверное стояла еще стена из дерева и глины, подобна той, которая окружала и акрополь. В этом наружном валу тоже трое ворот, как и в верхнем, крепостном, так что каждым нижним воротам соответствуют верхние ворота.

Внешняя часть городища, окруженная этим наружным валом, соответствует площади в Арконе, но она значительно больше последней. Здесь могли собираться тысячи народу, и из любого места удобно было смотреть вверх, к храму. Ретра и Аркона — сестры. Обе они расположены на крутых возвышенностях, примыкающих с востока к широкой водной поверхности, и принимают, таким образом, утром первый солнечный луч, первую милость великого бога неба. Обе они являются главными носительницами древнего культа солнца, характеризующего славянство, как верного хранителя древнейших традиций.

Ретра погибла ровно на 100 лет раньше Арконы и передала ей по наследству свою роль господствующего великого славянского святилища. Этот факт также окончательно установлен только нашими раскопками. До тех пор Ретре приписывали более долгое существование, до 1151 года. Наши же находки — славянские черепки, время которых можно определить почти с такою же точностью, как время монет, — доходят только до середины XI века. В то время, в 1068 году, епископ Бурхард Гальберштадтский, полководец юного Генриха IV, совершил большой поход в славянские земли, чтобы отомстить ненавистным язычникам за их восстание 1066 года, разорение епископского замка Микилинбурга и зверское убийство епископа Иоанна. Бурхард проник до самого корня зла и сжег Ретру до основания. Большого же священного коня он вывел из городища и, в надругательство над языческими верованиями, вернулся на нем во главе

своего войска в землю саксов. Это покорение Ретры было окончательным. Округи редариев и толлензских славян с этого времени не принадлежат больше к стране лютичей. Тот храм, разрушение которого, согласно источникам, совершилось в 1126 и 1151 г., был расположен севернее, по ту сторону реки Пене, в Гютцкове, в стране цирципанов. Оттон Бамбергский, совершивший в 1123—24 и в 1128 гг. свои миссионерские поездки к померанам и лютичам, не знает уже ни Ретры, ни редариев, как не знает их и крестовый поход саксов против славян в 1147 г., направленный в более северные местности, к Деммину и Штеттину. На север же, между Пене и Балтийским морем, против живших там цирципанов совершали в 1151 г. поход и граф Адольф Гольштинский и Никлот Оботритский и разрушили тогда Гютцков, но не Ретру.

Заступ археологов разрешил эти старые и спорные исторические вопросы. Созданная им картина великих славянских святилищ не только ясна и радует нас сама по себе, но и указывает нам пути для дальнейших успешных исследований.

Проф. П. Якобс т а л ь

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЦИИ

Перевод с рукописи

Греция и греки наших дней известны менее остальных балканских государств и их жителей; одноименность с великими предками вводит нас в заблуждение, заставляя оценивать их по сомнительным представлениям, которые наша школа дает нам о древних греках; естественно, что при таком сравнении современные нам греки слишком теряют. Трудно жить народу на развалинах храмов, большие обязательства налагает наследие Гомера и Фидия.

Отношение Европы к греческому вопросу сильно изменилось за последние сто лет. В начале прошлого века существовало эллинофильство, вождями которого были благороднейшие умы Европы, — Гете и Байрон. Борьба пробуждающегося народа за свободу против турецких притеснителей активно поддерживалась всей Европой. Стихи Байрона, немецкого певца Греции В. Мюллера и картины Делакруа прославляли героическую борьбу, представлявшуюся гуманистически настроенному веку в свете Саламина и Марафона. Греция была мечтой многих, но оставалась недостижимой для большинства: в то время, когда для образованного и состоятельного европейца в лучшем случае была доступна

Италия, путешествие в Грецию было редким счастьем, — Греция была более далекой страной, чем теперь Восточная Азия.

Обычное в наши дни представление о Греции и ее оценка очень сложны. При ослабевших гуманистических интересах эллинофильство, основанное, в конце концов, на любви к античному миру, можно найти еще только в небольшом кругу французских, немецких, английских ученых. Гораздо распространеннее определяющая общую оценку антипатия, холодно признающая разве только некоторые интеллектуальные качества греческого народа. Известный «Roi des Montagnes» Эдмонда Абу, — как наиболее возвышенный тип, а как наиболее низкий — тривиальная карикатура некоторых европейских юмористических журналов, в которых греки, как и другие благородные балканские народы являются, без различия, шайкой воров и разбойников, причинили не мало вреда и привели к тому, что жители европейских народов знают о Греции не больше, чем греческий крестьянин о Берлине или Петербурге. Естественно, что оценка определяется главным образом теми, кто больше других путешествует, т. е. купцами и торговыми агентами, а эти люди, вследствие недостаточного общего образования и знания языков, и обладая кругозором, ограниченным исключительно деловыми целями, менее всего способны понять сложную народную индивидуальность. Но и другая категория путешественников — «идеалисты» — не в состоянии судить более правильно о греческом народе: идеалисты — это те, для которых современные греки в лучшем случае представляют романтическую декорацию, а чаще всего просто мешающую подробность на фоне прекрасной природы и великих развалин. Невыгодно, наконец, также и впечатление, производимое самими греками за границей, так как между ними естественно преобладают те-же слишком подвижные и легко приспосабливающиеся торговые агенты и купцы, — т. е. опять таки далеко не лучшая часть народа.

Греческий народ, издревле стоящий на грани между востоком и западом, имеет важное значение в политике великих держав, старающихся, в виду этого, то парализовать его, то привлечь на свою сторону, он — необходимый фактор европейской завоевательной политики, направленной на турецкую империю и за ее пределы. Вот почему он достаточно значителен для того, чтобы стоило проверить основания столь расходящихся мнений о нем, тем более в наше время, когда мы все на себе испытали и продолжаем испытывать бедствия, происшедшие от недостаточного взаимного знания и уважения народов.

Для понимания и оценки современных греков бесплодно было бы возобновить или хотя бы изложить споры, которые велись в середине прошлого столетия о расовом происхождении греков, о том, насколько внешность и повадка их унаследованы от древне-греческой крови, и насколько в них сказываются албанская и славянская примесь. Конечно, очень заметна разница между красотой, встречающейся напр. на острове Хиосе, где часто форма головы и профиль какого-нибудь мальчика непосредственно напоминают древние статуи, и средними типами вютийской или даже аттической деревни, где албанский язык подтверждает негреческое происхождение населения. Но для наблюдателя более внимательного и знакомого с греками несомненно, что в этих соматически столь различных типах есть и нечто общее, соединяющее их как физически, так, еще более, духовно, хотя и трудно определить, в чем оно заключается.

Нам, северянам, грек чужд своей смуглостью, подвижностью, и непонятен в контрастах, в которых проявляется его душевная жизнь. В состоянии покоя он безразличнее, неподвижнее чем мы, он более «турок». Душевная жизнь его лежит как бы глубже, чем у нас. Кто когда либо видел в греческой деревне мужчин, курящих кальян в кофейне, или женщин, сидящих вокруг очага в тупой животной покорности, на того, конечно, повеяло душным воздухом востока, и он почувство-

вал следы глубокого духовного влияния народа, так долго здесь господствовавшего. Причем открытым остается вопрос, насколько так наз. турки действительно османы, а не — отуреченные элементы, одного расового происхождения с греками, и в какую историческую эпоху, и под влиянием каких переживаний возник этот духовный облик, столь чуждый нам своим восточным складом. Но стоит вспыхнуть разговору — политическому, деловому или просто сплетне — и летаргии как не бывало: большие черные глаза, столь похожие на глаза византийских мозаик, начинают сверкать, голоса возвышаются, жесты быстры. Эта внезапно проявляющаяся возбужденность не менее чужды нам, однако мы легче можем связать их с представлением о древнем греке типа Одиссея — она напоминает южных итальянцев, испанцев и вообще обитателей берегов средиземного моря. Это несоответствие душевного состояния с его внешним выражением мы можем, пожалуй, объяснить историческим происхождением и судьбой расы, хотя мы и не в состоянии непосредственно соединить эти противоположности. При сравнении с двумя другими средиземными народами, в греке поражает отсутствие величавого достоинства испанца и одухотворенной грации итальянца, определяющей эстетически-привлекательно его осанку, речь, пение и культ.

★

Общественный строй Греции отличается в самом основании от строя западно-европейских стран. В последних, капиталистическое хозяйство и промышленность вызвали крайне резкое распадение общественных слоев на сословия и создали касты, раз'единенные строже средневековых. Греция, несмотря на существование нескольких хорошо идущих фабрик в Пирее, Патрасе, Воло, Салониках и капиталистического уклада жизни наиболее богатого европеизированного высшего класса, живет до сих пор, в общем, в условиях аграрного государства докапиталистического, допромышленного века. Это

основной факт, из которого мы должны исходить, при суждении о наиболее важных явлениях греческой общественности. Существующий всего несколько лет социализм, слабо и даже не в каждой сессии представленный в парламенте, с лозунгом «*sfiri ká dgeráni*» (молот и коса) схожий во всем остальном с европейскими образцами, поддерживается очень небольшим слоем фабричных рабочих, недовольство которых — нельзя даже сказать классовое сознание — было возбуждено только послевоенной международной дороговизной, падением покупательной силы денег при недостаточном повышении заработной платы, и вызывающим поведением класса «*neoplutoi*» — новых богачей. Примыкают к социализму кроме того единственные действительно неимущие греки, — бедные изгнанники из Малой Азии, наводнившие материк и острова. В терминологии социалистических газет существует противоположение *astikós* (буржуа) и *ergátes* (рабочие), но в действительности и в общественном сознании — его почти нет.

Если исключить несколько тысяч плохо оплачиваемых рабочих на табачных фабриках, у всякого грека есть и своя земля и свой скот, неимущих и бесправных нет, и при недостаточно резком разграничении профессий, при независимом от имущественного положения выборе занятий, каждому открывается возможность повышения на общественной лестнице.

Итак, несмотря на существование слабой социалистической партии, строй государственной жизни и общественное самосознание носят характер докапиталистический. Нет противоположения города и деревни, горожанина и крестьянина, умственного и физического работника, даже — с указанным ограничением, — собственника и неимущего; т. е. тех резких противоположений, которые в государствах с более развитой хозяйственной структурой, определяют социальное расчленение.

Хотя, конечно, в такой маленькой стране все главные культурные учреждения, как высшие учебные заведения,

театры и т. д. сосредоточены в столице т. е. в Афинах, все же образованность вовсе не ограничивается большими городами или даже городами вообще, а распределена по всей стране, причем, впрочем, есть конечно более отсталые и более культурные провинции. В архитектуре, образе жизни, культуре переход от города к деревне гораздо менее резок, чем в западной Европе или даже Италии. Благодаря прекрасно организованному школьному обучению — Греция стоит в европейской статистике грамотности на очень почетном месте, — не только элементарные знания распространены в самых отдаленных деревнях; умственная жизнь местечек и деревень возвышается над обычным крестьянским уровнем еще и благодаря тому, что там живут — постоянно или временно — люди, приобретшие знание и опыт вне деревни, — адвокаты, врачи, богатые купцы. Если не считать Афин, где есть семьи, живущие там уже в третьем поколении и принадлежащие исключительно городским профессиям, то каждый грек, который занимает положение чиновника, комиссионера, владельца верфи и играет роль в обществе Патраса, Волю и т. д. — происходит из деревни и любовно поддерживает связь с нею. У него еще есть в родной деревне свой дом, свой оливковый сад, и, по меньшей мере, праздники он проводит там, у родных. Находясь в гостях в такой семье, в ее белой богатой вилле на берегу моря, построенной на средства, добытые вывозом табаку или торговлей хлопком в Александрии, вы видите дочерей, воспитанных в швейцарском пансионе, говорящих по-французски и по-немецки, играющих Вагнера на рояли Стенвея; один сын — инженер, учившийся в Дрездене, строит теперь железную дорогу в Америке, другой — дипломат. И тут же за столом, в национальных костюмах, сидят дедушка и бабушка с весьма сомнительными манерами, отдающие предпочтение деревенским кушаньям, которые всегда имеются на столе. Хотя они терпеливо молчат, когда разговор переходит на французский или немецкий язык, но за столом царит полная гармония. Молодой инженер, дипломат, внуки

с безупречными лозанскими манерами нисколько не стыдятся, если дед ест с ножа. Старики со своей стороны нисколько не чувствуют себя ниже своего потомства. Молодежь, несмотря на долгое пребывание в «Европе», проявляет по приезде в деревню самый деловой и деятельный интерес к оливкам и животным и не стыдится помогать в сельских работах. Если всмотреться в типичное распределение профессий в одной и той же семье — я имею в виду знакомый мне пример из деревни фессалийского Пелиона —, то мы находим следующую комбинацию: отец занимается сельским хозяйством, и при этом столярничает; один его брат рыбак, другой священник, третий — адвокат. Из сыновей один крестьянин, другой офицер, третий врач; дочери замужем за крестьянином, за купцом в Марсели, и за офицером Македонского гарнизона. Это однако не ослабляет семейных уз; отношения столь разных по одежде, образу жизни и образованию членов семьи вполне искренни, гармоничны и проникнуты одинаковым демократическим крестьянским духом, как это ни кажется странным тому, для кого «грек» и «купец» — синонимы.

Очень существен вопрос отношения грека к своей профессии. Если мы говорим: «такой-то — купец», то значение этой фразы совершенно различно, смотря по тому, кто тот, о ком идет речь: американец, немец, англичанин, француз или грек. В первых случаях она обозначает полное совпадение личности и профессии, в последнем — лишь очень частичное. Лучшим примером этому может служить именно греческий купец, издавна всего более возбуждающий своими торговыми приемами гнев европейца, не знающего и не понимающего греков и востока. Утверждение, что грек лжет и обманывает, приблизительно настолько же верно, как то, что кошка фальшива. Оно значит только, что греку свойственны в торговле известные приемы, которые действительно заслужили бы подобное определение, если бы их хотел применить европейский купец. Но если принять во внима-

ние, что данное по первому импульсу согласие или обещание имеет у грека силу только для настоящего момента, а вовсе не для будущего, и что оно и в собеседнике вовсе не должно вызывать веры в длительное свое значение; если знать, что при случае «завтра» по гречески может значить «никогда» или «через год», что по гречески 5 драхм значит 1 драхма, то следует остерегаться подобных осуждений, основанных на одностороннем применении чужого масштаба. — Другой упрек, не столь тяжелый, но часто произносимый, сводится к тому, что «грек крадет ваше время», т.е. заставляет вас попусту тратить массу времени. Действительно, здесь никогда никто не набрасывается на дело. Закон приличия требует, чтобы вы купца, приходящего по делу, сперва угостили сладостями, кофе и разговором, и расспросили его о тысяче посторонних вещей, прежде чем приступить к делу. Грек торгует как дилетант, *con diletto*, *con amore*, с любовью, со вкусом. Торгует не купец, отвлеченный от всей остальной жизни, а весь человек. Американская манера купца или агента, торопящегося сделать в один день как можно больше дел, греку чужда и пугает его. Впрочем, если только отказаться от европейской оценки времени, то греческая и вообще восточная практика, пожалуй, окажется в конечном итоге более мудрой, так как при соприкосновении человека с человеком характер его, на котором, в конце концов, основывается всякое дело, выскажется легче и откровеннее, чем при американском исключительно деловом общении. То же психологическое основание имеет восточный обычай торговаться. Наше представление о твердо установленной цене, как о признаке солидности купца или даже как бы нравственном плюсе, греку совершенно незнакомо. Соглашение о цене товара является на востоке результатом турнира, в котором состязаются похвалы, порицания и сравнения товара, и исход его зависит в каждом отдельном случае от знания дела и красноречия сторон. Привлекательность дела для грека не в сухом вычислении на бумаге, а в этом живом

соперничестве сил. Греческий купец дилетант еще и в том смысле, что он редко обучен своему делу в нашем смысле слова. Сегодня он торгует сливами, завтра материями. Адвокат имеет агентуру венской фабрики горелок, врач занимается, наряду с практикой, вывозом табаку. Владение землей требует умения сбывать то, что она производит. Если греки успешно ведут дела, то они обязаны этим не посещению коммерческих училищ, в общем весьма посредственных, или специальной выучке, а своей прирожденной бойкости, способности быстро ориентироваться, знанию толка в товаре и тонкому чутью к потребностям других.

Не только у купца, но и вообще у грека совершенно отсутствует доведенная нами до крайней утонченности деловая изоляция профессий от жизни. Кто наблюдал грека за работой, тот хорошо знает это. Капитан парохода стоит, даже при большой волне, не один на мостике в царственном величии, а просто на верхней палубе, курия и перебрасываясь словами с пассажирами, отдавая одновременно приказание или управляя рулем. Когда видишь это в первый раз, то боишься, что это добром не кончится, и мысленно уже составляешь завещание; но потом убеждаешься, что можно и так! То же типичное отношение к делу, характерное для доиндустриальной эпохи, можно видеть у ловких шоферов автобусов, у железнодорожной прислуги, на почте и т. д. Приезжий из Европы, еще не приспособившийся ко всему этому, досаждает на неточность, легкомыслие, неаккуратность, потерю времени, но понемногу привыкнув к великому покою востока, — удивляется счастливому народу, сумевшему заставить служить себе эти европейские, нечеловеческие и противоестественные изобретения, не продав им душу и не пожертвовав ради них «рехатом» и «кейфом» (турецкие слова, выражающие покой и уют). Только в профессиях, от которых государство требует представительства — как например от офицеров — нас может иногда обмануть с трудом удерживаемая маска. Здесь нужны усиленные меры для пред-

ствращения проявления «человечности»: военная дисциплина, особенно в отношениях между офицерами и нижними чинами, а в другой сфере — между профессорами и студентами — по нашим понятиям даже слишком суровы. Эта, с трудом привитая, служебная выдержка уступает место в неслужебных отношениях или при малейшем возбуждении весьма невоенному поведению и неслужебным манерам. Я имел случай видеть, как однажды офицер, имевший высокий чин, благодарил за оказанную крупную услугу не в обычных формах, которыми он вполне владел, а скрестив руки на груди и низко кланяясь. В эту минуту сильного душевного возбуждения в человеке выплыла наружу обычно подавляемая, гораздо более примитивная сущность и нашла себе выражение в древнейшей восточной форме. Это наблюдение приводит нас к центральной проблеме греческой культуры вообще, — проблеме сочетания востока и запада в греке.

Если бы турки между 15 и 18 веками целым рядом побед не отняли окончательно у итальянцев, главным образом у венецианцев, их греческие владения, то тут могла бы развиться, — скорее всего на островах, — органическая культура с легкой восточной окраской. Тогда, может быть, греческому народу не нужно было бы более ста лет трудиться над восприятием внутренне чуждой ему европейской культуры, ценою утраты лучшей части своей индивидуальности. Мы постараемся понять это трагическое положение сначала на пресловутой двуязычности (диглоссии) новогреков.

В Греции существуют рядом два языка: народный и литературный, различающиеся в корне и по синтаксису и по лексическому составу. Литературный язык — есть язык церкви, суда, науки, парламента, газет; народный язык — просторечие, язык повседневного обихода, на котором говорят в особенности женщины и простые люди, не читающие газет. Предложение: «сапожник имеет двух коз и одну лошадь в своем доме» будет в просторечии: «ο ραπουτζης εχει

dyo katzikes kai ena alogo s'to spiti tu», а на литературном языке «ο υποδηματοποιος εχει dyo aigas kai ena ippon en te oikia tu» *).

На этом вовсе не тенденциозно выбранном примере даже не знающий по-гречески видит, что общи обоим фразам только слова ο, εχει, dyo, kai, ena, tu, т. е. член, глагол, числительные, союз «и» и местоимение «своем», тогда как слова, определяющие смысл предложения, совершенно различны; сапожник и коза называются в просторечии турецкими словами, дом — латинским заимствованием; в литературном же языке эти слова заменены древне-греческими. Предложение подобного рода может быть произнесено на литературном языке только учителем и его учениками, прокурором в суде или профессором гражданского права при изложении судебного случая.

Когда греческий ребенок поступает в школу, то ему приходится заучивать чужие, т. е. древнегреческие слова для обозначения наиболее близких ему предметов, как хлеб, вино, масло, лошадь, рубашка, и даже отца и мать он должен называть такими чужими словами. Родные слова из него выбивают розгой. Эта борьба против родного языка заполняет многие годы школьного обучения. Однако она необходима, потому что все учебные пособия, все документы составлены на этом языке, и кто не живет в узком кругу домашней жизни или какой-нибудь первобытной профессии, подобно женщинам или простым пастухам и морякам, тот должен, по крайней мере, понимать литературный язык. Борьба, начинающаяся в школе, продолжается затем в жизни; кто когда либо присутствовал на учении греческой армии, тот

*) Я транскрибирую по правописанию, а не по звукам. Новогреческое произношение, восходящее впрочем еще к эпохе римской империи, значительно упростило древнегреческий состав гласных, так что напр. ē, eī, y, oī все превратились в i.

видел, что и там большая часть времени уходит на перевод рекрутам воинского устава с языка Ксенофонта на народный, прежде чем приступить к разъяснению содержания устава. На суде ни один свидетель из крестьян не в состоянии точно понять какой-либо протокол, который из уважения к достоинству Фемиды и ее служителей непременно составляется на мертвом литературном языке. Мне пришлось однажды в маленькой островной деревушке «перевести» прихожанам важное письмо митрополита, так как местный священник не был в состоянии этого сделать. Еще поразительнее эта двойственность языка там, где нужно не только понимать прочитанное, но письменно изложить что-нибудь. Так как ребенок в школе не учится писать на родном, т. е. народном языке, то результатом является самая беспомощная неуверенность в письме. Я прочел подряд несколько сот писем солдат одной воинской части, участвовавшей в деле, которое стоило описания: ни один из пишущих не владел настолько письменным языком, — я уже не говорю об орфографии, с которой дело обстоит плачевно даже у людей с лучшим образованием, — чтобы передать виденное и пережитое, хотя каждый из них, наверное, сумел бы очень живо и наглядно рассказать об этом. Было похоже на то, как если бы нашему гимназисту прежних времен велели описать по латыни какой-нибудь случай из его личной жизни. Я имел случай наблюдать сложность языкового аппарата в сознании новогрека, давая уроки немецкого языка интеллигентному офицеру: когда я напр. говорил: рука—to cheri, хлеб то psomi, он повторял за мною эти слова по-немецки и по-гречески, но в то время, как его язык повторял to cheri, to psomi, карандаш его писал e cheir, o artos, т. е. древнегреческие синонимы.

Народный и литературный языки существуют рядом как равноправные, каждый из них имеет свои задания и достоинства. Народный язык возник органически, отражая в бесчисленных латинских, турецких, итальянских заимство-

ваниях судьбу народа и развитие греческой культуры; он — естественно продолжает собою древнегреческий язык, к которому относится как итальянский к латинскому. Только на этом языке мать может говорить с ребенком, и только на нем возможны и сказки, и поэзия. С другой стороны, он лишен возможности выражать отвлеченные понятия, выходящие за пределы домашней, семейной и деловой жизни. Когда в 1830 году образовалось греческое королевство, то народ, живший до тех пор на уровне простых пастухов, матросов и рыбаков, с возникновением армии, администрации, а вскоре и науки, оказался вынужденным формулировать понятия, еще так недавно совершенно ему чуждые. Для этих потребностей нужно было создать литературный язык. Классические тенденции того времени, усиленные унаследованной от предков склонностью к языковым архаизмам, привели к тому, что вместо того, чтобы развить возникшие на западных островах довольно значительные зачатки общего литературного языка, было поручено филологам создать этот искусственный язык. Это была легкая работа, потому что древне-греческий язык, как ни один другой в мире, создал и разработал терминологию философскую, юридическую, военную, и мог даже, при некоторой творческой способности и фантазии, которой обладали эти ученые, дать и техническую терминологию. Никто поэтому не может отказать литературному языку, очень обогатившемуся за последнее столетие, в способности выразить любое содержание, к чему еще присоединяется достоинство абсолютного отсутствия чужих корней. Мы здесь можем наблюдать единственное в своем роде явление, что в противоположность другим языкам для выражения наиболее отвлеченных или даже технических терминов (напр. для таких понятий, как индукция, дистиллат, эманципация и т. д.) здесь нет ни одного иностранного слова, а есть только древне-греческие «заимствования». Впрочем, было бы несправедливо умолчать о том, что некоторые из этих нововведенных слов и в

обыденной жизни вытеснили старые чужеземные, особенно на материке, реже на островах, или на малоазиатском берегу, в Смирне и Константинополе. Так напр. теперь уже общепотребительны *tachydromeion* вместо *posta*, *posokomeion* вместо *spitali* (больница). Для некоторых технических изобретений эти, большей частью, очень удачно созданные новообразования вошли немедленно в обращение; так напр. велосипед при первом же своем появлении получил название «*podelaton*», т. е. «погоняемое ногами», избегнув иностранных слов, в роде «велосипеда» или «бисикла».

Вопрос о языке занимает не только филологов и педагогов, но сознается и всей интеллигенцией народа, как одна из важнейших проблем греческой культуры и будущности вообще. К сожалению, суждения об этом часто затемняются политическими и религиозными тенденциями. Как силен здесь наряду с совершенно непонятным нам византийским фанатизмом грамматиков — южный политический пафос, показывает наиболее наглядно тот факт, что в 1902 г. в Афинах пролилась кровь, когда студенты разгромили редакцию газеты, осмелившейся напечатать части евангелия на народном языке. Мы зашли бы слишком далеко, пытаясь понять мысль, заставившую студентов проливать кровь в защиту непонятного народу древне-греческого евангелия. В общем можно сказать, что люди консервативного направления и люди полубразованные — приверженцы литературного языка, прогрессисты, — предпочитают народный язык ввиду его общепонятности, а действительно образованные среди них отдают ему предпочтение из сознания его органичности и жизненности.

Радикальные приверженцы литературного языка думают, что народный язык можно просто истребить, они говорят на искусственном языке со всеми мертвыми дательными падежами и неопределенными наклонениями. Противники же не только переводят священное писание на всем понятный народный язык, но стараются выразить на нем и философ-

ские понятия. Они часто заходят слишком далеко в своем предпочтении вульгаризмов и вовсе не общепонятных местных выражений, но они одни являются носителями серьезных литературных стремлений, они одни обладают живой связью с народной душой.

Крайние приверженцы обеих партий не хотят понять, что и та и другая крайность уже осуждена жизнью, и что направление, в котором будет развиваться современный язык, — предопределено. Настоящее положение вещей легче всего пояснить примером. Мне пришлось в течение полутора лет быть в постоянном общении с офицером, очень образованным человеком, знавшим хорошо французский и немецкий язык, и в совершенстве владевшим обоими формами родного языка. Из его речи я понял то, что еще недостаточно подчеркивалось в общем споре о языке, что существуют не только обе крайности литературного и народного языка, но что между ними есть по крайней мере 2—3 переходных оттенка, с различными, но вполне определенными дозами народного и литературного элементов. Он владел этими оттенками в совершенстве. Он с безошибочной уверенностью применял всегда одни и те же 4—5 возможных типа флексии и выбирал синонимы в зависимости от того, был ли то рапорт генералу, полуслужебный разговор с корпусным адъютантом, интимная беседа в офицерском собрании или приказание денщику. Каждое из обозначений солдата: *oprites*, *stratiotes*, *andres*, *fantaroi* он употреблял в зависимости от данного положения, притом с совершенно определенной флексией. Мне было ясно, что каждый из этих типов языка был связан с известной душевной установкой. То же самое было и в его письме. Из этого наблюдения становится ясным, что не один народный язык действительно ограничен и выработал известное «чувство языка»; ясно и то, что существует не два, а несколько наречий, разнообразно сочетающих литературные и народные языковые элементы. С этой точки зрения вера в простую альтернативу: народный или литературный язык

— является наивностью. Нельзя также, как часто утверждают, ожидать помощи от какого нибудь гениального преобразователя, реформатора языка, подобного Лютеру, потому что в конечном счете здесь дело не в языке, а в раздвоенности самой греческой культуры.

Кто ходил с открытыми глазами по улицам Афин, тот мог видеть, что западная культура совершенно не слилась с восточной, но что обе существуют рядом, эта двойственность придает жизни здесь особую прелесть, хотя она серьезно угрожает будущему народа. На одной стороне улицы мы видим французский ресторан, английское кафе, на другой — таверну, испускающую все запахи восточной кухни. И в этой области также существует множество переходов от народной к европейской кухне. Если не считать с одной стороны крестьян, с другой богатых людей, отвыкших в долгом пребывании за границей от национальной пищи, то в большинстве населения мы найдем двойственность в кулинарном отношении; но ближе сердцу все же не французские утонченности, а «баклава» и «халва» — наследие турецкой эпохи. Из открытых окон слышны звуки музыки Баха, на улице *laterna* — огромная неаполитанская шарманка на колесах, украшенная картинами и зеркалами, — наигрывает популярные патристические песни, арии из опереток, или матчин; а в таверне на углу танцуют матросы и поют протяжную народную песню, напоминающую византийские церковные напевы — и тут также сосуществование рядом двух совершенно различных звуковых миров.

Тот же надлом мы находим во всех областях — до самых глубин душевной жизни. Нельзя сказать, чтобы это вносило раскол в жизнь народа, потому что при подвижности сословных перегородок стремление к западной культуре при суще всем слоям. Трагический момент, задерживающий развитие — это раздвоенность каждого индивидуума в отдельности. Чтобы понять это, мы должны точнее определить отношение грека к Европе и европейской культуре.

«Сегодня идет почта в Европу», — такая надпись вывешивается на почтамте; греки следовательно не причисляют себя к Европе. С другой стороны, однако, грек чувствует себя по отношению к турку — эллином и видит в нем варвара — азиата, перед которым он гордится, между прочим, своей христианской верой, хотя его связывает с ним и общая кухня и многие черты быта. Таким образом, грек сознает свое положение между востоком и западом, но наивно, отдавая себе отчет в этом разве только в политике. Европеец, в особенности белокурый северянин, есть существо высшего порядка, приносящее с собою одни блага. «Прогресс» для грека значит европеизация одежды, обычая, нрава, музыки, литературы. К этой цели направлена духовная подвижность народа. При его прирожденной способности быстрой ориентировки, при неограниченной приспособляемости, он в очень короткое время усваивает значительную долю европейской или американской культуры. Грек — лучший пионер европейской колонизации в странах с низшей культурой. Греческого маркизанта можно было найти до войны на всех передовых постах в Персии или в южной Африке. К его чести мы должны сказать, что, несмотря на все эти свойства, он никогда не отрекается от своей национальности и нежно привязан к родине; когда он богатеет, то прежде всего заботится о бедных земляках. Все греческие состояния, часто очень значительные, приобретенные в России, Египте, Америке, не утеряны для его народа. Сколько школ в городах и деревнях основано «американцами», как часто можно встретить таких ре-эмигрантов в родной деревне, легко узнаваемых по внешности. Что касается цивилизации, т. е. применения европейских изобретений в рациональном хозяйстве, промышленности, путях сообщения, армии, дело обстоит не иначе, чем всюду, где государство переходит от примитивного хозяйства к усовершенствованным способам работы культурных народов. Только там, где вопрос касается отношения к европейской культуре, может возник-

нуть сомнение в том, созрел ли до нее восприимчивый, сумеет ли он выбрать лучшее и органически усвоить его. В литературной области господствует неуверенный эклектизм: больше всего почитателей находят французская беллетристика и французско-итальянские оперетки. Переводы романов Достоевского, драм Ибсена и Бьернсена, симфонии Бетховена доступны только небольшому кругу столичного общества, да и ему, по существу, мало понятны. Наличие немногих греков, серьезных творцов музыкантов и художников, играющих роль в Париже или Мюнхене, не опровергает истинность утверждения, что и образованнейшим грекам недоступно наиболее глубокое содержание европейской культуры. Это не удивительно, так как никогда полуварварские народы, к которым принадлежат и греки, отрезанные от Европы в продолжении 1000 лет, не могли усвоить высших духовных достояний без долгой к ним подготовки. Как долго длилась эллинизация Рима, как неорганична была культура переходной эпохи, пока, наконец, при Августе римляне не поднялись до полноценного художественного творчества! Наиболее наглядно обрисовывается все это в отношении новогреков к их собственному прошлому: хотя развалины храмов стоят на их родной земле, это прошлое так же чуждо им или, пожалуй, еще более чуждо, чем древнегреческий язык, ставший в 1830 г. литературным языком. Здесь все нити были порваны. Под влиянием царившего тогда классицизма, греки восприняли мир искусства своих предков, как часть европейской образованности. Правда, половина дохода от государственной лоттереи идет на увеличение флота, а другая на расходы по археологическим раскопкам, и репродукции древних пластинок и ваз украшают почтовые марки и папиросные коробки. Но как албанская деревня Скиматари не стала древней Танагрой оттого, что была вновь переименована в нее, так и этот показной классицизм остался только ярлыком. У новогреков нет никакого внутреннего понимания античного мира хотя бы в его итальянской форме.

Очень немногие греки понимают это положение. Одним из этих немногих был Стефан Драгумис, убитый в 1920 г. Тесно связанный воспитанием и долгим пребыванием за границей с европейской культурой, он понимал ложь поверхностной культуры, и красоту и силу нетронутого западом греческого мира. Призывать греков «возвратиться к природе» было бы бессмысленным романтизмом: современное состояние их культуры слишком хорошо отвечает живым хозяйственным и цивилизаторским инстинктам греков, имеющим уклон в сторону Европы. Если эти инстинкты будут правильно использованы в рамках европейской политики и хозяйства, то они могут привести к весьма ценным результатам.

Трудно сказать, может ли в Греции возникнуть единая и самобытная культура, построенная на сознании ценности восточных элементов греческой жизни и наиболее положительных сторон самой национальной сущности. Но во всяком случае современные эллинофилы окажут греческому народу услугу, если они разберутся в этих вопросах и выскажутся о них так ясно и отчетливо, как это возможно только со стороны Европы.

Баррет Кларк

ЛИТЕРАТУРА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Перевод с рукописи

I

Гораздо легче признать факт, что Америка за последнее время достигла эпохи самосознания и самоанализа, чем указать на причины его и определить, когда именно и почему возник этот процесс. Быть может, это сейчас даже излишне. Во всяком случае, я не буду углубляться в поиски коренных причин этого явления и ограничусь лишь указанием признаков его.

В течение девятнадцатого века и особенно в конце его, существовало несколько самобытных, причастных искусству людей — романистов, писателей небольших рассказов, поэтов, драматургов, критиков и музыкантов — пытавшихся отразить, — будь то намеренно или бессознательно, — в творчестве своем жизнь и дух Америки и раз'яснить всему миру стремления ее. Строго говоря, однако, такие люди являлись единичными исключениями и большинству из них удавалось лишь воспроизводить старые формы, применяя их, как средство для изображения более или менее удачных национальных типов. Исключением, конечно, являлся Уитман,

но мы знаем, что большую часть жизни своей он творил, не будучи признанным и не стяжав славы. В девятидесятых годах романисты, как Хоуэлс или Хэмлин Гарланд, а также и драматурги, как Джэкс А. Хэрн, объединились в группу для изучения вопроса о «самобытности» американского искусства, тогда как композитор Эдвард Мак-Доуэлл сделал первую попытку установить определенное американское музыкальное направление.

Но в итоге, эти попытки определить сущность «духа Америки» посредством его отражения в искусстве имели сравнительно мало значения: Америка оставалась, как и раньше, только «великой страной возможностей», подобно России.

В том, что возможности эти начинают, наконец, воплощаться в действительность, уже больше нет сомнения. Еще перед войной можно было бы указать на нескольких писателей, которые были настолько «американскими», насколько, в самых национальных его «настроениях» — если мне будет дозволено прибегнуть к этому выражению — это не удавалось даже Хоуэлсу. Молодые писатели эти яростно принялись подчеркивать свой национализм, гордились своими родными горами, любовно описывая жителей их, в то же время, хотя бы и наружно, даря презрением старые традиции. Отказываясь, со всей решительностью от обветшалых старых принципов, они хотели быть во что бы то ни стало оригинальными и национальными. Нечего и говорить, что они вовсе не были ни настолько оригинальны, ни настолько национальны, как им это казалось.

В течение пяти последних десятилетий Америка была Обетованной землей для лекторов иностранцев. С тех времен, как Диккенс и Тэккерей зарабатывали по тысяче долларов в вечер, европейские знаменитости привыкли смотреть на Америку, как на средство без особого труда расширить свою известность и доходы. Америка, со своей стороны, радушно встречала гостей. У меня нет возможности высчитать, как часто приезжих просили высказать мнение об

Америке и сколько именно интервью по этому вопросу появилось в печати, но я твердо знаю, что, лишь за немногими выдающимися исключениями, никто из знаменитостей, до самых последних лет, не отзывался об Америке иначе, как в обычных плоских выражениях: «Ваша страна — великая», — «Ваша страна еще молода, и силы ваши направлены больше в сторону исканий материальных, чем духовных». Одобрительных же отзывов об Американском искусстве и культуре было немного. Еще перед самой войной, отношение просвещенных иностранцев к попыткам Америки установить у себя национальную культуру в лучшем случае было любезно-снисходительным, если оно не было определено несочувственным.

И все же американские писатели известны и ценимы во всем цивилизованном мире: Поэ, Эмерсон, Торо, Купер, Уитман, Хауторн, Марк Твен — разве эти имена не знакомы каждому культурному человеку от Парижа до Пекина? *) Любопытно, однако, что имена этих людей не всегда связывают со страной, в которой они родились. Причиной этому служит, по всей вероятности, то, что каждый из этих писателей обладал в высокой степени развитым чувством «мирового», без примеси строго-определенного чувства к национальному. Исключением, быть может, является Марк Твен, который, как и Уpton Синклер — вероятно один из самых известных американских писателей за пределами Америки. Синклер обратил на себя внимание всего мира — у себя на родине он известен и популярен почти исключительно среди небольшой группы «радикалов», как автор сенсационных трактатов о разложении американской политики и деловой сферы; тогда как Марк Твен умудрился распространить понятие об Американце, как о сочетании шута с дикарем.

*) Автор забыл упомянуть Хоуэллса и Брет-Гардта, чьи романы точно так же широко известны в Европе и России.

Приняв это во внимание, нельзя удивляться тому, что Америка еще так мало известна Европе.

Затем появился О. Генри,^{*)} с его любвеобильным, если и недостаточно разносторонним описанием Америки. То, что на произведения автора этого около десяти лет назад случайно «наткнулись» англичане, помогло нашим заатлантическим братьям несколько иначе взглянуть на современную жизнь Америки. Оценка же ее Европой имеет немалое значение: прежде всего, это устанавливает среди нас личные вкусы, а кроме того всегда приятно, что другие знакомятся с нами.

Во время войны, — особенно перед тем, как Соединенные Штаты открыли военные действия весной 1917 года, — Великобританское Правительство командировало несколько десятков англичан с целью установления более тесных сношений между двумя странами. К этим пропагандистам-профессионалам примкнуло некоторое число других, либо приверженцев Англо-Американского слияния, либо частных лиц, побуждаемых теми же целями, либо просто привлеченных блеском американских долларов. — Здесь были и поэт Альфред Нойес и Джон Мэзфильд, Галсуорти и Ст. Джон Эрвин, Джильберт Кэннан, В. Л. Джордж, Грэнвилл Баркер, Честертон, лорд Дэнсэни, Арнольд Беннет, Гуго Уальполь, и множество других. Со времен Диккенса и Тэекера, Америка, — как им стало ясно, — развилась, и потому последняя группа гостей наших держала себя уж не так покровительственно, как ее предшественники. Беннет интересовался не только небоскребами и электрическими лифтами, но обратил внимание и на американскую литературу и искусство. Ст. Джон Эрвин был одним из первых, угадавших талант в ранних произведениях Евгения О'Нэйлла, тогда как Гуго Уальполь преклонил колени перед целой группой американских писателей.

^{*)} О Джеке Лондоне и его роли в литературе Америки будет дана статья отдельно.

Прим. ред.

Этот даровитый молодой английский романист говорил мне, вскоре вслед за войной, что есть по крайней мере четыре американских писателя, которых должны были бы узнать англичане, писателей в своем роде столь же талантливых, как любой из английских писателей, находящихся в живых. Немного времени спустя, другой английский романист, В. Л. Джордж, сообщил мне, что в Америке гораздо больше культурных людей — во всяком случае гораздо более широкие слои людей, занимаются чтением, чем в Англии. Ни один англичанин еще не высказывал такого изумительного мнения.

В течение последних шести или семи лет Уальполь, посредством своих лекций, статей и пропаганды добился того, что: 1) в Англии принялись читать современную американскую литературу и 2) что еще важнее, Америка последовала этому примеру. Мы обязаны Уальполю в широкой мере тем, что Джемс Брэнг Кэбел, Джозеф Хергесхаймер, Уилла Кэтер и Х. Л. Мэнкен почти так же хорошо известны в Англии, как известны они в Америке. Современный английский критик, — если не принимать во внимание случайно проскальзывающей усмешки над провинциализмом Америки, — обычно в состоянии отнестись к американской книге доброжелательно и разумно.

Кто же эти новые американские писатели? Существует ли в действительности новая американская литература? — Новые писатели юны, восторженны и несомненно «национальны». Литература же, как таковая, похожа на всякую другую молодую литературу: это литература возмущения. Писателю в Америке есть с чем бороться, и весьма естественно, что он восстает: вокруг него уродливость деловой жизни, сумасшедшая стремительная погоня — не за долларами, а за успехом; и наконец, ярый, воинствующий пурианизм, который скорее растет, чем ослабевает.

Х. Л. Мэнкен в течение минувших пятнадцати лет поставил себе задачей заносить бич над головами тупых и

провинциальных, лицемерных и условных, развращенных и претенциозных людей. Его поприще прежде всего литература, но он кроме того хороший знаток политики и общественной жизни. Он сделал для нас в большой степени то, что в девяностых годах сделал Бернард Шоу для искусства и политики Англии. В непрерывном потоке выпускает Мэнкен книги и статьи, написанные в присущем ему резком стиле, щедро уснащенном великолепными американизмами, в которых он нападает на эпидемию пуританизма, на популярных говелистов, на проповедь квакерства с кафедры, на университет, на правительство, и всегда с тем же суровым юмором и неизменным вкусом. Вкус его главная черта; не есть ли она — *sine qua non* всякого художника? Но, в то время как суждения его об Америке в общей сложности носят отрицательный характер, он, конечно, умеет и восторгаться. Кто же, как не Мэнкен в ранний период творческой деятельности Теодора Дрейзера ломал копы за молодого романиста, затратив несколько месяцев и много собственных средств на борьбу с цензурой «Гения», чтобы обратить внимание просвещенных людей на это возмутительное насилие. Не относясь к самодовольным профессорам колледжей, к старым девам — «обоего пола» — оценивающих искусство согласно его нравственным качествам, и к сахарному оптимизму наших самых популярных писателей иначе, как с порицанием, он смело поднимает меч в защиту того, что считает истинным искусством. Он был одним из первых, углавших таланты Кэбелля и Хергескеймера, Дрейзера, О'Нэйлля и Кэтер, приветствовавших всякое проявление настоящего американизма. Он является автором одного из самых замечательных исследований нашего национального языка. «Американский язык», — книга, которой предстоит в будущем сделаться источником для всех дальнейших исследований по этому вопросу. С полным презрением относясь ко многим в наше время уважаемым постановлениям американской общественности и политики, и усматривая в аме-

риканце среднего уровня мало выдающегося, кроме его лицемерия и тупости, — Мэнкен во многом принадлежит к самым восторженным по национальному духу гражданам своей родины.

То, что Мэнкен сделал для литературы, проводит в сфере театра его друг, как он называет его «Mein Bruder», Джордж Джэк Натан. Вероятно, не найдется американца лучше осведомленного о современной драматической литературе; его неусынная энергия направлена против всего слащавого и условного на наших сценах. Такие люди, как Мэнкен и Натан, со всеми их ограничениями и предвзятостью, — вот кто вдохнул в американцев жажду узнать что-нибудь о самих себе, изучить и исследовать национальные произведения. Помимо двух этих вдохновляющих проповедников у нас есть целый сонм учеников, лучшие из которых, как Дж. Е. Спингарт и Ван-Вик Брукс, применили свои академические познания для изучения и критики современных исканий.

Одним из старших в группе новых романистов является Теодор Дрейзер, двадцать лет назад, следуя по стопам Франка Норриса, написавший два романа — «Сестра Керри» и «Дженни Герхардт» — характерные воспроизведения жизни нашего Среднего Запада. Термины, вроде «Флобер из Охио» или «Американский Гомер», обыкновенно применяются лишь ленивыми критиками, но подобные прозвища могут случайно навести и на ценные мысли. Так, если бы я назвал Теодора Дрейзера «Иллинойским Бальзаком», то у вас создалось бы верное представление о нем, как о писателе с тяжеловатым стилем, не особенно тонко развитым чувством формы, но объятого страстной любовью к жизни. Как и многие из наших самых своеобразных писателей, Дрейзер был удостоен вниманием Нью-Йоркского Общества Борьбы с пороком, — частно учрежденным у нас советом цензоров. Хотя он еще в живых и работает, и хотя ему еще не больше пятидесяти лет, Дрейзера заменило во-время более молодое поколение.

Джэме Брэнг Кэбел аристократ, постольку, поскольку Американец может им быть. Он — отпрыск старинной фамилии из Виргинии и ведет уединенную жизнь неподалеку от старинного города Ричмонда. Последние семнадцать или восемнадцать лет он посвятил созданию воображаемого мира, населенного псевдо-легендарными героями. В некоторых романах своих, он дал современные типы в противовес своим рыцарям и дамам, и нарисовал мрачную картину вырождающегося общества, но большей частью он парит высоко над гнетом делового мира и уродливостью жизни, словно уединившись в какой-то высокой башне из слоновой кости. Пишет он в псевдо-арханческом стиле, довольно близком к «Contes drôlatiques» Бальзака, и наблюдает жизнь общества с улыбкой спокойного презрения. Произведения его — протест против мира, в котором, как он сознает, для него не нашлось роли. Шедевр его «Юрген», аллегория, рисующая вечные искания человеком справедливости и жажду его разгадать пути Бога и людей, — конечно, подвергся цензуре, и только недавно был признан «нравственным» одним цензором, выдающийся здравый ум которого заставляет опасаться скорого отрешения его от должности или выхода в отставку.

Но не в произведениях Кэбелля следует нам искать отражение современной американской жизни и обычаев: самое большее, что можно в них найти — это попытку мечтателя бежать от этой жизни и этих ужасных обычаев.

Современник его, Джозеф Хэргесхеймер, — гораздо больше дитя своего поколения. Две ранние книги его, «Св. Антоний в миру» и «Горная кровь» — очерки характеров и настроений американцев. «Горная кровь» — повесть о приключениях в духе Брет-Харта, с социологической складкой, напоминающей Х. Г. Уэльса, — прекрасный рассказ из жизни Западной Виргинии. Главная ценность его лежит в романтическом описании той, более или менее, первобытной местности, прелесть которой, главным образом, все еще заключается в дилижансах, револьверах, драках и приключе-

ниях. «Три черных пенни» — представляют собой три рассказа; первый — из жизни пионеров в лесах Пенсильвании, второй — из жизни старинного общества в Филадельфии, и третий — из современной жизни в Нью-Йорке. Каждое из главных действующих лиц — принадлежит к какой-либо семье, эмигрировавшей из Англии в восемнадцатом веке. Первый рассказ происходит вскоре после эмиграции, второй — в начале 1820-х годов, а третий — в текущем столетии. Рассказ «Ява» выдается тщательными описаниями Салэма в 1840-х годах. Но серьезную попытку описать современное американское общество, Хэргесхеймер делает только в своих последних и притом более слабых, романах. «Линда Кондон» и «Киферея» переносят нас в царство повседневной жизни — «высших» классов общества; но в этих книгах, несмотря на большую долю тонкой наблюдательности, писатель словно теряется среди лабиринта слов. Мне рассказывали, что перед созданием «Кифереи» Хэргесхеймер выразил желание заработать достаточную денежную сумму, чтобы осмелиться написать роман о женщине, «которая обладала парой ног» (Цензура, конечно, всегда грозит автору серьезным материальным убытком).

Перевес за последние шесть или семь лет романов, трактующих вопрос о проблеме пола, в широкой мере можно приписать желанию авторов изобразить женщин, «обладающих парой ног». Надо принять во внимание, что такие женщины — «не обладают парой ног» или, по крайней мере «не обладали» ею в Америке до появления Шервуда Андерсона, Хэргесхеймера и Эвелины Скотт. Писатели эти пришли к открытию, что, не взирая на цензора, — которому, очевидно, не хватает времени для прочитывания всех «сомнительных» книг — теперь стало возможным писать и про-давать подобные романы и наиболее дерзкие из них описывают не только ноги, но и многое другое. У Шервуда Андерсона и Вальдо Франка, а особенно у чувственной Эвелины Скотт можно встретить страницы, которые должны были бы

вызвать краску стыда на щеках самого закаленного европейца! Некоторые из этих писателей напоминают мне даму, которая, не желая называть вещи своим именем, подходила к ним окольными путями, применяя при этом еще более крепкие словечки. Проблема пола сейчас в Америке вошла в моду и Эвелина Скотт, также как и ее последователи, ею опьянены.

Большинство названных писателей, — которым внушают отвращение люди, зажатые в тиски Ново-Английской «совести» и отягощенные моральными принципами, поставили себе задачей изображать людей, не только этих принципов лишенных, но даже испытывающих безудержную радость в потворстве своим страстям. Иногда картина бывает преувеличенной и тогда мы имеем дело с романом или рассказом, в котором нет ничего, кроме эротики. Это симптоматично: маятник перенесся из одного полюса в другой, и романист словно испытывает спешную необходимость обратиться к читателям своим приблизительно в таких выражениях.

«Дорогие читатели, впродолжении десятков лет ваши почтенные скромные романисты говорили вам, что героиня — неизменно очаровательное юное существо, которое в жизни не поделует никого, кроме человека, за которого выйдет замуж, и никогда не позволит себе отнестись поощрительно к какому-либо рода «отклонению» в сфере чувства. Очаровательное юное существо это никогда не показывает своей ноги выше шиколотки. Знайте же, что ваш романист либо намеренно солгал вам или, что еще вероятнее, не был знаком с жизнью. Зато я вам открою правду. Эта скромная с виду героиня двенадцати лет от роду потеряла невинность; этот красивый герой — психопат, жизнь которого...»

И писатель принимается описывать жизнь своих героев. Бут Таркингтон — быть может, самый популярный у нас романист, — с нежной сентиментальностью описывает любовь телят; Эвелина Скотт анализирует психологию молодых людей и детей, в мельчайших подробностях описывая всякое

проявление половых функций. Пуритански настроенные критики заявляют, что Скотты, Андерсоны и Франки возбуждают отвращение к проблеме пола, тогда как на самом деле они возбуждают отвращение к романам, затрагивающим этот вопрос в том случае, если романы скверно написаны. Авторы эти только недавно завоевали возможность писать, как им того хочется, и новая свобода временно опьянила их.

«Город» Вальдо Франка — я воздержусь называть этого писателя «американским Достоевским» — представляет собой странное смешение условной сентиментальности и самодовольной грубости. Некоторые из рассказов написаны правдиво, но в большинстве слишком заметны преднамеренность и расчет. Мы встречаем здесь некоторые образы, использованные мягкосердечным О. Генри, но там, где более ранний писатель проливает слезу сострадания над усталой работницей, — молодой следует за ней в ее темную каморку и раздевает ее.

Бэн Хэйт, автор блестящего «Эрика Дорна», несколько более зрел в своей трактовке проблемы пола, чем Вальдо Франк и Эвелина Скотт, и следовательно не так неопытен в изображении мужчин и женщин, в которых половой импульс одинаково силен. Вопрос пола в наши дни так часто трактуется американцами, как изумительное откровение, что мы обращаемся к «Эрику Дорну» с чувством облегчения. Это — история продавца газет в Чикаго, который покидает жену и домашний очаг ради другой женщины. Несмотря на то, что она написана с остротой и смакованием, которые, в конце концов приедаются, — образ Дорна прекрасно сделан. Дорн с головы до ног и насквозь американец, и, кстати сказать, представляет собою новый тип такового: более пресыщенный, более циничный, более развитой, чем тот, каким он традиционно является в представлении европейца.

Муж, покидающий жену — излюбленная тема у молодых писателей. Такова основная суть «Киферей» Хэргесхаймера, «Эрика Дорна» Хэйта и, наконец, «Много брагов»

Шервуда Андерсона. Вот еще признак протеста: в данном случае можно предположить, что читатели (мужчины) находят особое удовольствие в описаниях радостей супружеской неверности и предпочтения одного домашнего очага другому, — ибо книги эти, без сомнения, пользуются широкой популярностью.

Шервуд Андерсон — один из самых лучших писателей небольших рассказов. Его сборник рассказов «Уайнсбург — Охио» включает в себе тонко-подмеченные штрихи провинциальной жизни. Недостаток силы сказывается у него только в более длинных и притязательных романах. Последнее произведение его — «Много браков» — история жизни заурядного делового человека, который, после двадцати лет семейной жизни изменяя жене, уезжает со своей секретаршей. Перед отъездом он раскрывает жене причины, побуждающие его к этому. Роман охватывает период между выбором им решения и выполнением задуманного. В бешенстве эротической экзальтации, он раздевается до-гола, исполняет дикую пляску перед образом Св. Девы, стоящим в его комнате, затем привозит жену и дочь — и сидя голый на кровати, рассказывает им историю развития своей души. Как бы ни был образ этот извращенным и больным, но в самом рассказе чувствуется покоряющая жизненность. Мне думается, однако, что фантастическая пляска перед импровизированным алтарем никогда не пришла бы в голову автору, еслибы ему с детства не внушали, что такого рода поступок безнравственен.

Признаки здоровых основ американской жизни мы находим у Синклера Льюиса — самого известного из молодых американских писателей. Еще около четырех лет тому назад, Льюис был одним из множества присяжных писателей — бодрый, умный, способный. Затем, в один прекрасный день его осенили мысль написать роман для своего удовольствия, — роман из жизни настоящих людей, тщательно, наблюдательно схваченный и правдиво переданный. Он заявил о

решении своем написать книгу эту даже, еслибы ей не пришлось выдержать и одного издания. Соблюдая строжайшую экономию, он посвятил на издание книги этой, под заглавием «Главная улица», целый год. Случилось так, что книга эта сделалась так называемым «романом года»; в одной Америке было продано, быть может, больше пятисот тысяч экземпляров, он стал известным в Англии и был переведен на несколько языков в первый же год появления в печати. Термин «Главная улица» сделался всюду известным и общепотребительным. Роман этот — простой рассказ о псевдокультурной женщине, пытающейся «возвысить» жителей маленького городка в Средне-Западной Америке. «Главная улица» — замечательна изумительным множеством подробностей и мелочей, касающихся провинциальной жизни; в нем типы хорошо подмечены и правдиво описаны. Главный недостаток лежит в горьком сатирическом тоне автора.

«Баббит», — роман, появившийся вскоре после «Главной улицы» во всех отношениях удачнее. Он лаконичнее, лучше написан, и в нем, несмотря на присущую автору сатирическую точку зрения, гораздо более точно воспроизведены характеры действующих лиц, чем в предыдущем произведении. Джордж Ф. Баббит, прототип двух десятков миллионов американских деловиков, набросан даже с долей нежности. Вульгарный, пустой, ненадежный, великодушный, консервативный, но ограниченный в своем мирозерцании, это все-же — поразительный образ. Город, в котором он живет, — один из тех чистеньких, новых, цветущих городов Америки, которых тысячи и тысячи, — описан до того правдиво, что ни один американец не может читать этой книги без того, чтобы не сознавать, что наконец его «родной город» нашел своего историка.

То, что американец находит в двух этих книгах, есть отражение его самого, его друзей, его соседей и окружающей обстановки. Ни Марк Твен, ни Хоуэлс, ни даже Дрейзер не были в силах заключить в целом ряде своих произведений

столько истинно-американского, как удалось это сделать Синклер Льюису в двух романах. Американец, который одевается, как все другие американцы, который боится высказать какое либо мнение, несхожее с мнением, выраженным в ежедневно получаемой им газете, ставящий дело превыше всего остального — вот образ, раз и навсегда запечатленный в «Баббит».

То, чего Андерсон и Франк, Дрейзер и Льюис достигли в области литературной прозы, пытаются достичь и поэты. Имя им — легион; большинство из них пробуют себя в области свободного стиха, а двое или трое из них иногда пишут и стихотворения. Карл Сэндбург воспевае хвалу рынку свиней в Чикаго; он умен, «оригинален», но немного чересчур старается казаться элементарным. У Вэчель Линдсей — меньше преднамеренности в ее американизме, а потому и больше убедительности. Эми Лоуэлл, с ее удивительным богатством языка, имеет больше значения как критик поэзии, чем как поэт, хотя ее произведения, написанные свободным стихом, — самого высокого порядка. Эдгард Ли Мастерс, несмотря на недостаток поэтического огня — все же несомненно сильный сатирик. Лучшая из его книг — «Антология Слуп-Ривер», заключающая в себе несколько сот вымышленных эпиграфий над могилами умерших в маленьком городке Среднего Запада. Это — тяжелая повесть о скупости, сладострастии и убийстве. У «дорогих умерших» едва ли можно уловить хотя бы какую нибудь светлую черту! Опять признак протеста. Простодушная набожность слов: «Здесь покоится» или «Блаженной памяти» — как будто вызвала у автора горькое чувство сатиры, и он на свой лад воспевае жизни тех, о которых принято было отзываться в самых хвалебных выражениях. Другими словами, Мастерс следует правилу: «Говори об умерших одно только худое».

По нескольким причинам, которых нет надобности здесь касаться, национальный театр далеко отстал от романа, рассказа и поэзии. У нас всегда существовали сотни драмати-

ческих писателей третьего разряда, но до самого последнего времени не было никого, кто мог бы сравниться с лучшими драматургами Европы. Евгений О'Нэйлл, еще не достигши тридцатипятилетнего возраста, уже стал одним из пользующихся наибольшим успехом и известностью современных американских драматургов. Он также и самый даровитый драматург, когда либо существовавший в Америке. С появлением в свет «Императора Джонса» и «Анны Кристи» мы наконец, имеем право говорить о зарождении у нас национальной драмы *). Как и в романах по вопросу пола, здесь есть сознательный протест против условностей прошлого: сильные положения, сильный язык и сильные страсти служат здесь лишь признаком желания автора бежать от ветхого прошлого, — где «здоровые» герои ухаживали за «невинными» героинями и где печальный конец считался проклятием.

Являются ли названные мной писатели провозвестниками новой эры в американской литературе? Отражают ли их произведения жизнь их народа? Никто не может сомневаться в том, что мы находимся в новой эре, и писатели эти, как и некоторые другие, разносторонне отражают в произведениях своих жизнь Америки. Прочитав «Главную улицу», «Баббит», «Эрика Дорна» и несколько рассказов Шервуда Андерсона, иностранный читатель может в настоящее время создать себе более или менее соответствующее действительности понятие об Америке и американцах. Сомневаюсь, чтобы какая нибудь книга, или даже несколько книг, могли двадцать лет тому назад дать представление настолько же точное, если только не верить тому, что до 1900-х, допустим, годов, — Американец был каким-то благородным существом, почти вовсе лишенным пола.

Однако сейчас представители национальной литературы все еще находятся в стадии развития: многие из молодых

*) См. статью «Американский театр», Беседа, книга первая.

писателей и писательниц обуреваемы ложным убеждением, что эротика может и должна быть творческим путем, как таковая. И то, что можно сказать о них, равно относится и ко всем американцам, которые, в силу своей восторженности, чрезмерны во всех своих симпатиях и антипатиях, — импульсивны, бурны и сентиментальны. Думаю, что это — признак здоровья, а вне здоровья — невозможно искусство.

Первым шагом к развитию национального искусства послужило развитие самосознания; процесс этот уже начался, и, насколько я могу судить, теперь уже кончается. Когда американским писателям будет дана широкая возможность вполне свободно высказываться, без опасения общественных предрассудков и самого грозного воплощения их — цензора, Америку можно будет считать подготовленной к широкой национальной культуре. Но, быть может, мы уже находимся в этой эпохе? Кто может это разгадать, пока она не отойдет в область прошлого?

II

Несколько лет тому назад обстоятельства принудили меня поселиться в одном из старых кварталов Нью-Йорка. Небольшая улица, в которой я жил и работал, представляла узкий проход, по сторонам его тянулись высокие здания контор, кое-где прерываемые небольшим рядом обветшалых домов, построенных в том стиле, не то роскошном, не то нелепом, который процветал у нас незадолго до возникновения нашей гражданской войны шестидесятых годов. В расстоянии одного квартала на восток находился Третий Проспект с его громохочущей «Надземной» железной дорогой, отравляющей день и превращающей ночь в пытку; а в трех кварталах на юг — Четырнадцатая улица, одна из главных перекрестных артерий города.

Место, где я жил, называлось — «площадью Ирвинга», и не было лишено известной своеобразности: во первых,

здесь стоял старый дом Вашингтона Ирвинга, еще не тронутый прогрессом современной архитектуры; во вторых — кирпичные дома зажиточных горожан, внуки которых в наше время живут в модных квартирах Западной части города. Я был еще очень молод, когда мне пришлось поселиться в этом квартале, и после первого моего путешествия в Европу, находился в подавленном состоянии духа. Как я ни старался, мне не удавалось заставить себя забыть, что я живу среди уродливых зданий, и — я был несчастлив. Возбуждение подсказывало мне, что с этой местностью должны быть связаны какие нибудь происшествия; обстановка дышала драматизмом и таинственностью. Другое дело, еслибы все это было в Лондоне: там я мог бы себе представить живущими в этих мрачных кирпичных домах героев Диккенса и Тэккерей; за пыльными зелеными ставнями могли бы скрываться поobleкшие старые девы и полумумные скряги, отчаянные искатели приключений и бессердечные злодеи; но увы! кому же было лучше знать действительность, как не мне? Из моей голубятни я мог наблюдать за бледными русскими еврейками, склоненными над швейными машинами, и я знал, что они, не разгибаясь, работают по десять часов в день, шесть дней в неделю.

Мало по малу, в течение долгой и особенно суровой зимы, площадь Ирвинга стала принимать другой вид. Перемена, очевидно, произошла во мне самом. Оскар Уайльд когда-то изрек замечательный парадокс, граничащий с правдой, сказав, что никто, «никогда не видел заката солнца, пока его не написал Тэрнер...» Я начал читать О. Генри, и понял, что я не видел моих соседей, пока он мне их не показал. Я прочел десять томов полного собрания его рассказов, и убедился, что живу в той самой сердцевине Нью-Йорка, которую автор больше всего знал и любил.

Тотчас же за углом, в двух шагах от моего дома, находился Эльзасский ресторан, так очаровательно описанный им в «Человеке с алебардой», — забавное старинное здание со

стенными украшениями в стиле излюбленном немцами сороковых годов, искусно иллюминированном горящими текстами, которые приглашали гостей усердно пить и наслаждаться жизнью. Особенно запомнилось мне одно двуступище, которое следовало бы сохранить для назидания потомства:

«Майн либер фрейнд, их рате дир,
Тринк Христиан Гупфельс лагер бир!»

Наверное, этот перл появился на свет уже после смерти О. Генри, иначе он наверное включил бы его в один из своих рассказов.

Пять минут ходьбы по направлению на Запад — и я стоял перед церковью, тождественной с той, о которой упоминает автор в «Гимне и Колокольне». Это — безнадежно уродливое здание, но для меня лично оно имеет большое значение. Еще пять минут ходьбы в этом же направлении, — и я был на Шестом Проспекте, излюбленном месте встреч героев О. Генри. Шестой Проспект нельзя сравнить ни с одной улицей мира: он грязен, шумен и запружен. Китайские рестораны, прачешные, второразрядные лавки одежды и мебели, — вот самые характерные признаки многообразной жизни Шестого Проспекта. О. Генри сделал эту улицу своей неотъемлемой.

Европейцу, быть может, будет несколько затруднительно понять мою точку зрения, но я все же считаю нужным упомянуть о ней, потому что ее разделяет большое число именно тех американцев, которые стремятся повысить уровень национальной литературы и искусства. В течение минувших шестидесяти или семидесяти лет многие американские художники и писатели — отличным примером этого служат Генри Джэкс и Уистлер — сочли себя вынужденными покинуть свою родину, дабы найти подходящую себе среду в Европе. Америка не привлекала их; она была лишена и традиций и духа — так, по крайней мере, они заявляли и чувствовали.

Но те, которые остались на родине, по временам пытались создать, — иногда намеренно, а часто и бессознательно, национальное творческое направление. К их числу принадлежал, например, Уильям Дэн Хоуэлс.

В наши дни, Нью-Йорк, широко использованный большим числом писателей, имеет свою собственную литературную атмосферу, и сентиментальный турист может воспринимать в Нью-Йорке столь же яркие впечатления, какие знакомы молодым американцам, впервые посещающим Европу.

По моему мнению, О. Генри запечатлел в сочинениях своих некоторые разновидности жизни известных частей Нью-Йорка в период между 1895 и, скажем, 1908 годами. Я принужден сказать: «некоторые разновидности», так как его знание жизни и интерес к человечеству были строго ограничены. Однако, все что написано им, написано сравнительно удачно. Успех его в Америке легко объясним, во-первых, его замечательным даром рассказчика; у него прирожденное умение ткать и вышивать занимательные узоры.

Затем он хорошо знает людей — на самом деле он знал их еще лучше, чем показал это в сочинениях своих — и умеет вдохнуть в них жизнь. Наконец, он описывал, — несколькими четкими штрихами, — улицы, дома и лавки знакомые любому Американцу.

Действие многих рассказов О. Генри происходит, как известно, в Техасе и на дальнем Западе, — но любимым его местом действия был Нью-Йорк. И Дальний Запад, описываемый в «Сердце Запада», и Техас, представленный им в целом ряде чисто романтических рассказов, кажутся мне чуть-чуть искусственными, а ковбой и бродяги напоминают маскарад. — Может быть, я несколько преувеличиваю, но делаю это в большой степени для того, чтобы оттенить сравнение между романтическим фоном прерий и гор с не менее романтическим фоном Мэнхэттана. Здесь, в среде людей, принадлежащих к «Четырем Миллионам», О. Генри был, как у себя дома; на фоне Шестого Проспекта, Вашингтонского

Сквера, Четырнадцатой улицы и парка Грэмерси он создал самые жизненные свои рассказы и лучшие свои типы.

Я осмеливаюсь утверждать, что умение О. Генри писать рассказ самого рассказа ради остается еще не превзойденным в американской литературе. С ним можно сравнить разве только Поэ и Хауторна, да и то эти, более ранние писатели, не были так поглощены самим повествованием; их занимали вопросы мало относящиеся к мастерству сочинять рассказ в чистом смысле этого слова. Этим авторам недостает того, что является выдающейся заслугой О. Генри, а именно его неисчерпаемого любования жизнью, неиссякаемой любви к ней. В каждом его рассказе чувствуется дыхание неумного ветра прерий, — ветра, проникающего в самые темные углы. Эта свежесть, этот вечно-готовый отклик на призыв жизни, этот врожденный оптимизм — вот что придает каждому его рассказу четкость линий и прозрачную ясность. Мы американцы, читаем его с особенным чувством удовлетворения; он возрождает в нас веру в человека и даже делает нас слепыми перед фактами, с которыми мы не решаемся встретиться лицом к лицу.

Здесь то и дают себя впервые знать его недостатки. Как известно, О. Генри отбывал тюремное заключение, и в наиболее серьезных рассказах его чувствуется затаенная скорбь и разочарование. Автор был щепетильно-молчалив по отношению ко всем неприятным и трагичным сторонам жизни, как будто его связывал данный самому себе обет никогда не открывать всего, что он знал. Я представляю его себе одним из тех Американцев, которые вскользь замечают, что «жизнь слишком полна огорчений, чтобы их умножать, повествуя о них в книгах». Весьма возможно также, что он слишком хорошо знал: журнал, от которого он был материально зависим, примет к печати только рассказы с благополучным концом или, по крайней мере, с достаточным количеством сентиментальности, нужной для успокоения чересчур чувствительного читателя.

Наиболее характерные рассказы из всего собрания сочинений заключены в сборнике под названием «Четыре Миллиона».

Название это является сатирической парафразой клички «четыре сотни», кем то однажды примененной к тому числу жителей Нью-Йорка, которых «действительно стоит знать». Однако, доброжелательный и мягкосердечный писатель думал иначе; он заявил, что «стоит знать» вовсе не «Четыреста», а «Четыре Миллиона» людей, и принялся рассказывать о продащицах и комми-воажерах, о мясниках и служащих в банках. Вот люди, которых он любил и которых описывал с самой искренней симпатией.

Помните ли вы рассказ о «Даре Мага»? Молодой человек и жена его, без копейки денег, без каких бы то ни было надежд в будущем, — встречают сочельник; все материальные средства мужа заключаются в хороших карманных часах; — все состояние жены — в ее прекрасных волосах; муж решает заложить часы, чтобы купить жене гребень; жена — продать свои волосы, чтобы купить мужу цепочку для часов. Рассказ этот несколько сентиментален и задуман довольно искусственно, но зато весь напоен нежностью. А вот еще рассказ о «Шеевытягивателях»; это разговорный термин, еще и теперь применяемый к прирожденным зевакам, — молодые жених и невеста отправляются на свадьбу и замечают столпившихся у входа в церковь «Шеевытягивателей». Будучи сами убежденными зеваками, они останавливаются, чтобы следить за происходящим, и забывают о свадьбе. Или, рассказ о девочке, приехавшей в Нью-Йорк в поисках работы, которая после дня, полного неудач, подымается в свою каморку с одним слуховым окошком, улегшись на кровать, начинает смотреть на небо и видит в нем мерцающую звезду*).

*) Рассказы эти изданы «Всемирной литературой», равно как и роман «Король и капуста».

Это — трогательный рассказ, но давая волю критическому суждению, я тотчас же замечаю основной недостаток автора, как художника, недостаток, заключающийся в том, что автор немедленно обрывает рассказ, как только в нем появляется элемент трагизма. Пока он занимался тем, что рассказывал нам забавные истории про ковбоев, или сочинял небольшие анекдоты, в которых окончательная развязка является «*raison d'être*» всего произведения — мы им вполне довольны: «Друзья из Сан-Розарио» и «Карусели» являются вполне удачными примерами развития мыслей, в них проведенных. Замкнутость автора начинает раздражать лишь тогда, когда он знакомит нас в парке на скамье с трудящейся девушкой, пытающейся разрешить задачу существования пятью долларами недельного заработка; он делает всего несколько намеков на истинные трудности ее положения, проливает слезу сострадания, рассказывая нам о том, что она не может купить себе красивого платья, — но никогда не допускает ее встретиться лицом к лицу с вечным вопросом, с которым, как ему отлично известно, сталкивается всякая девушка этого порядка.

Напрасно силюсь я вспомнить хоть какойнибудь рассказ О. Генри, в котором встретилось бы нечто более, чем старательно-замаскированный намек на какоелибо нарушение моральных основ; я вызываю в памяти моей целую вереницу бродяг, мелких служащих, людей, закабаленных трудом, и не могу найти ни одного виновного в преступлении худшем, чем грабеж на большой дороге, — преступление, которое в конце концов, можно причислить к наиболее невинному роду нарушения законов, вроде уклонения от подоходного налога или продажи спиртных напитков после запрещения их. Без сомнения, всякий, знающий жизнь Нью-Йорка так же хорошо, как ее знал О. Генри, мог бы написать рассказы, более приближающиеся к жизненной правде, чем все те, которые находятся в полном собрании его сочинений. Боялся ли он слишком глубоко зайти? Думаю, что да, и что

виной этому были, в известной степени, его читатели, которые, как и он сам, черезчур мягкосердечны и неохотно следовали за героями в непривлекательный мир горя, порока и грязи.

В конце концов, автора очень трудно судить за все им недосказанное, а нам, Американцам, еще легче его простить, ибо недостатки его для нас типичны и характерны. Европейцам уже известно, не только из нашей литературы, но также и из наших фильмов, что Американец по натуре своей существо здоровое, доверчивое, наивное и полное оптимизма; Уолт Уитман, как мне кажется, дал толчок нашим более молодым литераторам воспевать положительные стороны нашей современной цивилизации, умалчивая об отрицательных. В настоящее время, однако, у нас царит жестокая реакция, направленная против оптимизма, хотя и Вальдо Франкса, и Шервуд Андерсона уже можно назвать не более, чем симпатомами этой реакции; они пытаются восстановить равновесие и закончить картину, начатую О. Генри.

Вслед за этими наблюдениями, я позволю себе объяснить сущность американского национального духа О. Генри и определить, какое именно значение он имеет для американского читателя.

Я рассказывал Герману Бар о том, что именно американцы подразумевают под терминами «Высоколобый» и «Низколобый». Бар терпеливо выслушал мои объяснения и приведенные мной примеры, опустил в кресло и захохотал.

«Прекрасно», сказал он, «это — признак здоровья и энергии!» Наше недоверие, нашу почти что ненависть к Высоколобым, — австрийский писатель назвал многообещающим признаком здоровья и энергии американцев. Неодобрительно смотреть на отношения Высоколобого к Низколобому — значит высказывать здравую боязнь интеллектуальной аффектации, ибо исполненный самомнения Высоколобый считается существом высшим, полным болезненного сознания своего культурного превосходства. Восторженная дама, пытаю-

хотел основать новый Байреит на Лонг-Эйланд, или Общество поэтов, энергично старающееся учредить школу Свободного Стиха — стремятся не только к недостижимому, но даже к нежелательному, ибо хотят навязать массе то, чего она не хочет и не может воспринять.

Главное различие между европейцем и американцем среднего образования в том, что первый бывает часто Высоколобым сам того не сознавая, тогда как последний — если только он в действительности Высоколобый — слишком хорошо это сознает. В Европе есть многочисленный класс людей, которых у нас называли бы Высоколобым, к которым массы относятся с уважением и называют попросту «Интеллигентами»; в Америке же Высоколобый является рыбой на суше, феноменом, неизменно сознающим свое странное положение.

Моя консьержка в Париже читает Альфреда де Мюссе, а зеленщик терпеливо высиживает три часа подряд в Одеоне, слушая Корнейя, — что свыше моих сил. А не рассказывали нам М-р Александр Вулькот о шоффере, который показал замечательное знание разнообразного репертуара Парижской Оперы? Эти люди — Высоколобые самой глубокой — или вернее высокой марки, а между тем на них никто не косится. Другое дело в Америке: портье квартиры, в которой я последнее время жил в Нью-Йорке — вполне довольствовался юмористическим приложением к журналу, и я предполагаю, что большинство наших кэбменов так же мало смысляет в репертуаре нашего оперного театра, как и я сам.

Наши Высоколобые много шумят о Девятой Симфонии, Гамлете и «Летучей Мыши» Балиева. В Европе же эти вещи принимаются, как нечто должное, что означает вовсе не то, что их умеют ценить, а просто то, что цивилизованный человек в Европе имеет всю эстетическую лицу, в которой чувствуется потребность. Быть же в Америке Высоколобым — очень часто значит быть отрезанным от других представителей человеческого рода.

Быть может, лучшим средством излечиться от этой болезни было бы стать еще более Высоколобым — не знаю. Но в одном я уверен: это в том, что мы должны научиться быть искренними с самими собой. Мы никогда не достигнем успеха, насаждая у себя чужую культуру, но за то можем с пользой поучиться кое-чему у Европы. Будем помнить, что Европейская культура в росте своем естественна, самобытна и необходима.

Я верю в то, что мы со временем разовьем свою собственную культуру, которая будет, как и все другие национальные культуры, выражением жизни и идей нашего народа. Но, развивая это национальное искусство, было бы, я думаю, полезно с полной искренностью признаваться в наших мнениях. Возвращаясь к О. Генри.

Я уже упоминал о двух разрядах рассказов, в которых он себя превзошел: о серьезной повести из жизни Нью-Йорка и о бодрящем рассказе из жизни прерий. В них, как и во всех других, на первом плане стоит сам рассказ, написанный главным образом ради того, что называется «фокусом» рассказа. Прием этот не новый: Мопассан довел его до совершенства в рассказе «La raquette», но еще никто не написал столько рассказов с «фокусом», как О. Генри. Возьмите любой сборник — я особенно рекомендую сборник под названием «Добрый Садовник», — и вы прочтете десять или пятнадцать рассказов подряд, не заметив как пролетело время: вы будете хохотать над развязкой одного рассказа, немедленно перейдете к следующему, твердо решив прочесть «еще только один», и закрыть книгу, чтобы насладиться остальными на следующий день. Но обыкновенно вы дочитываете книгу до конца, и откладываете ее в сторону, несколько утомленный. Вечная погоня за «фокусом» — вещь, иногда вредно отзывающаяся на нервах; она имеет сходство с приемом лекарства, и реакция приблизительно та же. Если только рассказ, который вы читаете, не принадлежит к лучшим двадцати пяти или тридцати произведениям автора, —

вы поймаете себя на том, что искали «фокус» рассказа и больше ничего. Вина в этом не читатель, а сам автор, ради этого «фокуса» написавший свой рассказ, преследуя целью щекотать ваши нервы, возбуждая ваше любопытство, с тем чтобы удовлетворить его лишь в заключительных строках.

Обратимся к первому рассказу в сборнике «Добрый Садовник». Два приятеля в небольшом мексиканском городке скупают все спиртные напитки, которые можно было найти в городе во время наводнения, отрезавшего город от всякого сообщения с внешним миром. Скупив всю находившуюся в городе виски они имеют возможность назначить за нее любую цену, и делают блестящие дела, продавая один стаканчик за доллар. Но один из участников сам горький пьяница, — он рано утром исчезает, предоставив другому обслуживать многочисленных клиентов. Однако, вскоре число посетителей начинает постепенно уменьшаться и, наконец, никто больше не появляется. Трезвый компаньон в отчаянии: что же могло случиться? «Фокус» раскрывается в конце, когда ему сообщают, что товарищ его, вдребезги пьяный, своим бесподобным красноречием в качестве проповедника трезвости обратил все мужское население города в ярых трезвенников.

Вот самый лучший пример такого рода рассказа, представляющего собой не более, чем анекдот. Читатель торопится пробежать десяток страниц чтобы скорее дойти до конца, ни на минуту не останавливаясь, чтобы проследить как им образом автор к этому концу его приводит, или почему именно данное стечение обстоятельств повлекло за собой такой конец. Передавая суть какого либо рассказа О. Генри на словах, — вы лишаете его почти всей прелести. Я знавал людей, которые серьезно обижались, если им рассказывали содержание какой либо пьесы, хотя бы в главных ее чертах, заявляя, что познакомиться с ней до представления — лишает их всякого удовольствия потом увидеть ее.

Из всего этого видно, что увлечение произведениями О. Генри может стать весьма пагубной привычкой, которую американец, однако, легко сможет ограничить: заваленный делами янки возьмет в руки том сочинений О. Генри, прочтет тридцать рассказов, затратив на это гораздо меньше времени, необходимого для прочтения романа, и будет воображать, что совершил какой то подвиг «производительности». Как народ. мы начали терять привычку внимательного отношения к читаемому. Длинный роман, лишенный захватывающих происшествий, у нас перестает быть популярным, и место его постепенно занимает журнал с короткими рассказами о любви и приключениях и злободневными статьями о средствах достижения успеха в делах. О. Генри отлично сознавал это, и без сомнения по этой причине им написан всего лишь один роман — «Короли и Капуста» — который никоим образом нельзя сравнить с лучшими из более коротких его рассказов.

По этим причинам, рассказы О. Генри не только потакали умственной лени читателей, но повлияли также в большой мере и на более поздних писателей, которые стали так часто прибегать к приему рассказов с «фокусом», что он уже начал приедаться. Нахожу нужным добавить, что к тому же у новых писателей в большинстве случаев отсутствует вдохновение, которое придавало произведениям О. Генри самостоятельную и жизненно-национальную окраску.

Настанет день, когда О. Генри займет свое положение в Американской литературе; в настоящее время мы еще слишком близко стоим к миру, который он описывал, слишком хорошо знаем его, как человека, чтобы иметь возможность беспристрастно оценить его творчество. Но этот день придет и станет ясным, что многое им написано небрежно, а стиль сочинений его настолько неотделим от современной ему эпохи, что изучающий не будет в состоянии разобраться в рассказах Генри, без словаря Нью-Йоркского жаргона, и наконец, что Генри, в угоду вкусам американцев, писал только о том, что

забавно или сентиментально, старательно избегая всего мрачного, порочного и трагически-значительного.

В настоящее время О. Генри, как и многим современникам его по всему миру, весьма вредит издание полного собрания его сочинений. Издатели настойчиво перепечатывают все рассказы и наброски, которые только случится найти в кипах старых газет и журналов, не взирая на качество материала; а читатели, в пример предприимчивым издателям, настойчиво требуют всего, что только ни подписано этим волшебным именем. Я часто жалею, что прочел все десять томов его сочинений или, по крайней мере, что они не попали в мои руки порознь. Слишком трудно прочесть всего один или два рассказа, — и остановиться на этом.

Мне иногда приходит в голову посоветовать издателям выпустить в свете хотя бы два тома избранных, самых лучших рассказов, предоставив всему другому, созданному, очевидно, под давлением материальных обстоятельств, мирно покоем на полках библиотек. Но я сознаю, что эта мысль безумна: во первых, продажа полного собрания сочинений О. Генри дело слишком прибыльное, во вторых, привычка покупать его книги вкоренилась так же глубоко, как и чтение его рассказов. Наконец, я глубоко сомневаюсь, чтобы два человека могли бы придти между собой к соглашению, какие именно рассказы можно причислить к лучшим, и какие следует предать забвению.

В конце концов, не мое дело принимать за других какие либо решения в художественной сфере; каждый должен сделать это самостоятельно, как это сделал я, не отделяя плохого от удачного. Отделять какую нибудь частицу от всего литературного вклада О. Генри, сейчас было бы для нас своего рода кощунством. Его заслуга перед американской литературой слишком для этого велика: не он ли явился первым, или одним из первых, показавшем себя всецело и неподдельно американским писателем? Не он ли сам был упоен своим истинно-национальным духом, не он ли гор-

дился своим провинциальным происхождением, не он ли воспевал любовь к домам, улицам и людям истинно американским?

В заключение, я могу повторить, что О. Генри является настоящим американцем; без сомнения, была бы смешна мысль, что произведения его могут быть переведены на иностранные языки, а, может быть, он и ужаснулся бы, если бы европейские критики слишком серьезно к ним отнеслись. Обратите внимание на его отзывы об европейских «знаменитостях», о серьезных книгах и произведениях искусства: в них ясно чувствуется типический американец, который боится, чтобы его не приняли за «Высоколобого» и не хочет чересчур выделяться из среды себе подобных.

О. Генри запечатлел в своих творениях, если не целую сторону американской жизни, то, по крайней мере, ту частицу ее, которая близка и понятна любому американцу среднего уровня. С тех пор Америка изменилась, и эпоха 1900 года отошла в область предания; одни писатели глубже, чем он, затронули жизнь; другие в тонкостях изобразили то, чего бы он никогда не коснулся, но никто еще с такой любовью и с таким обаянием не отразил в творениях своих дух века.

Проф. Гарри Шмидт

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СО СТОРОНЫ АСТРОНОМИИ

Перевод с рукописи

По сообщениям, сделанным в свое время в печати, читатель вероятно помнит, что для наблюдения полного солнечного затмения 21 сентября 1922 г. были отправлены три научных экспедиции, с целью подвергнуть теорию относительности Эйнштейна экспериментальной проверке. Вследствие неблагоприятной погоды, только одна из этих экспедиций могла достичь желанной цели, т. е. сделать необходимые фотографические снимки. Это была экспедиция Ликской обсерватории в Калифорнии, которая под руководством астрономов Кемпбелля и Трюмплера направилась на северо-западный берег Австралии, в местность Воллал. Проявление и измерение соответствующих фотографических пластинок чрезвычайно кропотливая и длительная работа, и лишь недавно полученные результаты были опубликованы в бюллетене 346 Ликской обсерватории. Они дали блестящее подтверждение мыслей Эйнштейна.

В какой же связи находится явление полного солнечного затмения с теорией относительности? Нижеследующее даст краткий ответ на этот вопрос.

Один из важнейших основных законов оптики говорит, что лучи света распространяются строго прямолинейно и с огромной скоростью в триста тысяч километров в секунду. С тех пор, как стало известно, что природа света не материальна, все считали само собою разумеющимся, что в прямолинейности его распространения ничего не меняется и в том случае, когда лучи света проходят вблизи материальных тел любой величины. Если подобные тела притягивают с определенной силой все окружающие их на большем или меньшем расстоянии материальные массы, то ведь света это совершенно не касается, именно потому, что он не материя; сила притяжения тела не может оказать на него никакого влияния. Так думали, по крайней мере, физики до настоящего времени. Однако, Альберт Эйнштейн, на основании чисто теоретических соображений, пришел к совсем иному воззрению. Именно к тому выводу, что и свет притягивается обыкновенной материей. При случае мы вернемся к вопросу о том, каковы были основания для этого вывода; для сегодняшней же нашей цели достаточно знания указанного факта. Его коренное значение для физики понятно и не специалисту; он ясно показывает, как глубоко теория относительности вторгается в существовавшую до сих пор научную картину мира. Эйнштейн, следовательно, утверждает: каждый световой луч притягивается любым материальным телом. И тем сильнее, чем больше масса этого тела, и чем ближе к нему проходит световой луч. Естественно, что у каждого физика должно явиться желание проверить это утверждение на опыте. Но математические формулы Эйнштейна, к сожалению, с самого же начала убедят его, что такое начинание безнадежно. Дело в том, что величина той притягательной силы настолько ничтожна, что действие ее не могло бы быть замечено даже в том случае, если бы в качестве притягивающего тела взять весь наш земной шар. С помощью лабораторных опытов здесь, следовательно, ничего нельзя достигнуть.

Но тем больше его теоретическое значение, то-есть его ценность для нашего познания природы. Поэтому, все усилия будут направлены на то, чтобы все же доказать существование этого явления на деле. Масса земли оказалась слишком ничтожной, чтобы дать желанный результат. Но в мировом пространстве существует много небесных тел, масса которых значительно превосходит массу земли. Например, солнце. И расчет показывает, что массы его было бы достаточно, чтобы оказать заметное влияние на лучи света, проходящие в непосредственной близости от него. Влияние это, естественно, будет заключаться в том, что лучи света, при приближении к солнцу, будут отклоняться в большей или меньшей мере от своего прямолинейного пути и, следовательно, получают искривление, при котором выпуклая сторона каждого луча будет обращена к солнцу. Остается только вопрос, как произвести с земли подобное наблюдение, и как установить его результаты с достаточной достоверностью.

Принципиально этот вопрос разрешается чрезвычайно просто. Если мы отметим на звездном небе группу расположенных близко друг от друга неподвижных звезд, то расстояния между ними покажутся нам вполне определенными, и их можно измерить с большою точностью, если снять эту звездную группу на фотографическую пластинку с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Если бы теперь свет этих звезд на своем пути к земле проходил вблизи достаточно большой массы, то отдельные лучи, вследствие предсказанного Эйнштейном отклонения, должны были бы получить искривление, которое в общем, для каждого луча будет иным. Потому что лучи пройдут ведь на разных расстояниях от соответствующего тела — один, быть может, в непосредственной близости, другие на более далеком расстоянии — и, в зависимости от величины этого расстояния, наступающее искривление будет больше или меньше. Но искривление путей означает изменение их направления, и так как свет, миновав отклоняющее тело, продолжает свой путь прямоли-

нейно, то лучи достигают земли в измененном направлении. Из этого следует, что взаимные расстояния звезд покажутся нам теперь иными, чем раньше, когда отклоняющее свет тело отсутствовало. Очень точными измерениями полученных фотографических снимков можно было бы установить это изменение расстояния между звездами, и тем самым проверить правильность Эйнштейновского утверждения — если бы достаточно большое тело оказало нам эту услугу и встало в определенное время между звездами и землею.

Эту услугу, на самом деле, ежедневно оказывает нам солнце. Но и это нам пока еще мало помогает: в то время, когда солнце стоит на небе, его сияние заслоняет свет звезд в такой сильной мере, что их нельзя ни видеть, ни фотографировать. Только полное солнечное затмение делает подобные снимки возможными. Этим фактом завершается, наконец, весь ряд наших мыслей.

Для того, чтобы констатировать наступление теоретически предсказанного Эйнштейном отклонения световых лучей обыкновенной материей, необходимо, во-первых, сфотографировать во время полного солнечного затмения непосредственно окружающую солнце часть неба, во-вторых, сделать фотографический снимок того-же участка неба несколько месяцев спустя, когда солнце находится в другой части неба, и в-третьих, сравнить полученные таким образом пластинки при помощи самых тщательных измерений. Если предсказанное отклонение имеется налицо, то взаимные расстояния отдельных звезд на этих снимках должны отличаться на вполне определенную величину.

Полные солнечные затмения — явление сравнительно редкое. Астрономы могут рассчитать их наступление с величайшею точностью на много столетий вперед. Эйнштейновский расчет отклонения света относится к 1911 году. Следующее солнечное затмение приходилось на 24 августа 1914 года, но начало войны помешало немецкой экспедиции отправиться на Кавказ, где оно было полным. Таким образом, первую про-

верку пришлось отложить до 29 мая 1919 г., когда двум английским экспедициям, под руководством знаменитого Кэмбриджского астронома Эддингтона, удалось сделать необходимые снимки солнечного затмения, с одной стороны — в Собрале, в Бразилии, с другой — на Принцевых островах, на западном берегу Африки. Полученные при этом результаты, правда, говорили в пользу Эйнштейновского утверждения, однако, повторение этих опытов при следующей-же возможности представлялось безусловно желательным.

Это и удалось осуществить, как я упомянул в начале, 21-го сентября 1922 г. Изготовленные с величайшей осмотрительностью снимки были измерены с наивозможной точностью. Они обнаруживают сдвиг у целого ряда звезд, причем и величина сдвига прекрасно согласуется с тем, что можно было ожидать на основании теории относительности. Таким образом, отклонение света материей не представляет больше никаких сомнений.

Д-р Эдуард Эркес

НОВЕЙШАЯ НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА О КИТАЙСКОМ ИСКУССТВЕ

Перевод с рукописи

Еще два десятилетия тому назад искусство Восточной Азии рассматривалось почти только как нечто диковинное, могущее представлять интерес не для историка искусства или историка культуры, а лишь для этнолога. Сегодня же оно является фактором, приобретающим все большее значение для современной культурной жизни; указывая новые пути и открывая европейскому искусству новые возможности, оно возбуждает все больший интерес историков искусства. Япония первая из восточно-азиатских стран привлекла внимание Европы, в начале мало значительными отраслями своего искусства, как то цветными ксилографиями и гравюрами, которые и теперь еще усердно коллекционируются, а затем уже своей живописью и пластикой. Китай же — родина дальневосточной культуры и искусства — был долгое время представлен в Европе лишь предметами своеобразной художественной промышленности, предназначенной исключительно для вывоза; и только теперь мы постепенно знакомимся с его утонченными художественными достижениями, во многом опередившими западное искусство. О степени их совершенства мы еще двадцать лет тому назад не имели понятия.

Вначале мы получали лишь описательные каталоги предметов искусства Восточной Азии; за ними появились первые,

довольно еще поверхностные, дилеттантские попытки понять и объяснить все новое и разнообразное, открывшееся Западу в китайской живописи и скульптуре. Но за последние годы стали появляться уже серьезные труды опытных исследователей искусства, которые успешно ознакомили Запад с еще недавно столь чуждым ему миром художественных переживаний Дальнего Востока, в связи с общей культурой восточной Азии и с ее влиянием на Запад. Напечатанная десять лет тому назад, во многих отношениях дилеттантская книга Оскара Мюнстерберга, хотя и послужила распространению неверных представлений о китайском искусстве благодаря несуразным гипотезам и бесчисленным ошибкам, но все же имела несомненную заслугу: благодаря большому числу хороших иллюстраций, книга эта возбудила интерес в широких кругах и подготовила почву для новых исследований искусства. Первая серьезная работа «Искусство Восточной Азии» Курта Глазера, (Curt Glaser, Die Kunst Ostasiens, Leipzig, Insel-Verlag) появилась в 1913, а во втором издании в 1922 г.; хотя она, в виду недостаточности наличных в то время материалов, и не стремится дать историческую картину развития китайского искусства, но все-же она старается определить общий характер дальневосточного искусства и объяснить его отклонения от развития обще-европейского типа, вызванные особыми условиями его возникновения и развития. Книга рассматривает с тончайшим пониманием главные виды китайского искусства: изображения богов, портреты, исторические картины, пейзажи, а также особые приемы изображения, напр. взаимоотношение предметов в пространстве, и своеобразный характер перспективы. Здесь исправляются многие погрешности и односторонность в понимании напр. оригинальной, и в тоже время точной передачи животных и природы, притом всё в связи с общим мировоззрением Востока. Ряд прекрасных репродукций картин и скульптуры, выбранных с тонким пониманием, дополняют текст.

Менее удовлетворительна книга Людвиг Бахгофера: «Китайское искусство» (Ludwig Bachhofer, Chinesische Kunst, Breslau, F. Hirt, 1923). С его художественно-историческими толкованиями, в которых наблюдается сильное влияние Глазера, еще можно согласиться, но гораздо слабее собственно историческая часть, и взаимоотношения художественного и общекультурного развития не достаточно разработаны, неясны и лишь поверхностно трактованы. Впрочем, нужно сказать, что для настоящей истории китайского искусства время еще не наступило.

За последние годы интерес европейских исследователей сосредоточивался главным образом на пейзаже, в области которого китайское искусство достигло исключительной высоты по сравнению с другими культурами. Здесь первое место занимает книга Отто Фишера: «Китайская пейзажная живопись» (Otto Fischer, «Die chinesische Landschaftsmalerei», München, Kurt Wolff, 1922), которая впервые ознакомила европейское общество и научно-художественные круги с этой отраслью искусства, дав большое число репродукций китайских оригинальных произведений, с пояснениями, сделанными на основании туземных источников и в связи с мировоззрением страны. Этот труд, быстро распроданный, несмотря на высокую цену, может в малом масштабе заменить книга Альфреда Сальмони: «Китайская пейзажная живопись» (Alfred Salmony «Chinesische Landschaftsmalerei», Berlin, Wasmuth, Orbis Pictus, Bd. 4). Она дает лишь краткое, но очень меткое введение и при помощи многочисленных, умелой рукой выбранных репродукций рисует развитие китайского пейзажного искусства от древнейших, доступных нашему знанию времен до периода Мин. Более широкую область захватывает книга Эрнста Гросса «Восточно-азиатская живопись тушью» (Ernst Grosse «Die ostasiatische Tuschmalerei», Berlin, Bruno Cassirer, 1922). Наука обязана этой книге выяснением различия между «субъективной» живописью буддийских монахов школы dhy-

ана (китайское Чань, японское зен) и «объективной» живописью светских художников. Первая — «субъективная» — служит передаче внутренних переживаний путем изображения внешнего мира в своеобразном понимании и трактовке; это — живопись настроения, в которой главную роль играет рисунок. Вторая, «объективная» живопись пользуется главным образом техническими приемами живописи тушью и соединяет ее с цветной живописью. Не менее важно также указание автора на то, как ошибочно делать выводы относительно восточно-азиатского искусства, не зная законов им руководящих, не понимая вполне ни его символизма, ни вообще его внутреннего содержания, и основываясь лишь на внешнем сходстве с некоторыми течениями европейской живописи, как напр. импрессионизмом. Эта прекрасно изданная книга может действительно дать правильное представление о дальневосточном искусстве.

Вильям Кон (William Cohn «Bibliothek der Kunstgeschichte», Bd. 43, Leipzig, Seemann 1922) посвятил небольшую работу портретной живописи восточной Азии, также по сию пору мало известной в Европе. Благодаря умело использованным материалам — правда, только поздним, пока единственно доступным — он указывает в слишком кратком, к сожалению, но с большим пониманием составленном введении на истинное значение этой ветви искусства восточной Азии, рассматривавшейся до сих пор лишь с пренебрежением или вовсе отрицавшейся. Нужно надеяться, что автор даст нам вскоре более подробную монографию об этом предмете.

Роскошное издание Отто Фишера «Китайские цветные литографии» (Otto Fischer, Chinesische Farbdrucke, München, Piper 1921) разбирает указанный в заглавии вопрос, хотя и не столь важный с художественной точки зрения, но имеющий известное значение для истории художественной техники. О том же пишет Юлий Курт в своей плохо иллюстрированной книге: «Китайские литографии в красках» (Julius Kurth «Der Chinesische Farbendruck», Plauen, Schulz 1922).

По сравнению с исключительным вниманием, которое уделялось за последние годы китайской живописи, наблюдавшийся раньше интерес к скульптуре Китая несколько ослабел. Карл Вит в двухтомном труде с большим числом художественных таблиц «Буддийская пластика в Японии» (Karl With, Die buddhistische Plastik in Japan, Wien, Schroll 1919) дал нам прекрасную картину скульптурных богатств японских буддийских храмов, среди которых встречается много китайских и корейских художественных произведений (корейское искусство часто являлось посредником между китайским и японским). Приведенные им таблицы и сопровождающий их текст, касающийся как исторических, так и чисто художественных проблем, делают эту область искусства доступной для тех, кто теперь не в состоянии пользоваться многочисленными изданиями японской художественной науки. Прекрасная книга Пержинского: «О божествах Китая» (Perzynski, «Von Chinas Göttern», München, Kurt Wolff 1920) посвящена преимущественно описанию китайской скульптуры, высеченной в скалах, первыми сведениями о которой Запад обязан парижскому синологу Шаванн (Chavannes), к сожалению рано умершему, и его известному ученику Пейю (Pelliot); в этой же книге имеется ценный материал для изучения пластики в глине и бронзе преимущественно эпохи Сун. О китайских каменных рельефах говорит и Карл Вит (Karl With, «Chinesische Steinschnitte», Bibliothek der Kunstgeschichte, Bd. 24). В историческом порядке расположенные иллюстрации, несмотря на их ограниченное число, дают хороший обзор развития рельефного искусства в Китае. Книга Сальмони: «Европа и восточная Азия, Религиозные скульптуры» (Salmony: Europa-Ostasien, Religiöse Skulpturen, Potsdam, Kiepenheuer 1922) сравнивает развитие буддийского искусства в восточной Азии с христианским искусством на Западе, главным образом с церковной скульптурой Южной Франции, и старается найти и объяснить параллели в техническом и психологическом развитии этих двух областей. Остается упомянуть еще о выпуске

голландского архитектурного журнала «Wendingen», посвященном собранию скульптуры и картин умершего парижского синополога Рафаеля Петруччи и содержащем ряд превосходных репродукций. Текст (изданный одновременно на немецком, английском и голландском языках) принадлежит: Henri Vogel'ю, Karl'у With, графу Герману Кейзерлинг и А. Vecht'у.

За последние пятнадцать лет все большее внимание привлекает китайская керамика. Этому много способствует постройка железных дорог в Китае, благодаря которым вскрывается все большее количество древних гробниц и скрытых в них сокровищ. Со времени появления (в 1909 г.) статьи Лауфера (Laufer) о керамике эпохи Хань, на ней сосредоточился особый интерес коллекционеров, она сделалась предметом исследований и споров историков искусства, среди которых имеются и немецкие ученые. В этой области первое место занимает роскошно изданная книга Оскара Рюккер-Эмбден: «Китайская ранняя керамика» (Oscar Rücker-Embden: «Chinesische Frükeramik», Leipzig, Hiersemann 1922). Автор, рассматривая расходящиеся в деталях взгляды исследователей китайской керамики, приходит к выводу, что более или менее бесспорное определение времени отдельных предметов и подлинное знание развития китайского гончарного искусства станет возможным только тогда, когда будет произведен целый ряд необходимых раскопок по точным методам археологии. Эта книга особенно ценна для коллекционера, а также и для историка искусства, благодаря мастерски (частично в красках) выполненным таблицам; она облегчает определение привозимых в Европу экземпляров и дает ценные указания для раскрытия подделок и имитаций, которыми рынок за последнее время наводнен. О ранней керамике, особенно о ее фигурных изображениях, говорит и Люциан Шерман (Lucian Schermann) в статье «О древне-китайской пластике» («Die altchinesische Plastik», München 1915) появившейся в трудах Баварской Академии Наук. Эта небольшая статья особенно ценна тем, что посвящена собранию предметов, найденных в западном Китае

при раскопках, хорошо описанных и достаточно точно датированных. Вследствие этого она может помочь при определении времени других более важных находок, которые сами по себе не могут быть датированы. Две работы Отто Бурхарда: «Китайская мелкая скульптура» (Otto Burchard, Chinesische Kleinplastik, Berlin, Wasmuth, Sammlung Orbis Pictus Bd. 12) и «Китайская погребальная керамика» («Chinesische Grabkeramik», Bibl. d. Kunstgeschichte, Bd. 30) дают благодаря репродукциям ценный материал для ознакомления с развитием китайской керамики; в первой из указанных статей идет также речь и о древней пластике в фарфоре, бронзе и нефрите. Отто Пелька посвятил китайскому фарфору монографию, снабженную одноцветными таблицами в красках (O. Pelka «Chinesisches Porzellan», Leipzig, Schmidt und Günther 1914); эта монография особенно полезна для коллекционеров, благодаря кратким и основательным сведениям о стилях, символах, марках и технических выражениях. Книга того же автора: «Японское гончарное искусство» («Japanische Töpferkunst», Schmidt und Günther, Leipzig 1922) хорошо издана и полна ссылок на китайскую керамику, которая ведь является основой японской.

Для ознакомления с более ранними влияниями китайского искусства на Европу особенное значение имеет книга Адольфа Рейхвейна: «Китай и Европа. Духовные и художественные взаимоотношения их в 18 столетии» (Adolf Reichwein «China und Europa. Geistige und künstlerische Beziehungen im 18. Jahrhundert, Berlin, Oesterheld 1923), в которой автор с большим умением разбирает уже нередко затрагивавшуюся, но никогда основательно не исследованную эпоху «Chinoiserie».

Здесь почти исчерпывающе использованы художественные и литературные источники, что дает возможность представить ясную картину взаимоотношений Востока и Запада в 18 веке, имевших для нашего культурного развития гораздо большее значение, чем мы обычно думаем.

Проф. Ф. Биркнер

НОВОЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ И ГЕОЛОГИИ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА В ЕВРОПЕ

Перевод с рукописи

А. Рюто и его последователи видят в найденных в третичных слоях кремнях с оббитыми краями, называемых эолитами, доказательство существования третичного человека.

Такие третичные эолиты до настоящего времени по месту их нахождения известны:

в верхнем плиоцене: Saint Prest (Eure et Loir) во Франции и Cromer Forest Bed в юго-восточной Англии (Saint Prestien);

в среднем плиоцене: Плато Кент в южной Англии (Kentien);

в верхнем миоцене: Puy-Courny в Cantal во Франции и в Отта — в Долине р. Техо в Португалии (Cantalien);

в верхнем олигоцене: Thenay (Loir-et-Cher) во Франции (Thenayien);

в среднем олигоцене: Boncelles близ Люттиха в Бельгии (Faguien);

в древнем эоцене: Belle-Assise около Clermont (Oise — Франция) и в Duan (Eure et Loir, Франция).

Н. Obermaier (1) *) в своем труде «Доисторический человек», переведенном и на русский язык, в 9-й главе сосредоточил все те соображения, которые говорят против третичных эолитов. До сих пор мы не знаем ни одного местонахождения эолитов, при котором бы исключалась естественная причина для образования на краях камня сколов, вроде морского прибоя, оползней при вулканических извержениях, образовании наносов в русле рек и т. п. Третичные эолиты находятся только там, где кремнь встречается в естественном положении и где имеются налицо условия для образования отколов на краях кремней.

В особенности сомнительны удивительные эолиты из эоцена. Последователи гипотезы эолитов все чаще и чаще отказываются от нее и признают, что мы до настоящего времени не имеем никаких верных следов существования третичного человека. Во время войны геолог Вильгельм Фрейденберг (2) думал, что он открыл в третичных слоях гравия у St. Gilles-Waes, западнее Антверпена, на светло-сером гравии из глауконитового песчаника отпечатки пальцев и возвышенный ступни человека. Вряд ли существует хоть один исследователь, который бы признавал это «открытие».

О находках человеческих костей, известных до 1912 года, говорится в 8-й главе труда Обермайера, 1 и в 3-ей главе труда Биркнера «Расы и Народы Человечества» (3) **). После этого были найдены новые скелеты человека ледникового периода, а также были исследованы новые стоянки людей того времени.

Самая древняя достоверная находка человека — нижняя челюсть, найденная в местности Мауер близ Гейдельберга, и известная под именем «Homo Heidelbergensis»; она была найдена приблизительно на глубине 24 метров под землей

*) Цифры, стоящие в скобках, указывают на библиографический список в конце статьи.

**) Имеется русский перевод.

в валунных отложениях, покрытых слоем лёсса; здесь же были найдены остатки *Rhinoceros etruscus*, *Elephas antiquus*, *Elephas trogontherii*, *Ursus Deningeri*, и другие остатки животных древней ледниковой эпохи.

Эта челюсть массивна, без выступания нижней челюсти, и имеет типичные человеческие зубы, которые по своей малой величине резко выделяются по сравнению с массивностью челюсти.

Часть исследователей причисляет эту челюсть к так наз. «неандертальской» расе; впоследствии Е. Верт (4) отделил его от этой расы и причислил к остаткам *Pithesanthropus erectus* Dubois на Яве, объединяя их под названием «пренеандертальской группы». Безупречно ли создание такой пренеандертальской группы с точки зрения научной критики, — этот вопрос остается открытым, тем более, что в последнее время Мартин Рамстрём (5) с некоторым основанием указывает на то, что принадлежность черепа и верхней кости ноги питекантропу мало вероятна. По его мнению, черепная крыша принадлежит шимпанзеобразной обезьяне, а верхняя конечность существу, имеющему большое сходство с человеком Combe—Capelle.

К ранним стадиям древнего палеолита относятся несколько скелетов (Неандерталь в Германии, Spy в Бельгии, Крапина в Хорватии, La Chapelle - aux Saints, La Ferrassie, La Quina, Le Moustier во Франции и др.). Черепа с большей вместимостью (между 1570—1700 куб. см. у черепа La Chapelle aux-Saints) отличаются сильными надбровными дугами (*Torus supraorbitalis*), низкой черепной крышей и покатым лбом, у нижней челюсти отсутствует подбородочный выступ, длинные кости грубы и указывают на малорослость. Найденные до настоящего времени остатки имеют большое сходство между собой, хотя некоторые незначительные отличия допускают предположение, что уже тогда существовали местные разновидности. Эти древние палеолитические

остатки человека причисляют к «неандертальской расе» или к «неандертальской ступени».

В позднейшие фазы древнего каменного века в Европе появляются люди, которые физически значительно отличаются от неандертальских форм.

Наиболее значительные местонахождения: Cro-Magnon и Laugerie-Haute (Dordogne), Combe-Capelle (Périgord), пещеры Grimaldi у Ментоны, принадлежащие Ориньякской эпохе, Брюни и Пжедмост в Моравии — из слоев Солютрэ; Laugerie-Basse, La Madeleine, Chancelade (Dordogne) и Оберкассель у Бонна — эпохи Magdalénien. Надбровные дуги отсутствуют, мужские черепа имеют более или менее хорошо выраженные надбровные дуги; череп сравнительно высок, нижняя челюсть по большей части ясно выступает. Вся форма черепа указывает на большое сходство с современными европейскими черепами.

У всех их почти абсолютно отсутствуют особенности неандертальца, почему они некоторыми исследователями рассматривались как «Кроманьонская раса» и противопоставлялись неандерталоидам. Среди них однако имеется много разновидностей, почему некоторые исследователи делают их на группы. Е. Верт (4) различает например: «лёссового» человека или ориньякскую расу от кроманьонской расы, причем он не принимает во внимание, что как кроманьонский череп, так и черепа из пещеры Grimaldi также принадлежат к ориньякской ступени. Он отделяет также черепа «Детской пещеры» у Ментоны, принадлежащие двум погребенным одновременно особям, старой женщине и молодому мужчине с негрозными чертами, как «расу Гримальди» от остальных. При относительно малом числе черепов казалось бы еще преждевременным, единичные черепа делить на расы, так как границы, отделяющие одну группу от другой еще не установлены. По отношению к длинным костям также имеются различия. Одни кости принадлежат стройным людям, другие малорослым. Это можно объяснить местом обитания — в

степях и в пещерах. И сейчас наблюдается это явление у стройных Суданских негров, живущих в травянистых степях, и у негров Банту, обладающих низкорослой фигурой, живущих в лесных местностях.

В 1912/13 году, вблизи Пилтдоун в Суссексе (Англия), частью в выемке, частью в ненарушенных слоях найдены были обломки нижней челюсти, один зуб и много обломков черепной коробки, а также кремневые орудия и кости животных. Часть костей лежит не в первоначальном положении, часть в первоначальном. Первые принадлежат животным, которые существовали еще в течение третичного периода, в то время, как вторые принадлежат к животным современной эпохи. Нижняя челюсть и обломки черепа, судя по сохранности, относятся к четвертичному периоду. Английские исследователи Ch. Dawson и Arthur Woodward (6), которые собрали и впервые исследовали эти находки, считали, что нижняя челюсть и обломки черепной коробки принадлежат человеку. Они приписали их особи, которую назвали *Eoanthropus Dawsoni*. Подробное изучение находок другими исследователями, прежде всего Мартином Рамстрёмом (7), Gerrit S. Miller (8) и William K. Gregory (9) привели их однако к выводу, что нижняя челюсть и остатки черепной коробки не являются частями одного и того же черепа. Нижняя челюсть имеет тонкое строение, обломки же черепной коробки чрезвычайно толсты. Нижняя челюсть похожа более на челюсть шимпанзе, чем на человеческую, также и зубы. Остатки черепной коробки, напротив, имеют человеческую форму, но лишены совершенно неандертальских черт. Поэтому Миллер приписывает нижнюю челюсть четвертичному шимпанзе и называет ее «*Pan vetus sp. nov.*». Рамстрём находит сходство остатков черепной коробки с черепом Combe-Capelle, которому Клаач дал имя «*Homo Aurignacensis*».

На основании этих исследований реч идет следовательно об остатках большой человекообразной обезьяны и не-неандерталоидного человека четвертичного периода.

В феврале 1914 года при работах на каменоломне вблизи Obercassel у Бонна в пласте красно-окрашенного базальта и глины в 3 метра (от 20 до 30 см. мощности) нашли скелеты мужчины и женщины. Там же лежал коренной зуб сев. оленя, один зуб быка, затем с четырехугольным сечением хорошо отточенный полированный инструмент из кости с маленькой головкой животного на ручке и украшением на конце; маленькую, попорченную костяную резьбу, по обе стороны которой выгравированы лошадиные головы, а также две менее характерные обломки костей, со следами обработки. Палеонтологические находки около и вблизи скелетов доказывают четвертичное происхождение их. Абсолютное отсутствие лёсса у склонов, у подножия которых находится место находки, указывает на конец ледникового периода. Значит, дело идет о погребении из мадленской эпохи, что подтверждается также наличием костяных орудий. По Bonnet (10) скелет мужчины имеет 172 см. длины и принадлежит индивидууму за 50, если не за 60 лет. Бонне указывает на одновременное присутствие надбровных бугров, чрезвычайно низких прямоугольных глазниц и сильно выступающего подбородка, а также на несоответствие ширины лица по отношению к узкому лбу, на короткое лицо, при длинной форме головы (показатель 74), а также на целый ряд особенностей длинных костей. На основании этого, он принял это за новый вид ледникового человека, который с одной стороны похож на неандертальца, с другой стороны имеет сходство с Cro-Magnon'ским и Chancelade'ским человеком. Так как индивидуальные вариации ледникового человека мало известны, верность этих заключений остается под вопросом.

Женский скелет имеет рост приблизительно в 147 см. и отличается от мужского более нежной конструкцией костей и очень резко выраженной длинноголовостью (показатель 71); с другой стороны, он так похож на мужской, что Бонне, принимая во внимание половые различия, считает оба скелета за родственные по крови. Кроме общих признаков, прежде всего

в черепе, женский скелет напоминает скелет Chancelade и в немногих пунктах скелет Combe-Capelle.

Некоторые особенности говорят о переходах к известным неолитическим формам.

Важным местом нахождения, которое в вопросе геологической хронологии ледникового периода играет большую роль, является известковый туф в окрестностях Веймара. Уже ранее в травертинах у Таубаха, наряду с остатками животных теплого климата, напр. *Elephas antiquus*, *Rhinoceros Merckii*, характерными для животного мира ледникового периода, были найдены несколько человеческих зубов и древне-палеолитические каменные орудия. За время 1914 до 1916 гг. были найдены в каменоломнях Ehringsdorf'a, в нижних слоях травертина, остатки нижней челюсти взрослого человека и 12-ти летнего ребенка, рядом с другими частями этого детского скелета. О древности этих слоев мы скажем ниже. Относительно остатка нижней челюсти, безусловно принадлежащего древнему палеолиту, Hans Virchow (11) написал подробное исследование, после краткого предварительного отчета сделанного Schwalbe. На нижней челюсти взрослого человека, в области подбородка, вследствие болезненного процесса произошли изменения, которые повлияли на расположение зубов и на форму подбородка. Hans Virchow в заключительной части своего труда указывает, что между всеми костями скелета нижняя челюсть особенно легко варьирует. Это относится как к нижней челюсти современных людей, так и к людям ледникового периода. Если положить рядом слепки палеолитических челюстей, то разница между ними будет так велика, что можно будет заключить о существовании нескольких рас или местных разновидностей, как они наблюдаются напр. у теперешних антропидов. Повсюду, где находили несколько или хотя бы два скелета раннего ледникового периода, между ними всегда замечалась значительная разница.

Эти две нижние челюсти отличаются между собой однако не только по возрасту. Если поставить на первый план об-

щие черты, которые наблюдаются у обеих челюстей, то можно найти сходство с другими древне-палеолитическими челюстями. Значит, Ehringsdorf'sкого человека нужно причислить к древнему палеолиту. Идет ли тут речь о местной разновидности, сейчас с определенностью нельзя сказать. Судя по Вирхову, нет основания причислять их к особому виду.

В 1921 году в одной пещере Broken Hill Mine в северной Родезии (Южная Африка), в которой добывались цинк и свинец, были найдены остатки скелета и череп без нижней челюсти, о которых много писалось в журналах и газетах (12); подробных отчетов и работ, однако, об этой находке еще не появлялось. Остатки животных, которые до сих пор были найдены в пещере, принадлежат исключительно к современным формам; среди них встречались слоны, львы, леопарды, носороги, различные роды антилоп и другие мелкие млекопитающие и птицы. Еще не установлено, каким образом эти животные и остатки человека попали в пещеру. Ни состояние остатков, ни животный мир не позволяют считать остатки человека особенно древними. Но форма черепа отличается от форм всех современных южно-африканских племен. По надбровным дугам, покато лбу, приплюснутой мозговой коробке и т. д. череп из Родезии похож на неандертальский череп из древнего палеолита Европы. По мнению Вудварда, дело идет о вымершей человеческой форме, которая представляет из себя позднюю стадию неандертальской расы.

Его английский коллега Кейт, напротив, утверждает, что череп из Родезии во многих отношениях примитивнее, чем неандертальский череп Европы, и поэтому место происхождения этого последнего нужно искать в Южной Африке. Гибралтарский череп, принадлежность которого к неандертальской группе обоснована не стратиграфически, а лишь морфологически, по мнению Кейта является этапом перехода, как хронологически, так и пространственно. Мюнхенский антрополог Р. Мартин предостерегает от слишком поспешных заключений. Ему кажется ошибочным видеть здесь новый тип

человека, homo Rhodesiensis. До чего мы дойдем, если в каждой вновь открытой особи будем видеть представителя нового рода? На основании данных настоящего времени необходимо заключить, что уже в прежние эпохи индивидуальные различия в отдельных своих признаках были довольно значительными. Не следует упускать из виду, пишет он, что геологический возраст Брокен-Гилльского черепа до сих пор еще не определен, и что найденная вместе с ним фауна не дает вымерших видов, а только ныне еще живущие, в то время, как наши европейские палеолитики большей частью были окружены вымершими видами. Поэтому можно утверждать, что брокенгилльский человек жил в Родезии при условиях, соответствовавших времени прихода туда первых европейских колонистов. Кроме того, Мартин указывает на то, что иногда находили черепа из исторических эпох, по некоторым признакам сходные с неандертальским типом, напр. описанный Столыгво череп из Новоселок, оказавшийся черепом скифа. Доказательство тому, что череп из Родезии действительно генетически родствен неандертальским формам Европы, может дать только точное исследование, а такового еще не было.

Подробное описание нижней челюсти, найденной уже в 1887 г. в травертинах Баньолы, принадлежащих без сомнения четвертичному периоду, в Северной Каталонии (Испания), опубликовали в 1915 г. Г. Обермайер и Э. Эрнандес Пачеко (13). По их сообщению, это челюсть мужчины в возрасте приблизительно 40 лет. По морфологии своей (четыреугольная, идущая вверх ветвь, слабо развитый подбородок, неуклюжий вид самой челюсти) эта нижняя челюсть относится к неандертальской группе. Она является первой, и в то же время стратиграфически несомненно относящейся к четвертичному периоду, находкой этого вида человека в Испании.

Уже в 1869 г. Ж. де-Мортилье распределил, на основании данных своего времени, культуры человека ледникового периода по четырем ступеням, которые он назвал по знаме-

нитым местам находок во Франции: шель по местечку Шелль (Chelles), мустье по Ле-Мустье (Le Moustier), солютрэ по Солютрэ и магдален по Мадлен (Madeleine). В 1897 г. он вставил между шельскими находками и мустье—ашелль, по Ст. Ашелю (St. Acheul) вблизи Амьена. В начале 20-го века Брейль и Картальяк пришли к заключению, что серии находок, называемые солютрэ, состоят из двух разных элементов; сначала они отделили от настоящего солютрэ так наз. пресолютрэ, который по раньше уже обследованному, но не вполне оцененному месту находки вблизи Ориньяка (Aurignac) называли ориньяк. В настоящее время все археологи, изучающие палеолитический период, пришли к тому заключению, что для Западной Европы это разделение на 6 групп в общем является правильным.

Палеолитические ступени можно определить по форме и роду обработки каменных орудий, по присутствию или отсутствию костяных орудий и украшений. Шеллю свойствен грубый, иногда длиной до 30 сантим., обработанный по обеим плоскостям кулачный топор, кроме него попадаются камни более или менее неправильной формы, напоминающие эолиты. Под собственно шельскими слоями находятся другие слои, в которых кулачные топоры не обнаружены, а только бесформенные изделия (Прешелль). Из фауны найдены Hippopotamus, Elephas antiquus и Rhinoceros Merckii; все эти животные указывают с одной стороны на преобладание лесов, с другой стороны на сравнительно теплый климат.

Клин — кулачный топор — становится тоньше, ему придают трехугольную или копьевидную форму, другие орудия обрабатываются тщательнее, уже можно различить наконечники и скребки. Ступень культуры с такими утонченными орудиями называется ашель. Шеллевская фауна постепенно исчезает, вследствие продвижения северных и альпийских ледников появляются животные, потомки которых живут в настоящее время в сибирской тундре, в степях или на горах. Это фауна собственно ледникового периода, представителями

которой являются *Elephas primigenius*, мамонт, *Rhinoceros antiquitatis* или *tichorhinus*, пещерный медведь, пещерный лев, северный олень, мускусный бык, горный баран, дикая лошадь, бизон, сайга и т. д.

Кулачный топор становится меньше и хуже, и постепенно исчезает, все более и более выступают вспомогательные орудия, прежде всего обработанные с одной стороны наконечники и скребки. Употребляются также и осколки костей, но им не придают особой, соответствующей цели формы. Эта ступень культуры называется мустье. Фауна похожа на ашельскую фауну. Особенно большую роль в культурных слоях мустье играет пещерный медведь.

Указанные три ступени вместе взятые называются древне-палеолитическим периодом. За ним следует «новопалеолитический период», заметно отличающийся от предыдущего формой орудий (преобладают клинки), костяными орудиями, употреблением украшений, резьбой и рисунками. Фауна по большей части остается прежней, только северный олень, дикая лошадь, бизон приобретают большее значение для человека, а толстокожие и пещерный медведь отступают на задний план.

В продолжение всего новопалеолитического периода встречается ряд орудий, как-то: ножи с тупым обухом, ножи, служащие скребками на узких гранях и др. Кроме того, в ориньяке и солютре встречаются формы, свойственные одним только этим ступеням.

Ориньяк характеризуется лезвиями с ретушированными со всех сторон краями, а также толстыми и тонкими скребками, толстыми кусками кремня, превращенными путем скола узких чешуек по краям в подобие рубанки. Далее ориньяку свойственны костяной наконечник с расколотым основанием, и пластические человеческие фигурки из кости или слоновой кости.

В период солютре появляются наконечники на подобие лаврового листа, и наконечники с зазубриной, отличающиеся

прекрасной тщательной обработкой граней. Эти формы орудий не встречаются в ориньяке и вновь исчезают в мадлене.

Мадлен не выработал своих специальных форм каменных орудий, каменные изделия уступают место костяным. Весьма многочисленны начальнические жезлы, гарпуны, наконечники копий и т. д., украшенные иногда фигурами животных. Художественные работы, во Франции и Северной Испании, достигшие высшего своего развития в мадлене, изображают как на резьбе по кости, так и на гравировках и рисунках на стенах пещер отдельные фигуры зверей, притом чрезвычайно верно. Сцены и хорошо схваченные человеческие фигуры почти совершенно отсутствуют, если не считать ориньякских скульптур. Но сцены (танцы, сцены охоты) встречаются в пещерах Восточной Испании, так что можно различать французско-кантабрийскую и восточно-испанскую палеолитическую художественную область.

Некоторые наблюдения дают указания относительно психики человека ледниковой эпохи (1 и 3 в). Сознательное погребение умерших с оружием и украшениями, отчасти в скорченном положении, т. е. с подтянутыми до груди ногами, что указывает на связывание трупа, доказывает, что уже люди палеолитического периода верили в загробную жизнь. Ритуальное погребение отделенных от туловища голов, напр. в Офнете в Баварии, изготовленные из черепов кубки в гроте Плакар, говорят о своего рода культе черепов. Украшения, изготовленные из зубов и костей животных, были, может быть, и амулетами. Метко схваченные фигуры зверей в пещерах Южной Франции и Северной Испании, встречающиеся не впереди в жилом помещении, а в глубине пещер и изображающие часто раненых зверей, наводят на мысль о «зачаровывании зверей на расстоянии». Охотник в своем святилище, т. е. в пещерах, изобразил зверей столь правильно, чтобы осилить их. Отпечатки рук с изувеченными пальцами имеют, очевидно, связь с религиозно-мистическими идеями, может быть это вотивные приношения, или они служат зна-

ном того, что данное лицо посетило святилище. Карикатурные изображения человека с звериными масками напоминают маски для религиозных танцев у дикарей.

В Южной Франции за мадленом следовала культура без северного оленя, с мелкими орудиями, гарпунами из оленьего рога и раскрашенными гальками; этот период называется по пещере Мас-д'Азиль (Mas d'Azil) азильским. В Северной Франции и Бельгии, а также и по всей средней Европе, находят в верхних слоях, в большинстве случаев на песчаном дне вод, многочисленные мелкие орудия (микролиты), частью геометрической, трехугольной и трапециoidalной формы. Соответствующая им культура называется по месту находки Фер-ан-Тарденуа (Fère-en-Tardenois) — тарденуазской и относится к послеледниковому периоду. В виду того, что среди этих находок в верхних слоях встречаются с одной стороны наивысшие, относящиеся к мадлену, а с другой стороны, правда, крайне редко, наконечники стрел и орудия, свойственные собственно неолитическому периоду, то мы вправе заключить, что эта культура верхних слоев соответствует эпохе между палеолитическим и неолитическим периодами, и потому может быть названа «мезолитической». Азиль, встречающийся только в Южной Франции, можно назвать по Обермайеру (27) «эпипалеолитическим» периодом, а северные культуры в Маглемозе, северо-французский Кампиньен (Сампийен) и северную культуру кухонных отбросов, а также северо-испанский Астуриен (Asturiense), в которых опять встречаются крупные орудия, как то топоры и т. д. — «протонеолитическим» периодом.

Выше очерченная палеолитическая культура Западной Европы подробно описана в сочинении Обермайера (1). После выхода в свет этой книги обнаружены и обследованы некоторые новые палеолитические места находок, кроме того более хорошо изучены восточно-испанские палеолитические рисунки на стенах пещер.

Исследования в Северной Испании вновь подтвердили правильность хронологической схемы, выставленной французской школой.

У входа в пещеру Кастильо (Castillo) вблизи Пуэнте Вьезго (Puente Viesgo) в провинции Сантандер (Santander) Обермайер (14) производил в 1910—1914 гг. систематические раскопки. Был обнаружен слой культуры в 16—18 метр., содержащий, послойно, отделенные друг от друга круто обрывающимися слоями и известковым туфом, остатки всех палеолитических ступеней, начиная с ашеля и кончая мадленом.

Снизу лежал слой с нетипичными орудиями, пещерным медведем и северным оленем, потом следовал слой ашеля, 2 слоя мустье, четыре слоя ориньяка, слой солютрэ и два слоя мадлена. Затем еще следовал слой, названный Обермайером азиль, и слой, названный энеолитическим. От ашеля до нижнего слоя ориньяк (средн. ориньяк по Обермайеру) фауна наряду с оленем (*Cervus elaphus*) содержит *Elephas antiquus* и *Rhinoceros Merckii*, затем появляется северный олень и в верхних слоях мадлена вновь олень.

Пещера Куэто де ла Минна (Cueto de la Mina), провинция Астурия, об обследовании которой сообщает Conde de la Vega del Sella (15) содержала ряд слоев от среднего ориньяка до верхнего мадлена, за ними следовал не точно определимый азиль и послепалеолитическая культура, названная Астурийской. Только в солютрэ найдены остатки *Elephas primigenius*.

В восточно-испанской области можно различить, по Обермайеру (14 в), по формам изображений человеческого тела, четыре главных типа: 1) тип «Альпера» (Alpera) с правильным рисунком и хорошими пропорциями, 2) цестосоматический тип с преувеличенно длинным телом, дискоидальной головой, широкой, почти трехугольной грудью, очень длинным и узким туловищем и длинными, очень крепкими ногами, 3) «пахиподный» тип с сравнительно коротким телом, большой профилированной головой, коротким узким туловищем

и чрезмерно толстыми ногами и 4) «нематоморфный» тип с фигурами, сведенными почти к линейным размерам.

Следует еще упомянуть одно французское место находок, Ла Микок (La Micoque) вблизи Les Euzies (Дордонь), в котором уже некоторое время тому назад французские исследователи делали пробные раскопки и обнаружили культуру, родственную ашелю. О. Гаузер (16), производивший в широком масштабе раскопки в Дордоньи, правда, поставленные не строго научно, делал раскопки также в Ла Микокке и убежден в том, что нашел новую ступень культуры, которую он называет «микокьеном», и помещает между мустье и ориньяком и к которой он относит всевозможные места находок в средней Европе, независимо от того, обнаружена ли в них «холодная» или «теплая» фауна. Ни один ученый, серьезно изучающий палеолитические культуры, не придерживается мнения Гаузера. Все исследователи, напр. Вигерс (28) и Верт (4), употребляющие термин микокьен строго научно, подразумевают под ним культуру, среднюю между ашеlem и мустье, только в популярных изданиях он применяется в смысле Гаузера. Из-за этого возникают недоразумения, и потому лучше всего избегать этот термин.

В средней Европе также удалось обнаружить и исследовать некоторые древнепалеолитические находки. В 1911 г. начал свои исследования К. Радемахер (17) в пещерах Карштейна близ Эйзерфей в Эйфеле и нашел слой с клином из ашеля, над ним два слоя мустье, один слой ориньякский и один мадленский. Уже до войны при систематических раскопках 1912/13 гг. в Клаузеннише близ Нейессинга (Нижняя Бавария) был найден слой ашеля с орудиями, напоминавшими орудия из Ла Микок в Дордоньи.

Орудия сходной формы были найдены также и в Голе Фельс (Hohle Fels) близ Гаппурга (Средн. Франкония) и в камнеломнях в окрестностях Кестена близ Лихтенфельса в Верхней Франконии (18). В расселинах близ Нейессинга при указанных раскопках были обнаружены слои мустье, со-

люотрэ и мадлена (19). Путем систематических исследований нижней и средней долины Альтмюль удалось найти еще некоторые остатки жилищ палеолитического человека. В 1915 году был исследован в Шулерлохе, между Кельгеймом и Нейессингом, слой мустье, толщиной почти в 2 метра (20), в 1918 г. в пещере Фишлейтен, между Риденбургом и Дитфуртом, удалось кроме слоя мустье, доказать и присутствие ориньякского человека в нижней долине Альтмюль (20). Далее, пробные раскопки в Голештейне близ Шамбаха в 1922/23 гг. доказали, что древне- и новопалеолитический человек жил в средней части Альтмюльской долины. После того, как лёссовый район в баварской части долины Дуная не обнаружил следов палеолитического человека, в 1920 г. на Бухберге близ Мюнстера к северу от Штраубинга в Верхней Баварии были открыты остатки пещеры, в которой кроме *Elephas primigenius*, *Rhinoceros antiquitatis*, пещерного медведя и т. д. были найдены орудия типа мустье, похожие на найденные в Шулерлохе (21). Кроме упомянутого Обермайером (1) мимоходом места находки в Голештейне и гротах Офнет, у подножья скалы на горе Кауфертсберг к северу от Нёрдлингена удалось найти два дилувияльных слоя, из которых нижний относится к мадлену, а верхний вследствие большого числа микролитов сначала был отнесен к азию, теперь же причисляется к позднему мадлену.

Интересные древнепалеолитические остатки обнаружены в Швейцарии и Штирии.

В Швейцарии с 1904 г. известны следы первобытного человека в пещере Вильдкирхли в горах Сентис на высоте 1477—1500 метр. над уровнем моря. В 1916 г. найдены остатки древнепалеолитической культуры в пещере Котанше (Cotencher) в кантоне Нейенбург (23). В 1917 г. присоединилась новая находка на высоте 2445 метр. над ур. м., именно Драхенлох над Веттис в долине Тамина (24). Во всех трех случаях найдено большое количество костей медведя; таким образом, эти пещеры похожи на другие пещеры в Альпах и

франконской Швейцарии, но отличаются они тем, что в них найдены и следы, доказывающие присутствие древне-палеолитического периода, а именно примитивные каменные орудия с следами применения в деле, типа мустье, отчасти изготовленные из кварцевых пород, отчасти из морского известняка и кости.

Другой пещерой с многочисленными остатками медведей и человеческим жилищным слоем является Дракенхелл (Drachenhöhle) близ Микснитца в Штирии, где приблизительно в 300 метр. от входа в пещеру вблизи луж от просачивающейся воды был найден слой с остатками углей и орудий из кварцевых пород (25).

В журнале «Umschau» (1921) О. Гаузер опубликовал сенсационную новость, что он нашел в Тюрингии в 47 местах следы древне-каменного века. Проверка этих сведений Ф. Вигерс'ом (26) показала, что только Таубенберг близ Зангергаузена и известковый туф близ Вильцингслебен, в окрестностях Киндельбрюк, фактически сохранили следы в изделиях человека, во всех же других местах дело шло о случайных продуктах, лишь похожих на артефакты. На Таубенберге очевидно найдены остатки ориньяка, оставшиеся от исчезнувшего в настоящее время слоя лёсса, а в Вильцингслебенском известковом туфе — культурный слой, соответствующий веймарским находкам.

Приведенные выше ступени палеолитического периода относятся в первую очередь к Западной Европе. Теперь является вопрос, пригодна ли эта классификация для остальной Европы и областей Средиземного моря. Испания, за исключением Северной, очевидно также и Италия, далее Северная Африка, Сирия и Палестина развивались в общем также, как Западная Европа. Можно различить древне- и новопалеолитический период; однако, разделение каждого из этих двух периодов на три провести нельзя. Средиземный новопалеолитический период обладает всеми формами новопалеолитических ступеней, как-то лезвия, скребки, резцы и

ножи с тупым обухом, но не имеет острых скребков ориньяка, наконечников в виде лавровых листьев и наконечников солютра с зазубриной. Поэтому новопалеолитический период Африки и Испании называют капсень по месту находок Гафса в Тунисе, и различают верхний и нижний капсень; последний в сильной мере напоминает тарденуаз, поэтому Обермайер придерживается того мнения, что азило-тарденуаз Франции находился под влиянием среднего капсена (27).

Большая часть Франции была свободной от льдов даже в период наибольшего развития ледников, в ней все время мог жить человек. Иначе дело обстоит к Востоку от Рейна. Северные и альпийские ледники во время наибольшего своего продвижения оставляли свободной только небольшую полосу, еще более сжатую поясом тундр, сопровождавших глетчеры. Условия жизни здесь долгое время были гораздо хуже, чем в Западной Европе. Кроме того, в данной области в большинстве случаев не было распространенного во Франции и удобного для изготовления орудий мелового кремня; человек, живший в этой области, должен был удовлетворяться более плохим материалом — роговиком, яшмой и другими кремнекислыми породами. Эти обстоятельства объясняют нам, почему элементы материальной культуры между Западной Европой и Южной Россией отчасти проще и примитивнее и даже на поздних палеолитических ступенях напоминают более древние. Несмотря на эти тяжелые условия жизни, мы все таки от Рейна до Польши находим жилища первобытного человека, культурные следы которых так соответствуют остаткам Западной Европы, что их можно поставить на одну линию с ними и отнести к тому же периоду. Только собственно французский шельф с большими, массивными кулачными топорами и древней фауной до сих пор не обнаружен к востоку от Рейна.

В находках в травертинах Таубаха и Эррингедорфа близ Веймара, сопровождавшихся остатками *Elephas antiquus* и

Rhinoceros Merckii, топоров нет. На этом обстоятельстве построена теория Обермайера (27), по которой мы, одновременно с культурой кулачных топоров (шель и ашель) в Западной Европе должны принимать премустье без топоров, в область которого с запада, востока (?) и юга (?) проникли формы ашеля.

Разница между областями слева и справа от Рейна существует также относительно солютрэ (27). Эта ступень является для Западной Европы как бы чужой культурой. Отсутствуют ясно выраженные предшествующие ступени, и расцвет солютрэ исчезает, не оставляя явного следа на стратиграфически выше лежащем мадлене. В Венгрии же мы имеем ясно выраженный ранний солютрэ, развивающийся там до полного солютрэ с лавровидными наконечниками. Между Венгрией и Францией можно было установить до сих пор лишь вдоль Дуная некоторые находки солютрэ, в Северной Германии они отсутствуют. Кажется, будто бы люди солютрэ переселились из Венгрии на Запад, и что во Франции расцвела их культура, не влияя однако существенно на местных жителей. Этот взгляд становится еще более правдоподобным, если принять во внимание, что мадлен своими каменными и костяными изделиями мало отличается от ориньяка, так что, если с одной стороны отсутствуют характерные для последнего высокие скребки и костяные наконечники с раздвоенным основанием, а с другой свойственные мадлену гарпуны и богато украшенные костяные орудия, то часто трудно с достоверностью приписать данный слой той или другой ступени культуры.

Так как часть находок, особенно в Средней и Северной Германии, не вполне соответствует формам Франции, то северогерманские ученые, особенно геологи, как Вигере (28) и Верт (4) высказали пожелание совершенно отказаться от французской классификации и ввести для Германии собственную терминологию. Аналогичное требование провел

бельгийский геолог Рюто, однако бельгийские термины, вместо упрощения, внесли только путаницу.

Как в Западной Европе, так и в Южной России в ледниковый период большие области были свободны от льда, поэтому там условия жизни были те же, что и во Франции. Кажется, что и Россия была центром палеолитической культуры, в общем развивавшейся параллельно французской, но имевшей и свои отличительные черты. Влияние этого русского палеолитического периода простиралось с одной стороны до Польши и Моравии, а с другой до Восточной Сибири. К сожалению, данные о русском палеолитическом периоде до сих пор очень скудны. Обермайер (1) считает достоверными только палеолитические находки в Европейской России, в Симферополе в Крыму, Иская (Кубань), Киеве, Мезине (Черниговск. губ.) и Костенках (Воронежск. губ.), далее в Сибири — в Афантове близ Красноярска, где по новейшим исследованиям Г. ф. Мергарта (28а) найдены подлинные костяные орудия вместе с каменными, и охотничью стоянку вблизи Томска. Исследования Козловского и Р. Р. Шмидта, производившиеся на Кавказе еще до мировой войны, к сожалению еще не опубликованы.*) Было бы очень желательно, чтобы русские археологи и геологи заполнили этот пробел, собирая и публикуя материалы, может быть, уже имеющиеся в трудно доступных изданиях или музеях, и производя в соответствующих местах систематические исследования.

Для углубления наших познаний о первобытном человеке и его культуре в Европе важен вопрос, каким образом распределить археологические культурные ступени по гео-

*) См. сводку о русском палеолите в статье А. А. Спицына в Изв. Рус. Археол. О-ва за 1915 г.; новейшие находки в Сибири (Мергарт), и на Кавказе еще в литературу не проникли.

логической хронологии ледникового периода. Попытки в данном направлении были сделаны уже Мортилье; они менялись в зависимости от взглядов геологов, и до сих пор соглашения не достигнуто.

Для Западной Европы, бывшей в большей своей части свободной от льда даже в период наибольшего распространения ледников, Лартэ разделил по фауне плейстоцен на три больших отдела: эпохи пещерного медведя (*Pleistocène inférieur*), мамонта (*Pleistocène moyen*) и северного оленя (*Pleistocène supérieur*). Впоследствии медведя заменили гиппопотамом (29). Этим делением воспользовался Мортилье (30), чтобы распределить в нем свои палеолитические ступени. Шелль и начало ашеля пришлось бы на эпоху гиппопотамы, затем следует мустье в эпоху мамонта, ориньяк и мадлен распределяются на эпоху северного оленя.

В 1882 г. А. Пенк (31, 32) опубликовал свои исследования об альпийских ледниках: он принимал четыре ледниковых периода и три межледниковых. Последние отличаются тем, что ледники сократились по крайней мере до их теперешнего состояния. Он назвал четыре ледниковых периода по верхне-баварским речкам — Гюнц, Миндель, Рисс и Вюрм. Этим четырем периодам должны соответствовать четыре щебневых террасы, которые он назвал древним и новым покровным щебнем, верхней и нижней щебневой террасой, далее разные ряды морен. Древнейшие щебни и морены отличаются от более поздних значительным выветриванием и сцементированием в конгломераты. Далее играют будто бы роль при определении возраста породы, из которых состоят щебни. Следовательно, по Пенку, четырем ледниковым периодам соответствуют четыре периода образования щебней. В межледниковые периоды часть щебня уносилась, эродировалась.

Французские ученые, в первую очередь Буль, кроме того Обермайер (1), присоединились к мнению Пенка и пытались

распределить палеолитические ступени по этой хронологической схеме. Сам Пенк старался сделать то же самое. Он исходил из того, что шелль нужно отнести к предпоследнему межледниковому периоду; Буль и Обермайер относили шелль к последнему межледниковому периоду, исходя из наблюдения, что после исчезновения древней фауны в начале ашеля до конца ледникового периода непрерывно царствовала фауна первичных форм, и что в западно-европейских палеолитических местах находок с поверх друг друга лежащими слоями более не обнаружено так наз. «теплой» фауны. Спор до сих пор еще не разрешен. Наоборот, каждый ученый, занимавшийся самостоятельно этим вопросом, пришел к своему особому заключению. Северогерманские геологи нашли, что для северного ледника можно принимать только три больших наступания, и говорят, следовательно, о трех ледниковых периодах и двух межледниковых. Итак, если в каком-либо труде идет речь о 1, 2, 3 ледниковом периоде и 1, 2 межледниковом, то всегда следует установить, деление ли это северо-германских геологов или Пенка.

Существенное различие между ледниковой хронологией Пенка, Вигерса и др. с одной стороны и Буля, Обермайера с другой, заключается в том, что первые после холодного ашеля принимают еще одну культурную ступень, характеризующую *Elephas antiquus* и *Rhinoceros Merckii*. Против этого говорят многочисленные западноевропейские места находок со слоями от ашеля до мадлена, в которых смены фауны не наблюдалось. Для доказательства своей гипотезы Пенк и Вигерс (28) указывают на места находок с *Rhinoceros Merckii* и *Elephas antiquus*, в которых найдены орудия, соответствующие мустье.

В первую очередь сюда относятся гроты Гримальди близ Ментоны на Ривьере, Крапина в Хорватии, Ла Микок в Дордони, Монтьер (Montières) вблизи Амьена на Сомме, а также и травертины в окрестностях Веймара в Тюрингии. Находки в гротах Гримальди не могут считаться доказательством.

Мы знаем, что в Южной Европе, куда климатически относится Ривьера, так наз. теплая фауна удержалась гораздо дольше, чем в Средней и Северной Европе. Напр. Обермайер нашел в Кастильо в Северной Испании *Elephas antiquus* и *Rhinoceros Merckii* даже в слоях ориньяка. Южноевропейский климат Крапины позволял жить *Rhinoceros Merckii* даже в тот период, когда в средней Европе уже распространился *Rhinoceros antiquitatis*. Среди остатков животных в Ла Микоке наряду с остатками лошадей найдены и кости *Rhinoceros Merckii*. Это животное, очевидно, лучше противостояло холодному климату, чем слон теплой зоны; ведь находят же иногда остатки *Rhinoceros Merckii* вместе с костями мамонта. Следовательно, остатки животных в Ла Микоке не вполне доказывают перемену фауны после ашеля. В Монтьере на Сомме, Коммон нашел у основания нижней из четырех террас Соммы вместе с фауной *antiquus* также и орудия из костей гипопотама, причем они немного отличаются от форм шелля и по мнению Коммона приближаются к мустье; у основания верхней террасы была обнаружена та же фауна вместе с типичным шеллем. Вигерс (28) исходит из гипотезы Пенка, что террасы, вырезанные в известковом грунте долины Соммы, возникли во время четырех ледниковых периодов, а в последующие межледниковые периоды отложились щебни. Вигерс того мнения, что эрозия в долине Соммы приходится на ледниковые периоды, отложение щебня на межледниковые. Определение возраста полностью зависит от этой точной параллелизации четырех террас с ледниковыми периодами. Если несколько террас могло возникнуть в одно и то же наступание ледника, то нет необходимости между возникновением двух щебневых террас у Монтьера вставлять ледниковый период. Что на самом деле возникновение террас может происходить независимо от продвижения ледников, на это обратил внимание геолог Дееке в Фрейбурге, в Бадене (33). Значит, и находки в Монтьере не говорят вполне в пользу перемены фауны после

ашеля. Труднее обстоит дело при определении возраста травертин в окрестностях Веймара. Под ним лежит слой щебня, в котором, хотя и в минимальных количествах, встречаются породы, занесенные, по мнению геологов, из Скандинавии и продвижение которых может быть объяснено только ледником. Правда, большинство северогерманских геологов того мнения, что этот щебень мог быть нанесен при предпоследнем продвижении ледника по Северной Германии, однако такое определение возраста вовсе не так достоверно, как это кажется на первый взгляд. Не исключена возможность, что этот щебень произошел от 1-го, т. е. третьего с конца наступания ледника с севера. В таком случае образование травертина относилось бы к первому северному межледниковому периоду.

Ввиду того, что ни одно место находок не доказало с достоверностью возвращение древней фауны (*antiquus*) в последний межледниковый период, нет и строгого доказательства для теплого климата в течение мустье.

Если гипотеза Пенка о четырех ледниковых и нескольких межледниковых периодах с более теплым климатом, чем в настоящее время и с отходом ледников по крайней мере до теперешних границ, была верна, то археологическим находкам соответствовало бы только отнесение шелля к последнему межледниковому периоду.

Как трудно достигнуть достоверных результатов в геологической диллювиальной хронологии, показывает перемена взглядов одного и того же ученого о числе ледниковых периодов и возрасте отдельных объектов.

Напр., сам Пенк сначала относил знаменитую хёттингенскую бречию (*Höttinger Breccie*) близ Инсбрука к предпоследнему межледниковому периоду (31), впоследствии — к последнему (32). В настоящее время он придерживается опять первого мнения (34). В. Зергель (*W. Soergel*) писал в 1912 г. (35), что не может присоединиться к мнению, будто бы «ледниковые периоды являются эпохами с большим развитием

глетчеров, чем в настоящее время, а межледниковые с равным или меньшим». Он, равно как и Гейнниц, Фрех и другие геологи, предполагает, что был только один ледниковый период с многими надвиганиями ледника. Он указывает на то, что по данным шведских геологов в наши межледниковые периоды глетчеры в Скандинавии простирались дальше, чем в настоящее время, и подразумевает под термином «ледниковый период» вообще время от начала продвижения глетчеров до полного сокращения их до всегда существовавших (также и в межледниковые периоды) масс льда (ледян. покров в Скандинавии), под термином — «межледниковый период» — время, в которое ледяные массы занимали указанные размеры. А в 1919 г. (36) он отверг единый ледниковый период и принял схему Пенка.

За большее однообразие явления ледникового периода в последнее время особенно выступили Лепсисус, Дамазус Айгнер, Ротплетц, Дееке, Гейнниц (37) и др. Особенно Дееке (33) оспаривает доказательство на основании геологических принципов, приведших Пенка к его разделению на ледниковые периоды. Как наслоение мощных слоев щебня ледникового периода, так и мощная эрозия, уничтожившая большую часть щебня, указывает на действие больших количеств воды, которых нельзя объяснить ни таянием снега, ни сильными грозowymi дождями, а только таянием больших количеств глетчерного льда. Поэтому вряд ли можно предполагать, что ледниковая эрозия речных долин произошла в эпоху, когда глетчеры растаяли до их теперешних пределов. Дееке указал на то, что наслоение щебня и эрозия не зависят от движения льда, а, главным образом, от высоты падения водяных масс. Следовательно, они зависят от под'ёмов и спусков, влияющих на течение вод. Итак, одному и тому же продвижению глетчеров можно приписать несколько террас щебня. Выветривание и сцементирование щебня и морен зависят не столько от времени, сколько от состояния грунтовых вод, так что отпадают и эти критерии для опре-

деления продолжительности предполагаемых ледниковых и межледниковых периодов. Мы видим, следовательно, что хронология ледникового периода Пенка не столь уже прочно обоснована, как предполагали раньше. В пользу большего однообразия явлений ледникового периода говорят также данные метеорологии. По Эккарту (38) с метеорологической точки зрения трудно предположить, что межледниковые периоды являлись вполне самостоятельными климатическими фазами, вполне отличными от характерных климатических признаков ледникового периода.

Среднее положение между взглядами сторонников единого ледникового периода и школой Пенка занимает И. Байер (39), который наравне с северогерманскими геологами предполагает, что до рисского оледенения Пенка имело место большое продвижение глетчеров, однако, не смогшее повлиять на фауну, так что при втором ледниковом периоде еще существовала древняя фауна. Рисский межледниковый период он не считает межледниковым в смысле Пенка, а промежуточным, в течение которого ледниковая фауна не исчезла. Он, согласно этому взгляду, предлагает следующую схему:

Новочетвер- тичный лед- никовый период	Геологические ступени	Археологические ступени
	Настоящее время	Металлические периоды Неолитический период Кампиньен
	Мадлен — покой Солютрэ — наступание Ориньяк — колебание Мустье — наступание	Мадлен Солютрэ Ориньяк Мустье
	Межледниковый период = средний четвертичный период	Ашель Шелль Прешель
	Древнечетвертичный леднико- вый период = древнечетвертичный период	—

История исследования ледникового периода последних десяти лет показывает нам, что в настоящее время мы гораздо менее уверены при хронологическом распределении культур ледникового периода по геологическим периодам, чем раньше. Еще предстоят дальнейшие точные исследования, прежде чем мы достигнем вполне достоверных результатов.

*

ЛИТЕРАТУРА ВОПРОСА

1. Hugo Obermaier: Der Mensch der Vorzeit. Der Mensch aller Zeiten. Bd. I. Berlin—München—Wien 1911/12.
2. Wilhelm Freudenberg: Die Entdeckung von menschlichen Fußspuren und Artefakten in den tertiären Geröllschichten und Muschelhaufen bei St. Gilles-Waes, westlich Antwerpen. Prähistorische Zeitschr. XI/XII 1919/20, S. 1—56.
3. a) Ferdinand Birkner: Die Rassen und Völker der Menschheit. Der Mensch aller Zeiten. Bd. II. Berlin—München—Wien 1912/13.
b) Der diluviale Mensch in Europa. 3. Aufl., München 1923.
4. E. Werth: Der fossile Mensch. Grundzüge einer Paläanthropologie. Berlin 1921/23.
5. Martin Ramström: Der Java Trinilfund. Pithecanthropus. Upsala Läkareförenings Förhandlingar. N. F. 26.
6. a) Charles Dawson and Arthur Woodward: On the Discovery of a Palaeolithic Human Skull and Mandible in a Flint bearing Gravel overlying the Wealden (Hastings Beds) at Piltdown. Quarterly Journal of the Geological Society, London 1913. vol. LXIX/LXX.
b) F. Birkner: Die fossilen Menschenreste aus Piltdown in Sussex. Korrespondenzblatt d. deutschen Anthropol. Gesellschaft 1913; Natur und Kultur XI 1913/14 und XIV 1916/17.

7. Martin Ramström: Der Piltdown-Fund. Bull. of the Geol. Instit. of Upsala XVI.
8. Gerrit S. Miller: The Jaw of the Piltdown Man. Smithsonian Miscellaneous Collections LXV No. 12.
9. William K. Gregory: Note on the molar Teeth of the Piltdown-Mandible. American Anthropologist XVIII 1916.
10. a) M. Verworn, R. Bonnet und G. Steinmann: Der diluviale Menschenfund von Oberkassel bei Bonn. Wiesbaden 1919.
b) Korrespondenzblatt der Deutschen Anthropol. Gesellschaft XLVI (1915).
11. a) Hans Virchow: Die menschlichen Skelettreste aus dem Kämpfeschen Bruch im Travertin von Ehringsdorf bei Weimar. Jena 1920.
b) Zeitschrift für Ethnologie XLVI (1914); XLVII (1915).
12. a) William E. Harris, Smith Woodward, Arthur Keith in The Illustrated London News, 19. November 1921.
b) R. Martin, Mannus XIV. 1922.
c) P. Hambruch: Archiv f. Anthropologie N. F. XIX. 1. Heft.
13. H. Obermaier, E. Hernández Pacheco: La Mandibula neanderthaloide de Bañolas. Comisión de investigaciones paleontológicas y prehistóricas. Memoria No. 6 (1916).
14. a) H. Obermaier: El hombre fósil. Madrid 1916.
b) — Paläolithikum u. steinzeitliche Felskunst in Spanien. Prähist. Zeitschrift XIII/XIV 1921/22.
15. Conde de la Vega del Sella: Paleolítico de Cuesto de la Mina (Asturias). Comisión de investigaciones paleontológicas y prehistóricas. Memoria No. 13. Madrid 1916.
16. a) O. Hauser: La Micoque. Die Kultur einer neuen Diluvialrasse. Leipzig 1916.
b) F. Birkner: Die Kultur von La Micoque. Wiener Prähistorische Zeitschrift Bd. V 1918.
17. C. Rademacher: Der Kartstein bei Eiserfey in der Eifel. Prähist. Zeitschrift III 1911.

18. H. Obermaier, P. Wernert: Paläolithbeiträge aus Nordbayern. Mitteilungen Anthr. Ges. Wien Bd. XLIV (N. F. Bd. XIV) 1914.
19. F. Birkner: Die eiszeitliche Besiedlung des Schulerloches und des unteren Altmühltals. Abhandlungen der Bayer. Akad. d. Wissenschaften. Math.-phys. Klasse Bd. XXVIII 5. Abh. München 1916.
20. Bericht über die Höhlenforschung in Bayern im Jahre 1918. Jahrb. d. Bayer. Akademie d. Wissenschaften 1918.
21. Bericht über die Höhlenforschung in Bayern im Jahre 1920. Ebenda 1920.
22. F. Birkner: Der Eiszeitmensch in Bayern. Beiträge zur Anthr. und Urgeschichte Bayerns Bd. XIX. 1915.
23. Montandon: La station moustérienne et antiwurmienne de Cotencher. Archives suisses Anthr. génér. III 1919.
24. E. Bächler: Das Drachenloch ob Vättis. St. Gallen 1921.
25. G. Kyrle: Über paläolithische Ausgrabungen in der Drachenhöhle bei Mixnitz in Steiermark. Sitzung der Math.-phys. Kl. der Akademie d. Wiss. in Wien, 14. VII. 21, Akademischer Anzeiger No. 18.
26. F. Wieggers: Neue und vermeintliche Funde paläolithischer Artefakte aus dem Diluvium Sachsens. Zeitschr. f. Ethnologie 54, 1922.
27. H. Obermaier: Das Paläolithikum und Epipaläolithikum Spaniens. Anthropos Bd. XIV/XV 1919/1920.
28. F. Wieggers: Diluvialprähistoire als geologische Wissenschaft. Abhandlgn. d. Preuß. geologischen Landesanstalt. N. F. Heft 84 Berlin 1920.
- 28a. Gero von Merhart: The palaeolithic period in Siberia. Contributions to the prehistory of the Yenisei region. American Anthropologist v. 25. 1923. S. 21—55.
29. I. Déchelette: Manuel d'Archéologie préhistorique, celtique et gello-romaine I. Paris 1908.
30. G. et A. de Mortillet: Le Préhistorique. Paris 1900.

31. A. Penck: Die Vergletscherung der deutschen Alpen. Leipzig 1882.
32. A. Penck u. E. Brückner: Die Alpen im Eiszeitalter. Leipzig 1909.
33. Deecke: Geologie von Baden.
34. A. Penck: Die Höttinger Breccie und die Innaltterrasse nördlich von Innsbruck. Abhandl. der Preußischen Akademie d. Wissenschaften. Jhr. 1920. Phys.-Math. Kl. No. 2, Berlin 1921.
35. W. Soergel: Elephas trogontherii Pohl. und Elephas antiquus Falc. etc. Palaeontographica Bd. LX. Stuttgart 1912.
36. W. Soergel: Löss, Eiszeiten und paläolithische Kulturen. Jena 1919.
37. E. Geinitz: Das Diluvium Deutschlands. Stuttgart 1920.
38. W. R. Eckardt: Über das Klima der diluvialen Eiszeit. Naturwiss. Wochenschrift 1918.
39. I. Bayer: Kritische Gruppierung und Neubenenennung der geologischen Abschnitte des Eiszeitalters. Mannus Bd. XIV 1922.

СМЕСЬ

РЕЧЬ ДЮАМЕЛЯ В ЛОНДОНЕ

На последнем ежемесячном собрании Интернационального «Р. Е. Н.» клуба литераторов в Лондоне под председательством Джона Голсуорти и в присутствии Уэллса, В. Максвелла, Иосифа Коссова (сербский писатель) и других членов клуба, Жорж Дюамель сказал интересную речь: она весьма точно характеризует настроение лучших представителей западной интеллигенции.

«Милостивые государыни и милостивые государи, в прошедшем мае я имел честь быть избранным Литературным Интернациональным Кружком (Cercle Littéraire International), в Париже для участия в международном съезде писателей, организованном в Лондоне Р. Е. Н. Клубом.

Личные дела заставили меня отказаться от этого намерения. Поверьте, сожаление мое было очень глубоко, но в дальнейшем оно еще усилилось, когда я узнал подробнее о живых и плодотворных собраниях съезда.

Но вот Р. Е. Н. Клуб предлагает мне исправить невольную ошибку и допускает меня на одно из своих ежемесячных собраний. Я полон самой горячей признательности, я бесконечно тронут тем чувством, которое заставило вас пригласить меня и дать мне место среди вас. Доволен ли я? Да! Но радость смешана в сердце моем с великой тревогой.

Если хотите, я постараюсь объяснить, почему радость и тревога. Прошу разрешить мне сделать небольшое отступ-

ление по поводу работ, заполнявших до сих пор мою жизнь.

Я должен сказать, что не всю мою молодость посвятил литературе. Я долгие годы принес в жертву медицине и кабинетным исследованиям. Как врач, я принял участие и в войне 1914—18 гг. Медицине обязан я большей частью своего жизненного опыта, большей частью всего того, что я знаю: медицина открыла мне, в некотором роде, мои методы наблюдения и работы.

И вот, именно с точки зрения медицины смотрю я ныне на огромное тело Европы: на огромное тело, охваченное болезнью, в которой война была лишь одним из резких проявлений. И вы понимаете, что именно врач ощущает тревогу, которую он не мыслит от вас скрывать, и которую вы, несомненно, разделяете.

Народная мудрость, столь часто находя превосходное выражение своей силы, разделяет нас, врачей, на запугивающих и успокаивающих, т. е. тех, чьи лица всегда выражают ничем не омраченное спокойствие.

К моему большому сожалению, я ощущаю в себе, вот уже несколько лет, душу врача запугивающего. Я прожил пять лет, кочуя по Европе, вопрошая людей, города, страны. Я наверное не удивлю вас, если скажу о своей все возрастающей уверенности, что приближается новое ужасное средневековье, и что нам надо быть готовыми к одному из тех мрачных периодов духовного и материального варварства, в течение которого мудрым останется одно: замкнуться в одиночестве и там кропотливым трудом спастись осколки и обрывки культуры.

Вы знаете, бывают случаи, когда бессильный хирург прячет свои приборы, убирает инструменты и говорит: «Наука бессильна, но любовь может еще чудом спасти больного».

И вот, когда я смотрю на больную Европу, мне приходит мысль, что единственно мужественная и возвышенная любовь к ней может оказать ей некоторую помощь.

Откуда взять этот порыв, эту мужественную любовь?

Вы это знаете, раз вы здесь. Вы это знаете, вы, которые более двух лет осуществляли великую идею: создать и поддержать связь между людьми, которые желают быть совестью раненой Европы, — и становятся этой совестью.

Мы здесь сейчас вне всякой политики, мы здесь собраны по воле разума. Не нарушая основ нашего общества, я могу признаться, что мне кажется слишком смелым довериться до конца людям, на которых лежит в данный момент управление народами Европы.

Что будет с Европой завтра? Что будет с миром через год? Вот то, о чем мы не можем безбоязненно думать. Но, говоря словами Эпиктета: «есть вещи, которые зависят от нас».

Поэтому-то, как я только что сказал, я чувствую в своем сердце, наряду с большой тревогой, — надежду и радость.

Я радуюсь тому, что вижу вас вместе, ибо над стонущей Европой возносится и властвует ваша могучая мысль. Не вы ли утверждаете, что душа человека не знает ни условий, ни границ, что творческий разум презирает и разрушает преступную глупость мира?

Не вы ли имеете смелость основать и заставить жить интернациональный клуб в той Европе, где ныне нет ничего интернационального, кроме общества спальных вагонов?

И я благодарю вас от всего сердца, ибо вы пожелали присоединить меня к вашим работам и надеждам.

Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня к себе и на сегодня, и на всегда, чтобы я мог подтвердить здесь, что все, что мы любим, — не потеряно; чтобы перед лицом мира, закованного в цепи, я мог провозгласить высшую, божественную свободу разума».

✱

АНГЛИЙСКИЙ ОТЗЫВ О „ДЕРЕВНЕ“ БУНИНА

В октябрьском номере «The New Statesman» (от 27 окт. 1923) Раймон Мортимер, говоря о книгах ирландских писателей О'Флаэрти и Падрика Коллум, посвященных изображению ирландской деревни, пишет о «Деревне» И. А. Бунина, только что вышедшей в английском переводе:

«Эта книга удивительно хорошо переведена; и еще более чем сочинение О'Флаэрти, — она представляет собой главным образом картину особенных условий жизни. Условия эти ужасающи. Слова «навоз» и «удобрение» попадают почти на каждой странице. Все выведенные в ней характеры в большей или меньшей степени отвратительны и не возбуждают никакой симпатии. Они не только испытывают нужду и бедствия, но и не способны испытывать какие либо другие чувства, и вместо того, чтоб жалеть их, можно только пожалеть, что они существуют. Я не могу допустить, чтобы изображенная Буниным картина была вполне правдоподобна. Ничтожнейший из людей обладает более благородными свойствами, чем выведенные им типы. Впрочем, нет предела нравственному падению человека под влиянием обстоятельств, и если бы в наши дни ктонибудь стал еще утверждать, что нужда облагораживает человека, то ему следовало бы дать в руки книги Бунина и О'Флаэрти. Св. Франциск мог приветствовать Бедность, как сестру, на плодородных и просвещенных холмах Умбрии, но в центральной России и западной Ирландии она носит другой характер. Писатель, знакомый с этими странами, мог-бы вывести интересные заключения, сравнивая их между собой. Из упомянутых выше книг видно, как кельты и славяне, под влиянием нужды, обращаются в нисшие, суеверные существа, настолько же схожие между собой, насколько они отличаются от всего человечества. Лишь в собственной оценке ирландцы заметно отличаются от русских: недаром у Тургенева где-то говорится,

что единственное хорошее качество русского человека — его низкое мнение о себе.

Бунин, — которого, судя по его предисловию, можно причислить к «белым», — говорит, что мрачная картина русского крестьянства, описанная им 14 лет тому назад в книге «Деревня», подтверждается теперь ужасами Советской Революции. Это безусловно так: она объясняет, — она почти оправдывает их. Эта книга вызывает скорее возмущение в политическом смысле, чем беспристрастное человеческое страдание. Я не скажу, чтобы это был крупный художественный труд, но вы находите в нем описание столь ужасного человеческого существования, что по прочтении его все мирозерцание ваше становится на некоторое время мрачным и подавленным. Бессмысленно упрекать Бунина за то, что он написал такую мрачную картину, и бесполезно идеализировать крестьянина: необходимо изменить условия его жизни. Следовало бы заставить прочесть «Деревню» всех тех, кто еще не читал этой книги».

★

АНГЛИЙСКАЯ ОЦЕНКА С. АКСАКОВА

Интерес Европы к русскому искусству, а особенно к литературе становится все более широким и серьезным. Количество переводов с русского языка непрерывно возрастает, растет число критических статей о русских писателях, и не ошибаясь, можно сказать, что качество их становится все более солидным. Даже обычные рецензии журналов постепенно принимают иной тон, более вдумчивый и уже не отталкивающий русскую литературу указаниями на ее «экзотику» куда-то в сторону от литературы обще-европейской, как это было обязательно еще недавно, — до войны и революции. Вот, например, отзыв критика С. Джода (Joad), напечатанный в декабрьской книжке журнала «Adelphi»:

«Серия «Мировые Классики» недавно обогатилась маленькой скромной книжкой «Русский барин», книжкой, которой может быть суждено состязаться в значительности с лучшими номерами этой серии. Автор, Сергей Аксаков, бывший одно время цензором в Москве, вышел в отставку в 1839 г. и поселился в деревне, где он и жил до конца своих дней, управляя имением и составляя мемуары. Из них «Русский барин» самые известные, хотя «Детские годы», появившиеся несколько раньше на английском языке, тоже очень хороши.

Переводчик, J. D. Duff, утверждает, что Аксаков считается классиком в своей стране, и что знакомство с его книгой «Русский барин» наряду с Детством Толстого считается необходимым для образования каждого русского ребенка.

С первого взгляда это утверждение кажется неприемлемым. Помещик описывает простым непритязательным языком обыденные, деревенские семейные события: рождение, браки и смерти, праздники жатвы и сельские торжества, драмы на почве ревности, различия темпераментов членов семьи; сотни таких инцидентов, которые наполняли деревенскую жизнь на всем земном шаре — вот сюжет книги. Из ста писателей 99 взявшихся за такое описание произвели бы лишь впечатление безграничной скуки и имели-бы интерес разве только для архивария. Аксаков же внес что-то другое, что придает книге необычайную красоту и яркость делает анализ излишним и в то же время остается неопределимым в своей значительности.

Но хотя эта тайна творчества Аксакова остается нераскрытой, — в книге есть явные качества, которые сразу бросаются в глаза читателю. Есть в ней психологическая прозорливость, которая заставляет наших реалистов XX в. краснеть от стыда. Аксаков изображает мелкие раздражения супружеской жизни с непогрешимостью, необычайно убедительной. Он делает бесспорными те простые вещи, с которыми мы лицемерно отказываемся соглашаться, хотя и

знаем, что они существуют, знаем, что человек, готовый жизнь свою отдать за любимую женщину, может быть раздражителен по отношению к ней, неохотно исполняет ее прихоти в случае ее болезни; что как бы цельна ни была любовь мужчины, любит он только частью самого себя, и его способность, даже в период самой горячей страсти, найти место в своей душе для интересов посторонних — приводит в изумление и вызывает горечь у любящей его женщины.

В книге есть страстная любовь и понимание природы. За исключением одного из героев, старика, фигуры сравнимы с героями Гомера, который царит над всей книгой. Природа является главным действующим лицом, остальное — лишь фон для нее. Из русских писателей только Толстой и Тургенев проявляют такое же тонкое понимание настоящей красоты. В слогe Аксакова простота, сдержанность, отсутствие «красивых слов». Аксакову удастся вызвать такое впечатление, что хорошо писать — настолько легко, что удивляешься, как можно писать плохо.

Существует двойное мнение относительно того, является ли книга Аксакова вымыслом или же точной хроникой семейных событий? Что касается этого вопроса, то мы так счастливы иметь эту книгу, что то или иное решение его для нас особого значения не имеет».

★

АНГЛИЧАНИН О ДОСТОЕВСКОМ

В лондонском журнале «Nation» (Май 1923 г.) под заголовком: «Восток остается Востоком», помещена рецензия Ф. Л. Люкаса на книгу «Письма и Воспоминания» Достоевского, переведенную С. С. Котелянским и Ж. Мидльтоном Мюррей. Рецензии предшествует эпиграф:

«Мне кажется, в Европе знают звезду Сириус лучше, чем Россию». — Достоевский.

«Этот довольно пестрый том содержит, во-первых, письмо Достоевского к брату, написанное немедленно после того, как его и его товарищей-заговорщиков водили на расстрел, лишь в последнюю минуту замененный ссылкой в Сибирь; затем восемь писем к другу, написанные в тяжелые годы его жизни в Женеве и Дрездене (1868-71); далее воспоминания его жены, описывающие их борьбу за существование по возвращении в Россию, — его письма к ней о торжестве его на Пушкинском юбилее в 1880 г. и, наконец, переписку с Победоносцевым. Перевод, надо сказать, в общем хорош, хотя в нескольких местах встречаются слова «поэзия» и «поэт» вместо «творец» и «творчество», а кое где проскользнули не совсем английские выражения.

«Надо думать, что настоящее Московское Правительство не без иронии допустило распространение излияний ярого монархиста, которому был-бы ненавистен их Марксизм. — В одном из писем встречаем такое пророчество (1868 г.): «Скоро весь мир будет обновлен посредством русской мысли, (которая, — Вы правы, — неразрывно связана с православием), и это произойдет менее чем через 100 лет». Московское правительство может толковать эти слова в свою пользу.

Впрочем, не приходится искать политического ясновидения у Достоевского, который таким же образом предсказывал неминуемый и близкий исход англичан из Великобритании. Главный интерес книги лежит в трех средних частях ее, которые бросают свет на личную жизнь писателя и усугубляют загадку русского духа. Письма из Женевы — это вопли души в муках ада, жалобы на проклятый холод в стране без печей и двойных рам, жалобы на варварство швейцарцев: — «О, если бы вы только знали, что это за скучный, тупой, незначительный, дикий народ!» — Тоска по России: «Здешний рабочий не стоит мизинца нашего», но по крайней мере они лучше немцев: «В Германии меня больше всего поразила глупость народа; они бесконечно глупы, они безмерно глупы». Его терзает мысль, что он мо-

жет потерять контакт с Россией, сделаться западником, как ненавистный ему Тургенев: «Все здесь заставляет меня чувствовать себя скотом»; нужда мучает его — «вчера я заложил свое последнее пальто»; — через шесть дней — «не осталось медного гроша»; он измучен бесконечным напряжением, которого требует посылка к сроку частей романа «Идиот», плата за который была взята авансом и уже истрачена; измучен своими долгами в России и вымогательствами пасынка, который тем временем дома распродал по одной книге его любимую библиотеку; измучен припадками эпилепсии, после которых он бывал разбит и телом и душой.

Надо сказать, что при данных обстоятельствах даже менее надорванный духовно человек, чем Достоевский, мог дойти до того состояния истерического возмущения и отчаяния, которым продиктованы эти грустные страницы, полные самоупреков, повторяющихся взываний к Майкову «ради Бога», — «ради Христа», вспыхек ненависти к «навозным жукам» русского либерализма и ко всему мировоззрению Запада. А между тем, каким-то образом, «Идиот» был написан.

Следующая часть книги — полная противоположность предыдущей; к счастью для Достоевского, его жена — наполовину шведка, — обладала в значительной степени ненавистным ему западным духом, и только ее здравый смысл и практичность спасли его от полного разорения по возвращении их в Россию. Когда перед отъездом Достоевского за границу умер его брат, Достоевский с благородством, достойным Донкихота, взял на себя его долги. Бесхитростный и непрактичный, как ребенок, он делался жертвой каждого жулика, которому приходило в голову утверждать, что покойный остался ему должен; он немедленно, не требуя никаких доказательств, платил просимую сумму, а когда средства иссякли, — стал давать векселя. Можно представить себе результат такого образа действия; по возвращении в Россию только смелость и ловкость жены спасли Достоев-

ского от заключения за долги в тюрьму, которая грозила ему благодаря его-же доверчивости, и если прибавить к этому потерю его собственного состояния из-за ряда неудач, — постоянные вымогательства родственников, главным образом совершенно невозможного пасынка, — неумение Достоевского отказывать кому либо из них и его ребячливую ревность к ней, — то нельзя удивляться нотке горечи, которая слышится в этом повествовании загубленной юности. После десятилетней усиленной работы для покрытия долгов, Достоевскому не дано было долго наслаждаться чувством свободы: он умер через год после уплаты последнего долга.

Ему довелось однако дожить до торжества, описание которого снова составляет яркий контраст с предыдущей частью тома. Это описание публичной демонстрации, следовавшей за речью Достоевского на Пушкинском юбилее в 1880 г. в Москве, представляется западнику выдержкой из записей Бедлама. Оратор нашел случай высказать свою идею Святой Руси, как соли земли и искупления мира, и по окончании речи, — как он говорит — среди многочисленных слушателей поднялись вопли и крики восторга. Незнакомые друг другу люди со слезами обнимались и клялись в вечной любви, между тем, как дамы, студенты и сановники, плача от восторга, осаждали эстраду, чтоб обнять и поцеловать оратора, у ног которого один молодой человек упал в истерику и лишился чувств. Эта буря восторга длилась почти целый час. Через полгода Достоевского не стало.

Все это, конечно, очень странно; однако бред Достоевского об искуплении мира реакцией и о замене разума фантазией не имеют отношения к ценности или оценке его таланта! Гений так же слеп, как любовь. Для Запада мечты его останутся мечтами, — и не всегда прекрасными; разумом и смелостью Запад достиг того величия, которым он обладает с тех пор, как первый мыслитель дерзнул отвергнуть басни священников и посмотреть в лицо горькой правде жизни.

ГЁТЕ В МАРИЕНБАДЕ В 1823 Г.

Летом 1823 года исполнилось сто лет с тех пор, как Гёте был в последний раз в Мариенбаде. Бывал он там и раньше (в 1820, 1821 и 1822 гг.), но этот приезд ознаменовался особенно ярким эпизодом его личной жизни: он пережил здесь мятежную драму своей последней любви, нашедшую творческое отражение в его «Мариенбадской элегии», — пережил ее пылко и страстно, как юноша, мучительно лишь и с трудом миравсь с полной безнадежностью своего чувства: ему шел в то время 74-ый год, а его возлюбленной было всего 19 лет.

Зимой 1822-23 г. он сильно болел; распространился даже ложный слух о его смерти. Однако, поразительно мощный организм его победил болезнь, и 27 июня 1823 г. он, для окончательного восстановления здоровья, отправился на почтовых в Мариенбад, куда прибыл 2 июля. Он остановился здесь в доме, и посейчас сохранившем в неприкосновенности свой внешний облик.

Гёте очень любил этот курорт, в то время более скромный, чем ныне. «Городок», пишет он в том же 1823 году, «состоит из довольно больших и приятных на вид домов; первое впечатление — дружелюбия и уюта. Я нигде в другом месте не хотел бы жить... Всего здесь около 400 человек приезжих. Около трети из них принадлежит высшему обществу, — вы видите, круг людей здесь очень приятный. Думаю остаться до начала августа, а затем осмотреть окрестности Эгера и поближе ознакомиться с местным населением. Мне кажется, что мне необходимо отдаться внешним впечатлениям, иначе я совсем затеряюсь в отвлеченностях».

Гёте серьезно лечился, а досуги посвящал разработке своих «анналов» и дневников, а также занятиям своей любимой наукой — минералогией.*) Немало времени отнимало

*) Первое минералогическое описание Мариенбада принадлежит ему; оно издано его мариеубадским врачом Гейдлером в 1837 г.

у него, однако, и общество, ежедневно собиравшееся для бесед, для игр и танцев. Он был всегдашним гостем этих курортных вечеринок, любил наблюдать веселящуюся молодежь, и на одном из этих «балов» так увлекся, что даже сам принял участие в полонезе. Он «чудесно помолодел», как сам отмечает в письмах.

Но секрет этой внезапно проявившейся поздней молодости заключался не в заразительности окружавшего его беззаботного веселья; он лежал глубже, в тайниках его собственной вечно-юной души.

Среди мариеубадских друзей с самого начала особенно близка была ему семья фон-Леветцов, состоявшая из матери-вдовы и трех дочерей — Ульрики, Амалии и Берты. И старшую из них, Ульрику, Гёте полюбил.

Он знал ее со времени второго своего посещения Мариенбада (1821), и миловидная веселая девушка всегда была ему симпатична. Он любил гулять с нею по утрам, любил болтать с ней о «всевозможных предметах», рассказывать ей о своих минералах, мало, впрочем, интересовавших ее; он любил читать ей свои стихи, приносил ей с прогулок цветы... Образ девушки давно нашел себе прочное место в его сердце; не лишь теперь — летом 1823 г. — душа поэта, внезапно вспыхнув, окружает его ярким пламенем страсти, глубокой и жгучей. Уста его молчали об этом; он продолжал называть Ульрику по прежнему своей «любимцей», и «милой дочуркой» (liebes Töchterchen). Но что таилось за этими нежно-спокойными эпитетами, об этом говорят его стихи и, в частности, «Элегия». Она написана в начале осени, когда все уже миновало. А в те летние дни могла даже возникнуть мысль о женитьбе. Гёте сам едва ли действительно верил в возможность последней радости и позднего счастья, — мы этого не знаем. Но факт тот, что его более решительный друг, герцог Карл-Август, тогда же попросил за него у матери руки Ульрики, — и получил отказ.

Удар был принят без протеста. Гёте молчал, замкнувшись в себе, но оставался в Мариенбаде, по-прежнему общаясь с «милой дочуркой». Но когда он слушал игру русской пианистки Марии Шимановской, жившей в то время в доме доктора Гейдлера, и пение певицы Мильдер-Гауптман, на его глаза навертывались слезы: это были слезы печали, в которых растворилась острая боль погибшей поздней мечты.

«В душе моей не умолкай, — живи,
Двойной восторг и песен и любви.»

Сочетание этих переживаний нашло выражение в его знаменитой «Трилогии страсти»*)

20 августа Гёте покинул Мариенбад. Он поехал сперва в Эгер, а оттуда 25 августа в Карлсбад. По дороге туда возникла «Элегия».

«Остался в сердце, вызванный любовью,
Тот образ, выжженный огнем и кровью;
И сердце, башни сумрачней и выше,
Его в себе навеки затаило.
Лишь для него оно живет и дышет,
Его слова, как мудрость, полюбило.
Оно полно тревоги сокровенной
И славит милую в тюрьме блаженной...»

Гёте пережил драму своей последней любви лишь на 9 лет. В Мариенбад он больше не возвращался. Но прошлое бередило его память:

«С надеждой и тоской мой взор стремится
Назад. Но нет! вратам не отвориться...»

*) Шимановская через несколько месяцев — в октябре 1823 г. — навестила Гёте в Веймаре. О восторженном отношении поэта к ней см. в «беседах» Эккермана.

Когда то, за полвека до этого, Гёте думал о самоубийстве, переживая безнадежную страсть к Шарlotte Буфф. Теперь — душа поэта-старика отвечает на такое же мучительное переживание печальной улыбкой примирения с судьбой. Боль та-же, но выражение ее иное. Глубокая человеческая правда и здесь и там, и одинаково художественно правдивы роман о Вертере и — Мариенбадская элегия. Они объединяются в высшем синтезе душой великого поэта.

А Ульрика? Она умерла в глубокой старости лишь 24 года тому назад — 13 ноября 1899 г. Замуж она не вышла. Мариенбадские дни навсегда остались единственным ярким эпизодом ее тихой долгой жизни...*)

*) Она оставила нам подробное описание этого эпизода, напечатанное в столетнюю годовщину ее рождения:

Ulrike von Levetzow und ihre Erinnerungen an Goethe, zur hundertsten Wiederkehr ihres Geburtstages (4 Febr. 1904), mitgeteilt von August Sauer (Deutsche Arbeit III, 4 1904).

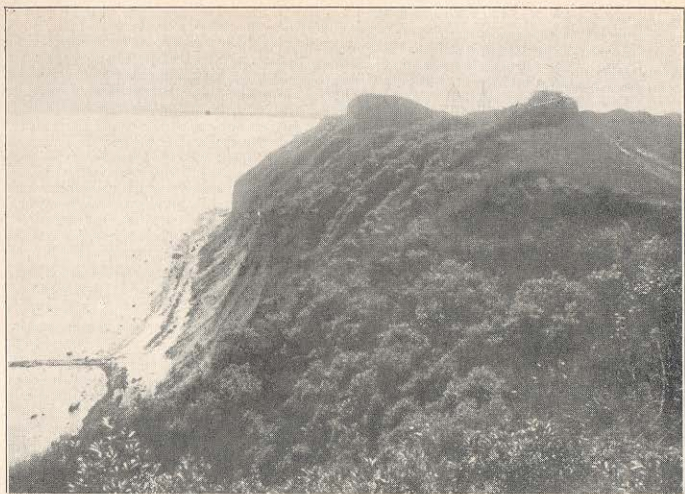


Рис. 1. Аркона. Обрыв к морю.

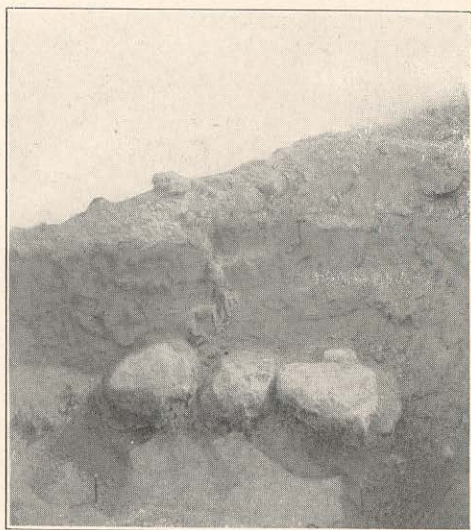


Рис. 3. Аркона. Камни, поддерживавшие изображение Святовита.

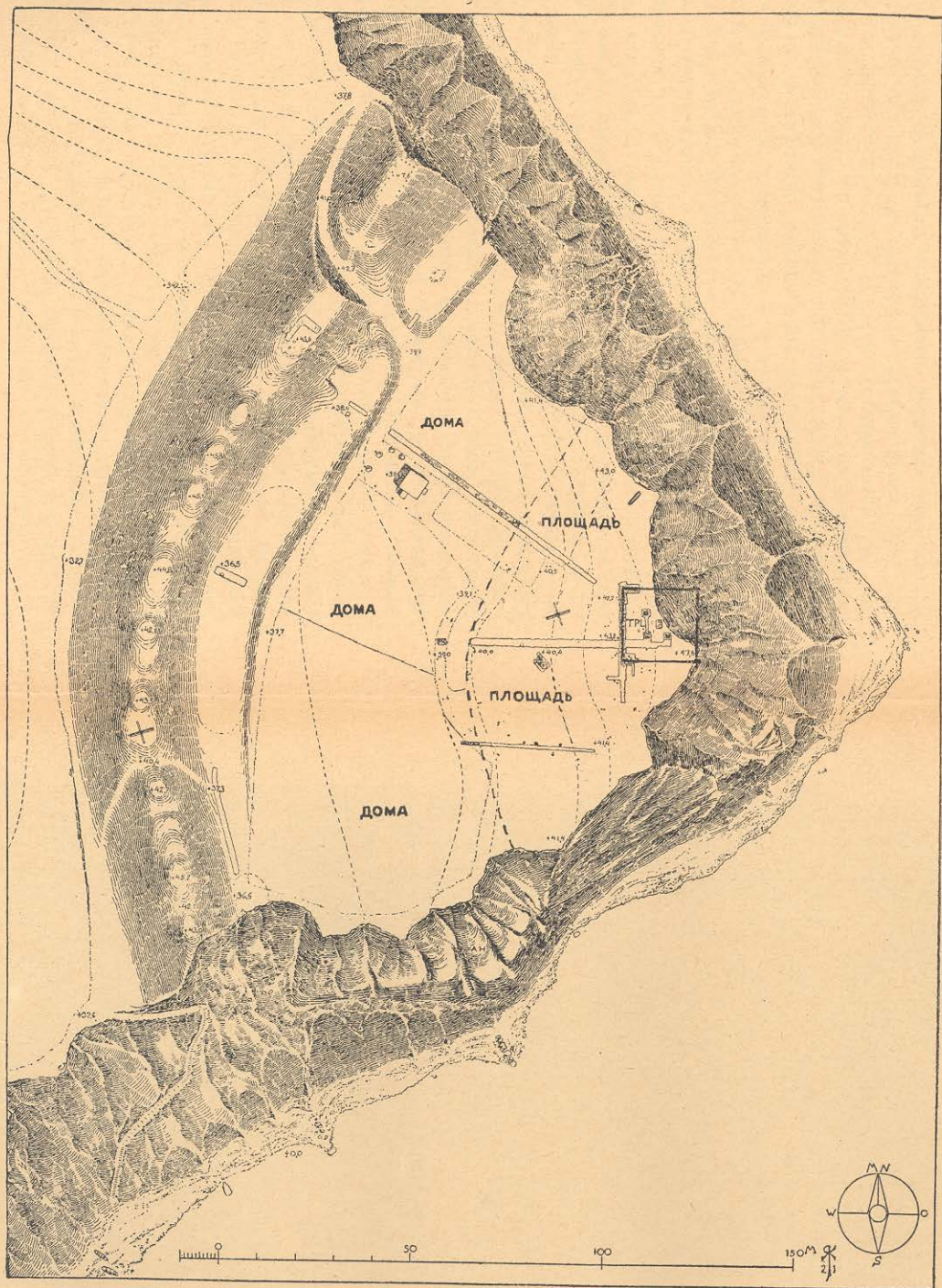


Рис. 2. План Арконы на острове Рюген (рис. Р. Кольдесей).

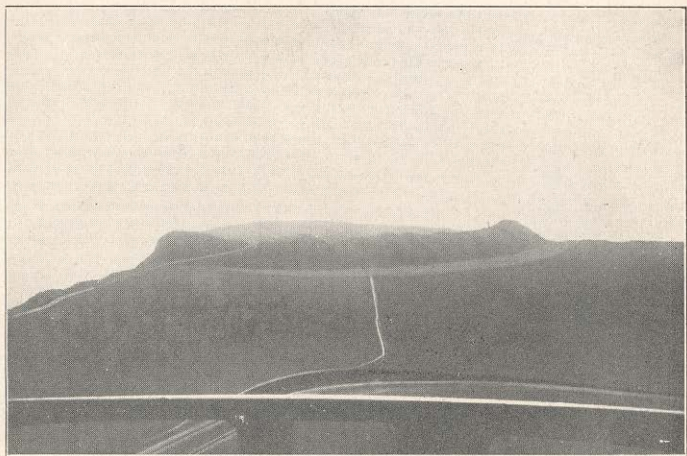


Рис. 4. Аркона, вид с маяка.

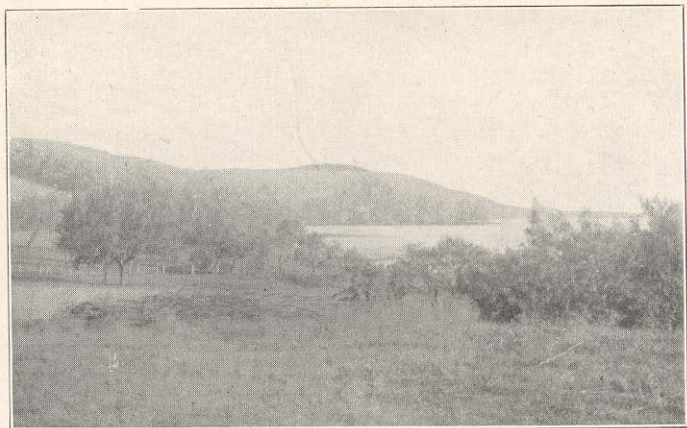


Рис. 5. Гора, на которой лежит Ретра, с ЮВ.

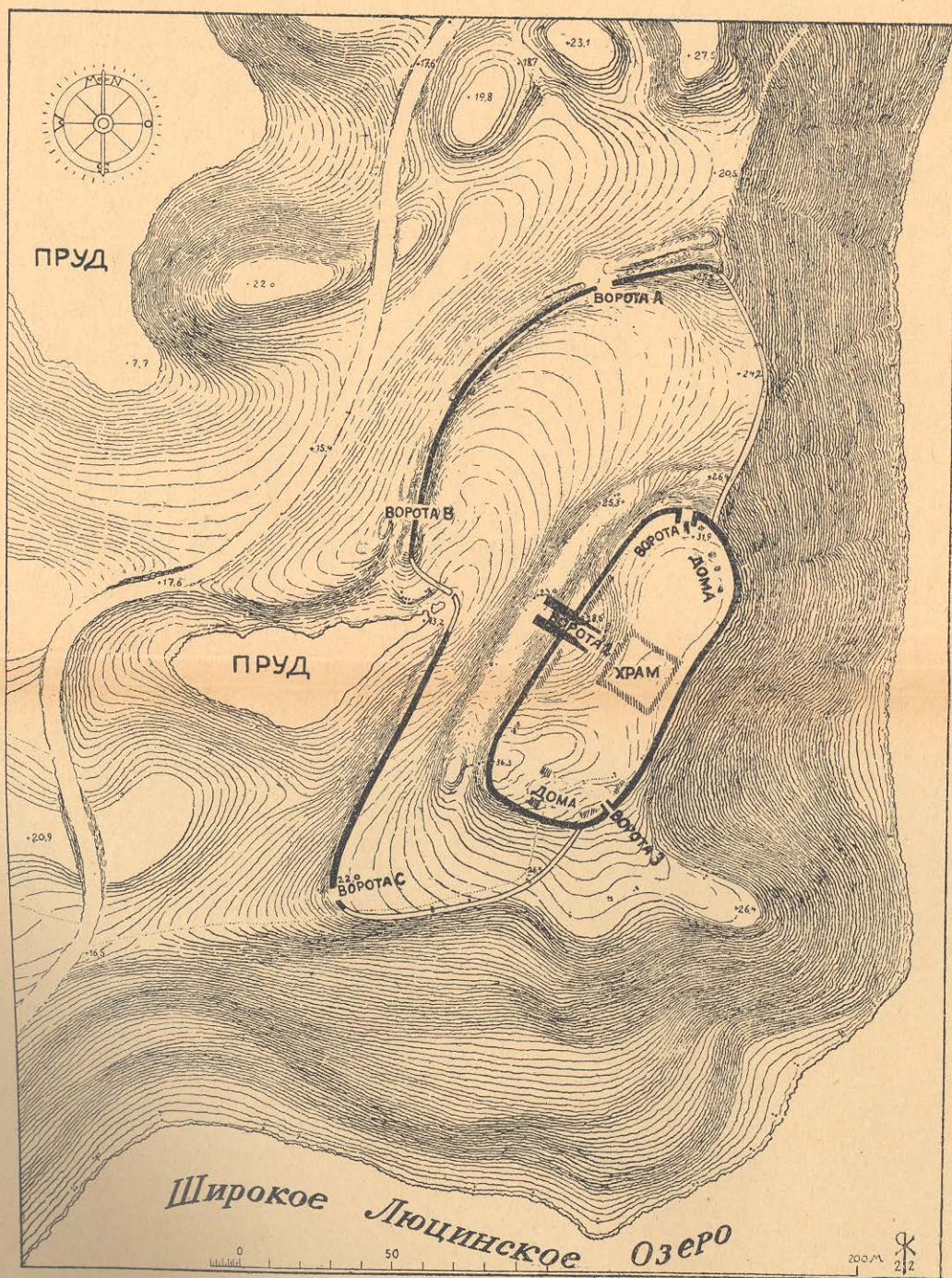


Рис. 6. План Ретры (рис. Р. Кольдесей).